

Annotation

Вторая часть исторического романа

•

Сухбат Афлатуни (псевд.; наст. имя Евгений Абдуллаев) родился и живет в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского государственного университета. Поэт, прозаик, критик. Автор двух сборников стихов и книги прозы. Лауреат премий журнала “Октябрь” (2004, 2006), Русской премии (2005), молодежной премии “Триумф” (2006).

Сухбат АФЛАТУНИ

Поклонение волхвов

роман

Книга вторая

МЕЛЬХИОР

Ташкент, 20 сентября 1908 года

В 9 часов вечера жители Ташкента наблюдали редкое небесное явление. С севера, по направлению к луне, двигался яркий шар. Величина шара 2 1/2 фута в

диаметре, длина хвоста – сажень. Приблизившись к луне, шар скрылся. Отделившийся хвост принял вид стрелы.

Явление длилось минуты две. Центр шара горел ярко-электрическим светом. Полагают, это был болид.

В тот же день в почтовом вагоне между Ташкентом и Чарджуем обнаружена пропажа 330 000 рублей. Два почтовых чиновника арестованы.

Ташкент, 20 декабря 1911 года

“С наступающим Новым годом!

Какую массу пожеланий, надежд и ожиданий заключает в себе это новогоднее приветствие. Строго говоря, ничего нового не бывает, завтрашний день будет удивительно похож на сегодняшний, и 1 января на 31 декабря. Но людской муравейник всегда чем-то бывает встревожен, движется, спешит, торопится, куда и зачем – никто толком сказать не может. А ведь все суета и бессмысленное течение воды: и эти новогодние пожелания счастья, и эти торжественные речи, и эти беспочвенные восторги людей перед неизвестным будущим. А между тем кругом тишь и молчание, напоминающее жуткую мертвую тишину кладбища. Что-то пошлет Новый год?”

Отец Кирилл отложил “Туркестанские епархиальные ведомости”:

– Славно...

Вышел во двор, попробовал воздух.

Под навесом – Алибек. Слепой садовник поклонился.

– Ну, как там свет и тьма, Алибек? Какое сегодня положение?

– Сегодня тьмы вот настолько больше, – изобразил пальцами, насколько, – дюйма два.

Отец Кирилл зашагал по кирпичной дорожке – навестить теплицы. Остановился, повернул голову.

Кто-то дергал калитку.

– Кто? – Подошел. – Ну кто?

– Я! Я...

– Какое я? – Приоткрыл.

– Здравствуй, князь... – В переулке стоял старик. – За долгом пришел.

Увидеть, что выражало лицо отца Кирилла, было невозможно, старик заслонил его собой. Рука с чем-то тяжким обрушилась.

Не глядя на распластанное тело, устремился в дом.

Заметил слепого садовника.

– Опять выросла... тьма настолько выросла! Хозяин!

В доме гость полез за икону. Достал, обдувая пыль, мешочек. Размотал тесьму.

Кокон шелкопряда.

Спрятав под халат, выбежал.

Разлетелись листы “Епархиальных ведомостей”.

– Тьма вот настолько выросла, хозяин! – кричал во дворе Алибек.

Ташкент, 22 декабря 1911 года

Весть о нападении на отца Кирилла раскатилась по городу. Прогрохотала на прямых и мощеных улицах Нового города. Прошуршала в извилистых улочках

туземного.

Известная фигура отец Кирилл Триярский.

Священник Железнодорожной церкви. Миссионер, умница, декадент в рясе.

Заметка в “Ташкентском курьере” сообщала, что производятся розыски. Дело поручено вести “ташкентскому Пинкертону”, Мартыну Казадупову. По подозрению задержан и доставлен в тюремный замок садовник сарт Алибек Мухамуд-Дияров. За недоказанностью отпущен. Сообщалось, что отец Кирилл жил одиноко, по домоводству пользуясь помощью вышеназванного Алибека. Что сад отца Кирилла, составленный из видов флоры как местной, так и выписанной, считается одним из ташкентских чудес света, что отец Кирилл привлекал своей образованностью, пользовался любовью и интересовался обычаями. Для раздела хроники заметка была подробной и написанной с чувством.

Больше всего обсуждали весть в “Новой Шахерезаде”, между папиросой и чашечкой кофе, который здесь варили прилично, правда, и драли за это нечеловечески.

– Так, говорите, все-таки выжил? – попыхивал “зефиркой” фотограф Ватутин.

– Бог спас, Бог спас, – кивал журналист Кошкин, пишущий под псевдонимом Его. – Но, знаете, в любую минуту... между жизнью и это...

Публика в “Шахерезаде” была специальная. Пестрая и орнаментальная, вроде узора на коврах, устилавших заведение. Какие-то люди с идеями; служители свободных искусств со своими музами, бледными, но с завидным аппетитом; декаденты и полудекаденты, быстро переходившие от кофе к чему покрепче и засиживавшиеся с этим до рассвета, когда электричество гасло, скатерти срывались

со столов, а кальяны сдвигались блестящей кучей в угол. В эти предутренние часы в омутах табачного дыма, в зеленоватых лицах пролетариев свободных профессий и в тяжелых, “под Бакста”, картинах и вправду чудилась какая-то восточная мифология. Публика с апатией просила счет, долго складывала в сонных извилинах цифры. Расплатившись или, что чаще, уболтавши поверить в долг, отбывала отсыпаться, ворча по дороге на дороговизну, подозрительный коньяк и клянясь более в “Шахерезаду” ни ногой... Чтобы в следующий вечер все повторялось снова.

– Хорошо бы навестить Кирилла Львовича, – вступил в разговор Чайковский-младший, творец популярных вальсов. – Вы уж извините, “отцом Кириллом” я его звать не могу, с его-то мыслями!

– Ну, у кого теперь мыслей нет, – усмехался Его-Кошкин. – У всех теперь мысли.

Разговор происходил в одном из “гротов”, откуда можно было легко наблюдать за тем, что творилось в “Шахерезаде”.

А творилось здесь обычно многое. Публике предлагалась музыка: днем скрипка, довольно недурно; по вечерам концертное исполнение, силами местного музыкального мира. Иногда бывало свеженькое, дебюты вновь прибывших артисток, увековеченные Его на скрижалях “Ташкентского курьера”: неподражаемая в своем жанре интернациональная лирико-каскадная артистка m-lle Тургенева, танцовщица Нюсина и дамский оркестр из пятнадцати человек.

Сегодня было обещано трио на цитрах, банджо и мандолине семейства Бернар. Семейство пока шуршало в примерной, фиксатуарясь и пробуя инструменты. В зале на возвышении топтался скрипач Делоне в чалме с изумрудом. Осыпая деку пудрой, исполнял мелодию Индийского гостя из популярной оперы; из глубины

аккомпанировала девица Сороцкая, тоже вся в восточном вкусе, с целой ювелирной лавкой в ушах и на груди; все это на патетических аккордах болталось и звякало. Позади колебался занавес: одалиска, пляшущая с кинжалом.

– Жидковато сегодня народу, – заметил Ватутин, докурив, к облегчению Его, свой “Зефир”. – Как полагаете?

– Вероятно, цвет общества все еще заседает в цирке, – предположил Его.

– Где?

– У Юпатова. Артель официантов предоставила для сопровождения греко-румынский оркестр.

– Жулики! – зевнул Чайковский-младший.

“Жулики” было его любимое mot.

– Думаю, после цирка сюда наведаются. Павловский, Левергер с Левергершей ну и Степан Демьяныч собственной персоной...

– Персона! – произнес Чайковский-младший и загрустил. Степану Демьянычу он был должен, и не так чтобы пустячок.

Ватутин вертел рюмку. Блюдо остыло и обросло пеплом. Электрическое освещение (в “Шахерезаде” гордились, что шли в ногу с веком и употребляли лампы “Люкс”, дававшие красивый свет) делало лицо фотографа похожим на маску.

– Загрустили? – поинтересовался Его, бодро доедая салат.

– Да об отце Кирилле...

– Кто? Ну да, отец Кирилл! Ваш ведь коллега некоторым образом? В Германии живописи обучался, до того, как в рясу свою влез...

Ватутин кивнул. Сам Ватутин западнее Киева нигде не бывал, хотя в молодости

собирался овладеть в совершенстве кистью и сделаться портретистом европейского класса. Но жизнь задвинула в Туркестан; картин не писал, снимал местные типы. И отца Кирилла собирался заснять, и на тебе...

– А я, по правде сказать, не понимаю, – жевал Чайковский-младший, – как из искусства можно в религию.

– Вы ж сами хвалили церковную музыку, – поднял бровь Его.

– Музыку – да. Но музыка заслуга не церкви, а сочинителей. Вот если бы это попы ноты писали, я бы – конечно... А так, уберите, вытащите из церкви все искусство, живопись, музыку, архитектуру, – что останется?

– А помните, что отец Кирилл вам тогда ответил? Уберите из музыки, из живописи все божественное, реги... религиозное – и что останется?

Чалма Делоне, блеснув фальшивым изумрудом, исчезла за кулисой. Аккомпаниаторша извлекла финальный аккорд и последовала туда же.

Публика заинтересовалась, ножи и вилки затихли. Кто-то осторожно захлопал.

Кулиса заволновалась, словно за ней шла рукопашная схватка.

Одалиска на занавесе сдвинулась, и на сцену на своих знаменитых кривых ногах выкатился синтетический артист Бурбонский, любимец ташкентской публики, звукоподражатель-чревовещатель.

– Жулик, – скривился Чайковский-младший, но тоже подался вперед.

О Бурбонском было известно, что он одессит, проживает с престарелой матерью, на которую кричит, и коровушкой-сестрой, которую побаивается. Говорили, что мать его была в молодости первою на Одессе дамою с камелиями, так что многие успели аромат этих камелий перенюхать, отчего и появились на свет

Бурбонский и коровушка. С годами камелии увяли, и мадам перебралась в Ташкент. Бурбонский подражал звукам музыкальных инструментов и ухлестывал за гимназистами, за что бывал неоднократно бит и предупрежден. Про коровицу болтали, что в молодости бежала с поручиком, но неудачно, после чего стала презирать мужчин и сдала экзамен на врача-гинеколога.

Покачиваясь на ножках, Бурбонский оглядел зал:

– Почтеннейшая публика! Гутен абенд! Буэнос ночес! Бонсуар! Ассалям алейкум, яхшими сиз...

После приветствий было подано два несвежих, опущенных плесенью анекдота. Эстеты поморщились, но главная публика слопала и шумно отрыгнула аплодисментами.

Замелькала пантомима, представлявшая городские типы.

Докучливый туземный нищий со своей вечной арией: “Тюря, тилля бер!”...

Беспаспортный жид, обнюхивающий воздух и дающий околоточному взятку...

Сартянский купеческий сынок, берущий извозчика (“Э, извуш!”), катящий по улицам Нового города до первого питейного заведения. Бурбонский мастерски изображал его “походончик” среди столиков, плюханье за “самый шикарный”; вот к нему, вертя формами, подплывает Маня или Клава, таких, фигуристых, для привлечения и держат... Бурбонский, поиграв глазками, выкатил на “дар-р-рагова гостя” воображаемую грудь: “Что желаете-с?” И тут же снова перевоплощался в купчика и требовал себе “шайтан-воды”, гуляя взорами по Маниной груди и ее окрестностям... Вот и рюмочка блеснула, и набулькана шайтан-водица; сартёнок, еще раз скушав глазами поднощицу, опрокидывает рюмку и, опьянев, скатывается с

воображаемого стула на пол эстрады...

Публика давилась, кто-то утирал слезы салфеткой.

– Плакать бы над этим надо, а не хохотать, – сказал Ватутин.

Кошкин, смех из которого вылетал синкопами, глянул на Ватутина с вопросом.

Ватутин хмуро играл вилкой:

– Просветителей из себя корчим... Цивилизаторов! А вот оно, все наше просветительство, не угодно ли скушать? Русская водка да русская Манька. Тьфу!

– Вы, Модест Иванович, как всегда – мизантроп, – заметил Его-Кошкин.

– Насчет водки спорить не буду, – откликнулся Чайковский-младший. – А насчет мадемуазель Маньки... Позволю держаться собственного мнения!

– Знаем мы, знаем это ваше мнение, – проговорил Его. – Какой вы взыскательный гурман по этой части.

– Отнюдь, господа. Гурманы – это, так сказать, поэты среди мужчин; получив карту блюд, они долго изучают ее, выискивая блюдо под названием “Идеал”, и, не найдя его, с обидой возвращают официанту. Я же, господа...

– Просветители! – Ватутин все порывался встать и покинуть заведение, хотя ему уже было ясно, что просидит здесь еще не один час, тупея от папиросных дымов и болтовни.

Бурбонский тем временем перешел к десерту.

На десерт полагалась “политика”. Тут Бурбонский своими кривыми ножками гулял уже по лезвию бритвы. Стены в “Шахерезаде” тоже имели уши – разве что не лопахия, как у какого-нибудь сексота, а вполне благородные, а то и с бриллиантом. О проказах Бурбонского становилось моментально известно

полиции, и, если бы не связи владельца “Шахерезады” Пьера Ерофеева, подражавшего Петербургу и Дягилеву... Пьер Степанович брал трубочку, звонил в “верха”, и гран-скандаль удавалось замять. На время...

Электричество померкло, освещение сосредоточилось на сцене. Бурбонский распрямился, запахнулся в невидимый плащ, печать нездешнего легла на его потасканную, с обвислыми щеками мордочку... Гамлет! Совершенный принц Гамлет, вот и ладонь словно сжимает череп, и “бэдный Йорик” вот-вот сорвется с гордых губ... Впрочем, нет, не череп, а мешок с деньгами лежит на его ладони – слышен звон монет; уж не венецианский ли купец, господин Шейлок, собственной персоной? Но на лице все еще гамлетовское сомнение, spleen по поводу вывихнувшего себе конечности века, а также уплывшего из-под носа датского престола... Еще одна незаметная перенастройка лицевых мышц, характерный жест – и публика замерла: на сцене возвышался...

– Ну и ну... – икнул от удовольствия Ego. – Смелó. Смелó.

– Вылитый великий князь...

Видение исчезло: фигура на сцене снова стала Бурбонским, низеньким, с заплывшими глазками, на карикатурных ножках. Публика зашумела ладонями, выстрелила двумя-тремя bravo; полетела роза; Бурбонский хищно ее поймал и “вколол” в реденький локон, оборотясь цыганкой... Публика загремела еще сильнее.

И вдруг звук словно стерли.

Кто-то еще шлепал ладонями, но большая часть зала уже глядела в сторону одного из “гrotов”, который до того времени был задернут атласом. Теперь атлас был убран, в проеме, склонив голову, улыбался сам великий князь Николай

Константинович Романов.

Выдержав элегантную паузу, похлопал:

– Прелестно.

И скрылся за занавесью.

Возникла пауза. Стали слышны отдаленные струны из примерки и реплики официантов.

Постепенно зал начал оттаивать. Зажглось электричество, добавилась публика, забредшая на огонек по дороге от цирка Юпатова, им полупшепотом пересказывали инцидент. Из-за столиков с новоприбывшими слышалось: “Скажите пожалуйста!” Или: “Погорел теперь Бурбонский синим пламенем!” Сам Бурбонский, покамест еще не объятый пламенными языками, уписывал бифштекс; пред ним, кроме мятой розы, стояла пара бутылок, присланных почитателями его таланта, на бутылки налегал преимущественно юный сосед Бурбонского.

– Кто сей юнош? – заинтересовался Чайковский-младший, доканчивая пирожное “Танец живота” (крем, цукаты).

– Васенька Кох... – Его сполз на драматический шепот. – Чудный мальчик, но, знаете, с некоторыми странностями...

Семейство Бернар (цитра, банджо и мандолина) распределилось по сцене.

Публика слушала вяло, вполглаза следя за покрывалом, за которым исчез великий князь. Один из официантов, пробегая, сунул туда голову, высунул, кивнул другому. Тот забежал в “грот”, через секунду вылетел с пустыми тарелками.

– Ушли, – определил Его. – Там у них еще один выход... – Втянул остатки вина. – Пойду, подышу немного воздухом.

– Официантов пошел допрашивать, – проводил его взглядом Чайковский-младший. – Про Изиду под покрывалом.

Его пробирался меж столиков, раскланиваясь и дергая плечом.

– Как скучно, – разглядывал вилку Ватутин.

– Не скажите! Николай Константинович, великий князь... Это вам не... Боже, ну как они играют! Кто их сюда пригласил?!

Исполнители заиграли кекуок.

Ташкент, 23 декабря 1911 года

Отец Кирилл исчезал. Госпиталь, куда его поместили стараниями отца Стефана, настоятеля Госпитальной церкви (военных лечили лучше), находился недалеко от железки. Днем к нему заглядывали из церкви и клали на подоконник еду, на случай если умирающему вздумается легонько перекусить. В форточку лезли гудки, стуки, запахи угля и крепкое слово из мастерских. А он вспоминал Париж, вокзал Saint-Lazare, французский шум, фиолетовый дым. Вспоминал Японию, волны, владыку Николая, парк Уэно и ветер, вздувающий кроны... Умереть в тридцать один год здесь, в Ташкенте? Среди чужой пыли, арыков, солнца?

Почему бы нет, чем это место хуже, чем любое другое? Ничем. Чем он лучше любого смертного, кроме отшумевших рукоплесканий его талантам, его пейзажам, особенного тому, с двумя соснами? Вот и Комиссаржевская здесь умерла, он сослужил при отпевании, гроб завалили цветами, лилии, астры, незаметно поднес одну к губам. Жаль только, что не выполнит обещания, данного владыке пред отъездом, когда лил бесконечный японский дождь, багаж отбыл в Йокохаму, а он все

сидел у владыки на Суругуде и глядел в пустую чашку...

Он лежал в отдельной палате. Раза два заводили к нему Алибека и опускали перед ним на табурет. Алибек расспрашивал о здоровье, делал доклад о состоянии сада, света и тьмы; тьмы пока было больше – вот настолько, хозяин. Отец Кирилл закрывал глаза и слушал, как на Госпитальной бьют колокола, Алибека поднимали и уводили. Заходил отец Стефан в кофейной рясе, поморгав, уходил. В бреду иногда видел себя молодым и в поезде, уносившем его в Европу. Десять лет назад, его Lehrjahre[1]; купе второго класса; блокнот, в котором делает реалистические еще зарисовки. Возвращался через два года уже модернистом; чертит абстракции; ветер экспериментов стучит в окно купе, листая блокнот. Поездка в Японию, Такеда, иероглифы, владыка Николай, семинария, женитьба на Мутке, которая хотела и не могла стать матушкой, “цыганская кровь”, да, цыганская кровь...

Рисование настигло его уже в раннем детстве.

Сознание еще дышало сумерками, Ddmmernung, у немцев они женского рода, dieDdmmernung, сумерки – “она”, мать, тьма... Сознание еще плавало в этих женских, околоплодных сумерках, в которых набухал бутон сосок, нет, не материнский, кормилицы, материнский бутон был сух, как серые искусственные розы, которые стояли у нее возле туалета, слабое освещение, розово-серые, запретные. Он был поздним ребенком, мать брала его, как фарфоровую вазу, с дрожью в пальцах. Молока у нее не было, груди были пусты, как серые с желтым облака в ту весну, когда проснулось сознание, сухие облака, заполнявшие окно. Он видел белую спину матери в этих Ddmmernung, янтарные волосы сыпались на ее спину, мать

поворачивала голову и уходила. Он еще не умел плавать в сумерках, как взрослые. Он тонул, сосцы искусственных роз не пахли ничем, кроме темноты и воска. Он прижимался к матери, которая боялась его, боялась мужа, боялась мотыльков, залетающих на свет, боялась света, боялась, когда его гасили, боялась своих рук и голой спины, своих волос и сухих, окруженных звездочками сосцов. Она тоже плохо плавала в этих Dmmung, по-собачьи болтая руками, жестикулируя; на носу ее горело пенсне.

Dmmung его первых движений, шагов, вопросов. Входило солнце, взлетали комнатные снежинки; он охотился за ними, хлопая ладошками, солнце гасло, он проваливался в пустоту, с трудом находя ногой плюш дивана. Проплывала мать; он тянулся к ее груди, но встречал только шелковый привкус платья, как у искусственных роз, которые от него ставили все дальше. Его опускали на пол, он ложился и чувствовал, как волокна ковра растут сквозь него и качаются, как речные травы, отрывивая серые пузыри пыли. Он тонул, взрослые протягивали ему руку, забывали о нем, шли курить.

Он был ужасным ребенком. Ужасным и злым. Он кусал руки взрослым. Он падал на пол. Он кричал так, что было слышно даже на улице; извозчики оборачивали бороды в сторону его крика и хмыкали. “Поздний ребенок”, – объясняла мать своему отражению в зеркале; отражение улыбалось.

Нянька тайком отвела его в церковь. Там было холодно и горели свечи. Он осторожно захныкал. Незнакомые запахи, пение. Заинтересовали “картинки”. Некоторые, покрасивее, соблаговолит поцеловать. От причастия увернулся. Отец, узнав, отругал. Не его, няньку: “Слабый ребенок, а вы...” Он был слабый ребенок.

Сумерки затягивали его, он просыпался на дне реки, серебряная стена рыб распадалась пред лицом и собиралась возле трюмо. В зеркале, оголив цыганские зубы, колыхалась русалка. Он боялся цыган. Цыгане ходили по домам и забирали детей.

Наконец ему бросили соломинку.

Соломинкой был карандаш. Не слишком заточенный, чтобы не пораниться. Карандаш и листок. Кирюша лежал на ковре и покрывал листок линиями. Взрослым его рисунки казались бесформенными; взрослые извлекали выгоду из его страсти к рисованию: он не вертелся под ногами, не устраивал истерик, не падал на ковер; можно было спокойно выкурить папиросу, поглядеть в окно и переставить вазу с цветами. Выплывало солнце, вскипала пыль, снова темнело и мутнело, как вода в вазах, которую забывали менять, и тогда от воды и стекла шел тонкий болотный запах, стебли покрывал малахитовый налет; лишь искусственные розы не требовали воды, внутри них была проволока, а внутри людей – кости, куриные и рыбы. Он рисовал, рисовал цветы и людей с костями внутри, дом с окнами, облака, которые плыли. Он рисовал мать: мать стояла у окна, вынимала шпильку и отпускала волосы, они оседали рыжим облаком на спину, наполняя комнату отблесками. Ему купили цветные мелки, он трудился, стараясь изобразить ее, мать-сумерки, и слизывал слюну. А мать все сутулилась перед окном, потом отходила и гасла за дверью. Ее отыскивали на уголке дивана со сплетенными пальцами, одну, без света, горько пахшую каплями Боткина. Иногда мать начинала смеяться. Смеялась мать долго, до кашля и крови. Еще она умела очаровывать гостей, студентов консерватории, теноров, притягивала их к себе взглядом сфинкса. Студенты приглашались ради

домашних концертов, которые Кирилл не любил за папиросный дым и искусственный голос матери. Иногда она сама усаживалась за рояль, втягивая щеки и слегка выкатывая глаза. Для дилетантки она играла неплохо, совсем неплохо, она ударяла по нужным клавишам, экономно пользуясь педалью. Мать гордилась своим профилем, рояль был поставлен так, чтобы при исполнении она была обращена к гостям именно этой, выигрышной, стороной своей личности.

Он был единственным ребенком. Поздним и единственным. Отцу уже было почти сорок. Матери – тридцать три; то, что у мужчин называется “возрастом Христа”, а у женщин – никак, чтобы не обижать. Красота еще не покинула ее, задержалась на тонком лице, на чуть сутулой спине. Но руки уже были нехороши, и во всей себе она чувствовала несвежесть. Когда не было гостей, она ходила в пенсне, даже засыпала в нем. Отец бывал редко; курил, изучал газеты, вел длинный разговор с матерью, которая делалась похожей на гимназистку и отвечала ему чужими мыслями, изредка обнаруживая и свои.

До Кирилла они уже прожили несколько лет; потомство все не заводилось. Были один раз верные признаки, но оказалось – преждевременно; мать стояла перед зеркалом, глядя на белый живот, отец в углу делал вид, что читает, бросал газету и выходил из комнаты. Отправил жену на воды, одну, сам был занят зданием Кредитного банка. Мать скучала в курорте с длинным названием, которое выписывала на открытках, глотала воду и сошлась с колонией русских политических эмигрантов, обсуждавших по ночам крестьянский вопрос. Так, между павильоном с целебной Wasser и вечерами у “политических”, где потреблялись напитки покрепче, образовались ее политические взгляды. Их она и вывалила на мужа, едва он за ней

приехал. Лев Петрович нашел жену посвежевшей, взглядами заинтересовался и даже сопровождал ее на один из диспутов. На диспуте супруги молчали: мать благоговейно, отец иронически. Молчали и возвращаясь zu Fuss по ночным улочкам; Лев Петрович только заметил, что было слишком накурено и многовато жидов. Мать полуобняла мужа: она преклонялась перед его умом, ночная прогулка настраивала ее на возвышенный лад. Через несколько месяцев появились долгожданные признаки; мать снова застывала перед зеркалом, отец уже не прятался в газеты, ласково подходил и интересовался ее новостями.

Отец был тогда не то чтобы модным архитектором, но с репутацией; мог передать в зданиях славянскую стихию. Получалось у него это естественно, а не тем мозговым образом, как у многих его коллег, которых он за это обзывал “декораторами”. Эти “декораторы”, большей частью с немецкими фамилиями: гартманы, парланды и шервуды, — “народа и не щупали” и препарировали народную фантазию как какую-то лягушку. Лев же Петрович к узорам подходил без догматизма, смело развивая фантастическую сторону дела и достигая особой художественности в изображении разных эпических гадов и чудищ. Змеи Горынычи, собакоголовые птицы, индрики, русалки и франтоватые лешие глазели из его зданий, как химеры из Нотр-Дама. Так что порой заказчики сами пугались, прося несколько ограничить ассортимент нечистой силы. Лев Петрович смирялся, понимая, что иначе все заказы уплывут к гартманам-шервудам, а сам он останется со своими химерами и семейством, в котором намечалось прибавление. От уступок над переносицей его завелась складка, не проходившая даже во время сна. “Халдеи!” — говорила эта складка. “Халдеи” было самым его суровым домашним словом; на

строительстве же он сыпал такими перлами, что рабочих чуть с лесов не сдувало.

“Экого ты халдея изобразил...” – проговорил отец.

Это случилось в детской; отец вошел, наклонился над сыном и задышал ему в ухо. Кирилл поднял голову. Отцовское лицо висело над ним, вываливаясь из воротничка, тяжелое, выполненное немногими мазками. Такие солнечные головы, с бликом на кончике носа, он встречал потом на портретах Ильи Ефимовича Репина; изредка у профессора Серова; у Серова были, однако, тусклее: и нос не горел, и глаза казались сонными.

Повисев и подышав, отцовская голова уплыла в темноту. “Ну-ну”, – долетело оттуда. И еще дальше и тише: “Ну-ну...”

Кирилл смотрел на рисунок.

Он рисовал отца.

Поднявшись, побежал искать мать.

Мать пила кофе со студентом Чарлицким. Изящными пальцами крошила печенье. Студент молчал.

“Мамб”, – сказал Кирилл.

“Как ты меня испугал... Что с тобой?”

Кирилл протянул листок.

“Что это?” – Мать сощурилась, при молодых гостях она пенсне прятала.

Студент тоже нагнулся из вежливости.

Кирилл ткнулся лицом в ее платье. Шелк, пыль, сумерки.

“Я умираю...”

“Не говори глупости... Очень нервный мальчик”, – повернулась профилем к

Чарлицкому.

“Он похож на вас”, – произнес Чарлицкий.

“Он похож на свою несчастную бабушку, мать Лео... Не хотите ли еще кофе?”

Страхнув с пальцев кондитерскую пыль, потянулась к кофейнику.

“Мамб, я умираю...”

Шелк, тьма, запах чего-то горького.

Госпиталь, палата.

Ташкент, 24 декабря 1911 года

Солнце колыхнулось желтком над деревьями кауфмановского сквера и стало сползать вниз. Ежедневно оно проделывало один и тот же моцион: поднималось над русским городом, освещая два дворца, генерал-губернаторский и великого князя, пятнадцать церквей, гимназии, гидротехническое училище и Мариинское женское, семь русско-туземных школ, шесть заводов искусственных минеральных вод, два кишечных завода и семь хлопкочесальных, четыре пивоваренных и два мыловаренных, два завода искусственного льда, Общество электрических заводов Сименса и Галске, Нефтепромышленное товарищество “Батум”, чайные склады Высоцкого и нефтяные Шамси Абдуллаева, Товарищество русско-американской резиновой мануфактуры “Треугольник”, торговые дома Якушева, Захо и Альперовича, банки Русско-Китайский, Волжско-Камский, общество взаимного кредита, гостиницы “Бристоль” и “Туркестанские номера”, Кауфмановский приют для подкинутых младенцев, госпиталь, лечебницу братьев Слоним, пастеровскую станцию, Военное собрание, театр-фарс-Буфф, цирк Юпатова и варьете “Новая

Шахерезада” для изысканного общества, а также и два кладбища для вечного упокоения в ожидании сольной партии духовых... Осветив собой все это хозяйство, солнце с азиатской неспешностью ползло к зениту. Там оно ненадолго устанавливалось, словно отбывая службу в присутственном месте, и начинало спускаться на запад, к лабиринтам и дымкам туземного Ташкента. Так уж вышло, что регулярный европейский город в Ташкенте помещался на востоке, а восточный, напротив, – на западе. Впрочем, для солнца этот географический курьез имел мало значения, и подлаживаться под градостроительные причуды местных властей оно не собиралось; вставало, освещало, что нужно, и садилось. Не исключая зимы, когда оно, солнце, имело множество удачливых конкурентов в виде фонарей, ламп и других приспособлений...

По случаю Рождества город был иллюминирован.

По магистралям Нового города двигались фонарщики, неся шесты, которыми руководили подачей газа. Стекла на фонарях были оттерты от копоти, горелки поправлены; проверен механизм подачи угля, чтобы в рождественскую ночь фонари не гасли и не шипели. Благодаря этим своевременным действиям центр Нового Ташкента блистал. Кроме фонарей, горели витрины модных магазинов с фальшивой хвоей и ватой. В богатых окнах зажигалось электричество, создававшее иллюзию солнечного света; в домах поскромнее разносили по комнатам керосиновые лампы; в бедных – помаргивала добрая старушка свеча.

Забили колокола.

Военный баритон Иосифо-Георгиевского собора перекликался с теноровыми форшлагами Градо-Сергиевской, бывшей от него в дистанции; подавали свои голоса

церковки гимназические, училищные, тюремные; на окраинах щеголяли переливами Железнодорожная и Госпитальная... Внутри было не протолкнуться, возле икон нарастали заросли свечей.

Колокольная артиллерия доносилась и до туземного города. Тут никто не ликовал и керосина зря не тратил; Иисуса, по-мусульманскому – Ису, считали здесь одним из тридцати четырех пророков; если так праздновать рождение каждого пророка, разоришься на угощение – ни одного барана в городе не останется... Мысли эти, впрочем, держались про себя, к тому же азанчи, призывая к намазу, ухитрялись перекрычать металлический шум, который поднимали у себя русские. Кое-кто из старогородских даже направился в русский город, поглазеть на освещение и народ.

Даже в “Шахерезаде”, где заседала публика, настроенная к ладанам и песнопениям скептически, подготовили специальную программу. Делоне, осыпаясь пудрой, сыграл фантазию на *Stille Nacht*; ближе к полночи на сцене явились три восточных волхва, Гаспар, Мельхиор и Бальтазар. Волхвы были в немалом подпитии, шатались и на русско-туземной смеси спорили о звезде, которая все чудилась одному из них, наименее трезвому, – его изображал знаменитый Бурбонский... Ватутин сидел в своем “гроте” один и клевал антрекот; Чайковский-младший сбежал в церковь, а Его-Кошкин фланировал по городу, выискивая “сюжетцы”. Ватутин почти не смотрел на ужимки волхвов и снова задавал себе вопрос, для чего он сидит в этом месте, почему ни улица с ее нарядными толпами, ни мастерская, пропахшая реактивами, не влекут его к себе... Волхвы, намаявшись, встречали пастуха, в которого был переодет официант Рахматулла. Пастух советовал им хорошенько выспаться, “чтобы голова здоровый был”, потом соглашался сопровождать бедолаг в

“роскошный” караван-сарай, который оказывался грязной пещерой, где вдобавок держали скотину... А Ватутин все думал об отце Кирилле, который, как шепнул сегодня Его, был совсем плох. Пережевывая антрекот, Ватутин представлял себе будущие похороны отца Кирилла, на которых он сделает несколько снимков; особо удачным выйдет сам отец Кирилл среди лилий.

Расплатившись, Ватутин вышел на улицу. За спиной мигала электрическая реклама “Шахерезады”, вправо и влево уносилась улица в редких фонарях; фонари гасли, шипели и загорались снова.

Отец Кирилл проснулся; из окна лил серебряный свет.

Чья-то голова склонилась над ним, со светлым пятном бороды.

“Владыко?..”

Владыка Николай был в полном облачении, как в последнюю токийскую встречу.

“Роль наша не выше сохи. Крестьянин попахал, соха износилась. Он ее и бросил”.

Отец Кирилл приподнялся на локте, вслушиваясь.

“Износился и я. И меня бросят. Новая соха начнет пахать... – Закашлялся. Затих, пот серебряный вытер. – Вот, еле-еле Рождественскую отслужил, так взяло. Завтра в больницу. В Цукидзи. Теперь вот завершаю...”

Отец Кирилл хотел говорить, но гость остановил его: “Знаю... Потому и пришел. Возьму твою смерть на себя, мне и так недолго. Теперь ты паши. Честно паши!”

Отец Кирилл уронил голову в подушку.

Солнце проделывало свой подземный путь, освещая корни, залежи руд, пещерные реки, островки мертвых.

Владыка Николай был линией сгиба его жизни. До этой линии было детство, Москва, рисунок, училище. Германия, Франция, возвращение, кризис, Япония. На Японии обрывалась лестница, по которой двигался вверх, хватаясь за перила; рядом топало множество народу, гремели этюдники, рассыпались и скакали вниз пастельки; впереди качались спины и затылки, в проем меж которыми следовало устремиться, соблюдая правила безопасности, чтобы не загреметь, оставив после себя недолгое кружение набросков, эскизов и проч. До этой линии сгиба жизнь была густо заштрихована, тронута подмалевкой; в спинах впереди вот-вот засветит проем.

В ту токийскую ночь ладонь разжалась и выпустила перила. И зависла в пустоте.

А потом было утро. С ветром, с бесцветным небом, как на гравюрках, продаваемых за сэн на Асакусе. Кирилл влез в халат, спустился вниз. Завтрак на одну персону. “Такеда-сан ва?” Нет, отвечает слуга, Такеда-сан сегодня не пожалуют. Слуга вышел. Понятно. Такеда не пожалует до тех пор, пока он, Кирилл, здесь. Напоследок сходить в Уэно, недалеко, купить жареных каштанов, засыпать в карманы, согреть ладони. В парке малоллюдно, тянет сладковатым буддийским дымом. Храм Бендзайтэн, богини воды и искусства. Раньше любил, бросив в короб для пожертвований монетку, ударить один раз в колокол и попросить об успехах в своих экспериментах. Но богиня молчала и не желала содействовать абстрактной живописи: судя по росписи ее храма, богиня предпочитала примитивную, но реалистическую манеру.

Шел вокруг пруда, мимо пустых осенних сакур. Любимая аллея. Здесь проходили их променады с Такедой. Сюда приходил один с этюдником, поймать на холст восход луны; не поймал, покурил, уничтожил.

Теперь в голове замысел последней картины – условное название “Натюрморт с револьвером”, масло, картон.

Ветер срывает шляпу, она летит мимо сакур, опускаясь и переворачиваясь. Бросился ловить, спрятав револьвер.

“День добрый”. – Старик протягивает шляпу Кириллу. Борода, из-под пальто – ряса.

Палата была пустой и какой-то новой.

Рана болела, но уже не так.

Отец Кирилл приоткрыл фрамугу. Огонек под образами качнулся, ожила бумага, в которую было завернуто съестное.

Отчего же так хорошо, отчего так, откуда у него, у мозгового человека, которого даже в гимназии звали Воблой, откуда эти тяжелые, астматические приступы счастья? Из каких силлогизмов выведено, какой физиологией обусловлена эта радость всему: и росчеркам дерева за окном, и ветру, и лику Богородицы над огоньком, благословенна Ты в женах...

“Щу ава ре миё”[2], – произнес по-японски, снова прикрыл глаза, но уже не для видений, а для глубокого сна. И был ему сон в земле Галаадской...

Город с желтым куполом, 23 апреля 1849 года

Превозмогая боль Горбунья подползла к дыре в стене заклеенной бумагой в которую бил ветер схватки усиливались хотелось содрать бумагу но тогда комната охладится и они погибнут а они лежали укрытые одеялом самые ценные висели в мешочках у нее на груди в подмышках возле лобка когда началась боль она отвязала веревку с пояса сняла с лобка мешочек чтобы они не намокли и поползла на четвереньках касаясь животом пола обогнула одеяло которым они были накрыты и уткнулась в стопы Рызки.Рызки как всегда медленно покачивался в петле шея вспухла лицо отекло но он жив висел уже давно даже пищу и воду иногда принимал не ослабляя петли только жестами просил хлеб размочить и Горбунья его кормила и перекладывала на нем мешочки с коконами все тело Рызки было в этих мешочках Рызки горячий всю комнату мог собой согреть за это и за святость Хозяин и приютил каландара и терпел все неудобства от его святости терпел его и Горбунью за это приютил она тоже теплее других женщин а шелковичный червь тепло любит. Горбунья морщится от боли осматривает Рызки ищет свободное от мешочков место где бы повесить свой мешочек. Рызки посмотрел на нее гноящимся глазом и Горбунья отползла от страха даже забыла о боли и обиде другие каландары хоть милостыню собирают а этот только знай себе висит мешочки греет убирай за ним подтирай за ним кроме тех двух раз никуда с веревки не спускался а и тогда лучше бы не спускался. Первый раз спустился когда только привели Горбунью и все женщины дома явились ее осмотреть и пощупать новая работница подружиться надо чтобы свое место знала погладили ее по горбу не самодельный? нет настоящий хорошо соперницей не будет. Только увидела тогда Горбунья позади женских лиц одно страшное мохнатое в колпаке а женщины ой это Рызки спустился ради тебя

говорят наверное значит она все-таки соперница смотрите горб у нее маленький такой горб мужчину если охота найдет может и не остановить. Но только постоял Рызки среди женщин пожевал край бороды и ушел к себе в петлю. Второй раз Рызки спустился кружил по двору разбрызгивая пятками зеленую жижу потом пошел на Горбунью а Хозяина как раз не было остальные попрятались глядят и когда она была затылком прижата к земле лицом к небу показалось ей что горб у нее исчез а с тела Рызки сыпались на нее насекомые верный признак святости. Так стало у Горбуны вскоре два горба один спереди другой сзади. Хозяин узнав об этом в женскую половину вошел и все пришли посмотреть что Хозяин сделает с Горбуньей но он ничего не сделал только послал за муллой за самым сговорчивым муллой и Мулла пришел старый и сговорчивый и прочитал никох над Горбуньей и висящим дервишем только спросил жив ли новобрачный в веревке? а какая разница сказал Хозяин за такие деньги можно благословить на брак даже мертвецов тогда Мулла пощупал пульс Рызки и сказал если он обычный человек его нужно лечить а если он святой он должен лечить других так они стали мужем и женой и был день и была ночь и снова был день и снова ночь и снова были день и ночь младенец возрастал в утробе младенец зачатый Повешенным Каландаром среди коконов шелкопряда и отлеживавший в коконе Горбуны положенное число лун. Ибо известно как происходит зачатие семя мужчины теплое и густое как верблюжье молоко входит в женскую утробу навстречу ему устремляется семя женщины стыдливое покорное тут слетает ангел и читает над ними молитву и оба семени соединяются приветствуя друг друга давая исток новой жизни. Но в час зачатия Курпы ангел читавший молитву над двумя дрожавшими от нетерпения семенами отчего-то запнулся может

задумался о чем-то хотя ангелы как известно не думают а только переносят мысли между людьми опыляя их головы подобно пчелам а может удивился чему-то хотя удивить ангелов так же невозможно как повитуху или гадалщика или чистильщика клоак но ангел все же запнулся помотал головой словно отгоняя муху что тоже невозможно ибо мухи это шуты и масхарабозы сотворенные для передразнивания ангелов и их развлечения и потом все же дочитал молитву однако от этой заминки младенец засиделся в своем коконе и кажется раздумал вылупляться из него в мир пыли и слез. И тогда ангел тот самый который допустил запинку между буквами “алиф” и “лам” отправился искать младенцу второго отца от сновидения которого должны были ускориться роды и для этого требовался особый мужчина лучше всего из приговоренных к казни именно их сны более всего похожи на сны беременных женщин застигнутых в ночи схватками и для того облетел ангел за ночь все зинданы и тюрьмы вселенной и нашел нужный сон далеко на севере в десятом климате в столице урусов с труднопроизносимым даже для ангела названием Санкт-Петербург и извлек сон особой черпалкой изо рта и глаз спящего пленника подбросил в правой ладони как кусок глины и вернулся к утру к роженице и приступил к делу. Смял сон в ладонях вылепил из него несколько монет неотличимых от золотых которые чеканились эмиром и подделкой которых славились местные ювелиры потом приподнял подол спящей и соблазнительно позвенел монетами перед входом в ее утробу. Внутри пошевелились однако желания выйти не изъявили о смотри какой разборчивый нахмурился ангел однако в душе порадовался что хоть одним сребролюбцем в Бухаре будет меньше. Он снова смял сон северного пленника и вылепил из него подобие флейты-ная и дунул в нее перед самым входом в утробу

пытаясь привлечь младенца напевом. В утробе зашевелились сильнее и вроде даже затолкались к выходу но потом снова раздумали э! обиделся ангел однако в душе порадовался что хоть одним любителем шумной музыки в Бухаре будет меньше. Он поочередно пробовал выманить упрямого младенца вылепленной из сна фигуркой женщины и саблею с запекшейся кровью и другими соблазнительными вещами от которых обычно даже слабенькие младенцы начинали ползти к выходу но теперь все было бесполезно наконец ангел хлопнул себя по голове так что с нее чуть чалма не слетела что невозможно ибо чалма у ангелов есть продолжение головного мозга для хранения всех мыслей которые когда-либо приходили в голову людям итак хлопнув себя по голове он быстро вылепил из сна некий свиток на котором начертал ногтем ученые письма и разные глупости об устройстве вселенной и даже пару любовных стихотворений размером мусаласс. Не успел он поднести этот свиток к влажным вратам как там словно началось землетрясение живот Горбуны заходил ходуном она проснулась и прошептала ой а ангел обрадовавшись все помахивал свитком выманивая то удаляя свиток то поднося его к ожившему животу на! на! дразнился ангел высовывая язык и улыбаясь хотя в душе ему было грустно еще один любитель мудрости и поэзии появится в Бухаре не много ли а?

Ташкент, 4 января 1912 года

Утро было выполнено сепией. После Рождества легли снега, от речки Саларки шел туман, дома плыли в нем. Рана заживала, шум в голове ослаб. Врачи, державшие отца Кирилла в нежилъцах, отметили выздоровление и приписали своим заслугам.

Следователь Казадупов спрыгнул с ваньки, обошел кофейную лужу, натекающую с

сугроба, и зашагал вдоль корпусов. Корпуса были серо-желтого туркестанского кирпича, чуть оживленного присыпками снега. Встав под навес, Казадупов постучал. Внутри было крепко натоплено; пенсне заволокло паром, пришлось выдернуть из кармана платок.

У больного, выставив носик, заседал журналист Кошкин-Его.

– А, почтеннейшее Его! – поприветствовал его Казадупов.

– Мартын Евграфович! – Кошкин схватил холодную ладонь следователя.

Отец Кирилл наблюдал за обменом приветствиями. Голова его была провалена в подушку, из провала торчала борода и желтел лоб.

Кошкин вздохнул, словно понюхал розу:

– Пожалуй, пойду...

Казадупов молчал и пах сыростью.

Отец Кирилл попытался найти под одеялом удобную позицию и не нашел.

В дверях Кошкин послал многозначительный взгляд.

Казадупов закинул ногу на ногу.

Подумав, вернул ногу в прежнее положение:

– Не помешал вашей беседе с прессою?

Больной повернулся к следователю, большому, с пятнышком пара на линзах.

– Батюшка, нами задержан...

Пальцы отца Кирилла, терзавшие бородку, замерли.

– Нами задержан подозреваемый по вашему делу. Некто Курпа. Из туземцев. Курпа. Вам это имя ничего не говорит, батюшка?

Отец Кирилл глядел на поверхность одеяла:

– Мы встречались один раз. По делу одного моего дальнего родственника. – Больной пошевелился, пытаясь покоейнее расположить ноющую руку.

– Не могли бы вы поведать подробнее, где и когда вы с ним встречались?

– Да...

Рука все никак не укладывалась. По лбу текли реки. Во дворе носили уголь.

Казадупов проявил душевную тонкость. Сказал, что понимает состояние. Тяжелое выздоровление, после такой-то раны. Готов прийти другой раз, для более подробного антре-ну[3].

– Я и не рассчитывал сегодня вас разговорить.

– Разговорить?

– Простите, профессиональное словцо выскочило!

– Это вы простите... Устал я сегодня что-то!

– Вижу, вижу. Когда еще пришел, заметил: утомил вас Его. Любого затараторит. Дружествуете?

Отец Кирилл моргнул.

Казадупов вышел, прогвоздил по коридору.

Хлопнула дверь, слетела сосулька.

В окне, в тающем дворе, шагал Казадупов. Солнце играло на пуговицах и на пенсне. Казадупов достал часы и подмигнул циферблату. “Ах, мадам Дюбуша, это что за антраша?” Нет, он не торопится. Вышел из госпиталя, вспугнув сапогом пейзаж в луже.

“Ташкентский Пинкертон”, вспомнил отец Кирилл и заснул.

Спал быстро и неудачно, с просыпаниями и болью то в одном, то в другом месте.

Открыл глаза в закат. Дерево каркало; гора угля, огрызки снега, боль в руке. Грязно-желтые корпуса; дерево, черное, слегка кобальтом, ветви – ребром кисти; зеленоватые остатки снега. Но пусто под рукой: ни тюбиков, ни палитры, увальсировали в пустоту меж лестничными пролетами. Брошено все – возле храма Бендзайтен, где летела его шляпа. Закат полыхал вхолостую.

Вспомнил Кошкина: уговаривал возродиться и вернуться к мольберту. “И вашему, так сказать, служению... – Его покосился на рясу. – ...мешать это не будет... церковь распишете!”

Закат, наигравшись, погас. Отец Кирилл сжал до вздутия вен перекладину кровати, спустил на пол вареные ноги. Описав прогулочный круг, сел в простыни.

Перелистал в уме день.

Заскок в палату Кошкина с корзинкой провизии и гирляндой сплетен. Отец Кирилл просит его разыскать в газетах, нет ли сведений о здоровье епископа Николая в Токио (“Просмотрю”, – поправляет бабочку Его). Шинель Казадупова, выдавившая бабочку из палаты; разговор, лужица от снега возле табурета. Услышав имя Курпы, вжался в кровать; не страх, что-то тяжелое, как этот госпитальный закат, надавило. Усталость, уныние, бес с бычьими глазами. Падение фиолетового демона в росплеске перьев. “Я и не рассчитывал сегодня вас разговорить!”

Нет, страх все-таки был. Легкий мазок, стронциевая желтая. Пахад[4], одна из каббалистических ступеней, если верить Кондратьичу. Новогоднее утро, канонада в калитку, тьмы стало больше – вот настолько.

Ладонь потянулась к кошkinsкой корзиночке. Яблоко, пирожное “ласточка”, пара бутербродов. Забота о духовном отце. Можно отведать. Отче наш, иже еси.

Пальцы наткнулись на твердое.

Конверт.

Красный квадратный конверт. Нашарив спички, зажег свечу.

Das also war des Pudels Kern![5]

Полетный почерк, с которым он успел хорошо ознакомиться.

“...Ваша жизнь все еще в опасности. Но надеюсь на Ваше умение держать слово.

Помощь Вам будет оказана в ближайшее время”.

Подпись: Николай Третий.

Приблизил к огню.

Сдув в темноту пепел, погрузился в кровать.

Лег на левый бок, но не заснул. Сердце мешало. Лежал и думал.

Искандер, имение “Золотая Орда”, 2 февраля 1912 года

Весна дала себя почувствовать уже в феврале. Солнце трудилось, подогревая землю и вышибая из нее первые искры хлорофилла.

Великий князь Николай Константинович расхаживал по имению и думал об отце Кирилле.

Думал рассеянно, постоянно переносясь на другие предметы. Голова была забита делами и проектами.

Лысеющая голова была забита весной.

Весна иде-е-ет... Аккорд, аккорд. Весна иде-е-ет!..

Николай Константинович дышал воздухом. Шумела вода, об отце Кирилле думалось вяло.

Мысли занимал Канал. Канал смывал другие мысли, выплескивался вперед и бил глинистой волною о берег.

А славный сад у отца Кирилла; только зря теплиц понастроил, духоту развел. Растения следует приучать к здешнему климату, а не баюкать под стеклянным колпаком. “Зачем вам, батюшка, эти стеклянные гробы?” Отец Кирилл обиделся в бороду. Горд батюшка, все еще живописец в нем кипит. Краски бросил – за цветы взялся, растения. Воздушное сердце, фантаст, кружится все, в рясу влез – как в смиренную рубашку. И докружился. Радоваться надо, что жив остался, да и надолго ли жив? Такую паутину потревожил...

Великий князь осторожно снял паутинку с урючины. Хозяин паутины отсутствовал; уполз куда-то зимовать, видно.

Что означало потревожить паутину, великий князь знал хорошо. Ему самому судьбу до позвоночного хруста переломали, не в рясу – в настоящую смиренную рубашку пеленали. Из Петербурга вышвырнули, стаю медиков спустили. Только здесь, в Ташкенте, чуть ослабили паутину, дали пожужжать на солнышке. Иногда прищурятся из Мраморного дворца, тенета перебирая, – тих? Тих, тих, рапортуют его надзиратели – им самим давно перекупленные. В Мраморном успокоятся, лишь изредка слезой блеснут: “Ах, бэдный Никола!”

Хотя – что он для них? Ташкентский идиот, забавляющийся ирригационными игрушками. Разве могут в Петербурге, который захлебывается от каналов, давится неводской волной, – могут они понять, что значит вода среди пустыни?

Это понимали здесь. Понимали, ценили, сдержанно рукоплескали. Шумно опасались – поглядывали на Мраморный дворец. Пять лет назад побывал у него тут

генерал-губернатор Гродеков, оценил достижения, настроил эпистолу: “Во время недавней поездки по краю я долго оставался на станции Голодная Степь, где осматривал учреждения, которые призваны к жизни, благодаря проведенной Вами воде. Позвольте, Ваше Императорское Высочество, поздравить Вас с достигнутыми результатами. Отныне станцию “Голодная Степь” следует переименовать в “Сытое место””.

Рукодельник был Гродеков по части комплиментов и перед Николаем Константиновичем рассыпался, несмотря на прищур из Петербурга.

“Я видел там русских людей, крепко водворенных, живущих сытно; я видел питомник Главного Управления Земледелия со всевозможными плодовыми деревьями, уже приносящими плоды; я видел арендаторов орошенных земель, не нахвалящихся урожаями”.

С арендаторами тогда, перед визитом Гродекова, он велел переговорить. Великий князь не был любителем дутья в трубы, но Гродекова нужно было убедить: будущее Туркестана – в ирригации. В сети каналов, заброшенной на сухую землю. И нужно было обратить Гродекова в эту ирригационную религию.

Канал имени Государя Императора Николая Первого был предприятием дерзновенным. Как все дерзновенное – не без мелких изъянов.

Голова Канала располагалась у левого берега Сырдарьи и образовывалась плотинами. Река шалила, меняла фарватер; иную весну плотины размывало. Летом река мелела, рукав заносило галькой и илом, вода на поля шла через силу; требовались чистка и подновление плотин. Арендаторы от русской привычки к дармовой воде возиться с Каналом не хотели; вместо воды текли жалобы, что земли

мертвеют, и требования снизить арендную плату. Великий князь читал, сочувствовал, но снижать не спешил и слал комиссии для разбора. Отчеты комиссий читал с красным карандашом. Хорошо (постукивал карандашом), предположим, в расчетах Канала ошибка. Но ведь главное достигнуто – степь ожила. За полвека господства в Туркестане правительство только лило реки чернил, а в степь ни капли воды не пустило! Когда пошли из внутренней России переселенцы, привлеченные новыми пространствами, для них земли здесь не было, пыль одна, а что в нее посеешь, кроме русских слез? И тогда по его мановению прорезал степь Канал, зажурчала вода, закопошились по берегам русские мужички, привыкая к новой земле. Здешняя власть это ценила; Гродеков – тот даже перекладывал патоки.

Жаль только, что три года назад Гродекова отправили в отставку, а с новой властью у великого князя был холод. Про Канал печатали всякую ерунду – устал карандашом очеркивать. Пытались теперь свои каналычики напроектировать, перехватив воду у него.

Прежнее героическое поколение освоителей Туркестанского края сходило со сцены; на смену лезло мелкое, суетливое, гешефтмахерское. Развели татар, жидов...

Да, был такой факт его натуры – сторонился семитского племени. Без деклараций, интимно – как либерал. От общей для Романовых арийской безразличности. А может, оттого что сам был среди своей династии первым жидом и капиталистом.

Естественно, делал исключения. Уважал за воспевание природы Левитана. Оказывал благотворительность двум здешним юношам с терпко-иудейскими именами. Даже Кондратьичу-Тартакову, алхимику этому...

Ценил за мозги Гейнцельмана, инженер-архитектора. Поручил ему выстроить себе дворец. Вильгельм Соломоныч побряхтел, поворчал на старость и букет болезней, а дворец выстроил, к сроку, в готическом вкусе. В благодарность направил Гейнцельману золотой портсигар с сердечной надписью; старик был тронут и письменно благодарил.

Впрочем, Гейнцельман – из выкрестов. Из химических, так сказать, евреев, чье еврейство было изрядно растворено в крещальной купели, а еще больше – в растворе русской культуры. Хотя и после таких трансмутаций еврейский элемент не вполне растворялся и тысячелетней своей формулы окончательно не менял.

Чудесная весна... Такая ранняя.

Завтра его день рождения.

“Что наш удел? Рождение и смерть, и между ними – сон”.

Его сну уже шестьдесят два года.

Сон долгий и неразгаданный, полный сновидений и металлических кошмаров.

Тайна преследовала великого князя с самого рождения.

Говорили, что накануне над столицей зажглась комета. Что венценосный дед его, Николай Первый, заинтересовался небесным телом, опасаясь его влияния на умы.

Что незадолго перед тем открылся заговор, дело петрашевцев, вокруг которого нагромоздили горы молчания и недомолвок. Что по коридорам Зимнего дворца потянуло запашком интриги, чуть было не перевернувшей Империю.

Тайна преследовала его с рождения, кипела облаками в дворцовых окнах, ерошила ветром кудри. Корчила рожицы в зеркалах. Шуршала юбками возле

детского уха, умалчивала. Он впитывал разговоры. Выводил свои детские теории из недомолвок.

Тайна, обжегшая его детство нездешним светом.

Зима, небо законопачено ледяной ватой, Нева, болит горло, больно кричать и глотать. Надвигался какой-то бал, его взяли во дворец, он скрыл горло и нарочно много кричал, чтобы не догадались. Во дворце в него вселился демон. Он нырнул за парчовую занавесь и слушал, как колотится сердце.

Он ждал, что начнутся “ау” и заглядывания под диваны.

Не началось. Никто его не искал. Стало тихо, только часы стучали за занавесью и сердце внутри.

Устав от своего исчезновения, он выполз.

И увидел мальчика.

Одного.

В зале, среди картин.

Мальчик был его ровесник и так сильно на него похож, что он даже испугался. Оба они испугались, в пустом зале.

Они стояли друг перед другом и сопели. Другой мальчик был одет бедно и смешно, а его кудри – точно такие же, как у него самого, – были приглажены водой. Держался мальчик с искусственной взрослостью, боялся и моргал.

“Тебя как зовут?” – спросил мальчик по-русски.

“Николя”.

“Николя?... Ты тут живешь?”

“Oui. Да”

“Богато. А кто построил этот дом?”

“Мой grand-pere... Он большой император!”

Мальчик посмотрел, ничего не сказал.

Маленький великий князь сделал к нему шаг. Теперь они были рядом, лицо в лицо, горло болело, в ушах стоял шум; мальчик глядел на него как отражение, его отражение. Он потрогал его руку. Сжал. Ему вдруг самому стало больно, и он отпустил. Провел по его – или своим – влажным кудрям.

Мальчик, сжав губы, позволял на себя глядеть.

Осмелев, сам потрогал курточку великого князя. “Богато...” Их лица были рядом, два бледных лобастых лица. “Вы – это я?” Не дожидаясь ответа, обнял. Тот – дрожал: “Нет, я... Меня зовут...”

Жар, поплывший зал...

Занавес.

Стоило бы написать пиэсу. “Le Prince et le Pauvre”[6]. Поставить в Народном театре или в “Новой Шахерезаде”. Это вам не “Бой бабочек”, господа!

Теперь драма его жизни движется к развязке. Из оркестровой ямы грохочет tutti. Усердствуют ударные и духовые. Занавес открывается последний раз. Сцена представляет собой весенний сад, полный ароматов. По саду прогуливается он, le Prince pauvre. Внезапно – соло гобоя – появляется человек и протягивает ему записку...

Великий князь Николай Константинович развернул бумагу.

В записке было два слова:

“Курпа бежал”.

Ташкент, 3 февраля 1912 года

Медленно время течет в Ташкенте. Чуть шелестит секундная стрелка. Идет по кругу, отбрасывая смутную утреннюю тень; комнату наполняет солнце, тень густеет и укорачивается. Солнце уходит на другую половину дома, освещать косо повешенный ковер; циферблат гаснет, и стрелка лишь мышинным шорохом напоминает о себе. Осветив ковер и длинную вазу, в которую, как в футляр, отец Кирилл обычно вкладывает свежесрезанные цветы, лучи гаснут, и учреждаются сумерки. Эти минуты отец Кирилл, если не служит, проводит в качалке. Вытягивает ноги, глядит в потолок, как в погасший экран синематографа. Секундная стрелка отрезает тончайшие дынные ломтики от его жизни. Во дворе хлюпает кавушами Алибек, тюкают перепелки, над урючиной распускает свои зябкие лепестки Венера, в углу слабо борется с тьмою лампадка.

— Сумерки... — произносит отец Кирилл, словно ектенью возглашает.

Вносят подсвечник с двумя свечами, ставят возле самых часов. Секундная стрелка обрастает оливковой тенью. Отец Кирилл пьет чай, процеживая зубами чайники, собирается отдать починить часы. Минутная и часовая стрелки неподвижны, одна секундная живет. Помолившись, отец Кирилл ложится. Укрывается одеялом, подшитым простынею; кровать, принимая его тело, по-бабьи всхлипывает. Глаз привыкает к темноте, в темноте идут часы, старой работы, с арапчатами. Арапчата когда-то кружились под музыку, что эта была за музыка и что плясали фигурки, не знал даже отец отца Кирилла, Лев Петрович. Рядом с часами —

фотография епископа Николая. На фотографии надпись, от темноты не видная. Еще одна фотография – молодой некрасивой женщины – и засушенная хризантема: память о Комиссаржевской.

Они встретились с Комиссаржевской, когда она только приехала, перед первым спектаклем. Протянула записку от Серафима Серого. Серафим Серый был машиной, рождавшей теории. Свою последнюю теорию, что-то о пластике, родил специально для Комиссаржевской. Серый, в своем духе, решил сообщить с отцом Кириллом посредством Комиссаржевской, а не обычной почтой. Комиссаржевская отзывалась о Сером с уважением, но как о чуде. Отец Кирилл кивал и вспоминал Мюнхен, где Серый вскакивал ночью с пуховиков и предсказывал мировую грозу. Она смеялась, по фигуре ее прокатывались электрические волны; отец Кирилл отводил взгляд на крашенные полы. Потом видел ее на сцене, в “Бое бабочек”. И снова отводил глаза на стертый плюш театральных стульев. Овации и букеты, самый изысканный – от великого князя, ценителя дарований. Отец Кирилл, как духовное лицо, букетов не слал, ночью после театра долго ворочался, во рту было как в Сахаре. Встал; три глотка воды, молитва. Щепоть касалась высокого лба, чуть мохнатой груди и плеч.

Отец Кирилл в кресле-качалке.

Ноги вытянуты в темноту. На потолке гаснет финал какого-то синема. Беззвучный тапер погрузил пальцы в клавишное мясо, демонстратор перемотал пленку и вышел на воздух; луна прожигает штору.

– Кто здесь? – Тянется за спичками. – Кто здесь?

Гость подносит палец к губам.

– Курпа? Ты пришел меня убить?

Курпа сидит на диване, рядом с ним узелок.

– Курпа... Он хочет меня видеть? Он еще жив?

Курпа поднимается:

– Маком кучек, созвездие Рыб...

Спичка зажглась.

На пороге стоит Алибек:

– Хозяин, нельзя так долго в темноте быть. Здесь она очень сильная, как лошадь...

Алибек считал, что темнота везде разная, и называл ее разными именами.

Лошадь медленно входит в дом, отец Кирилл морщится во сне от ее травяного дыхания.

Лошадь наклоняет голову к часам. Глаз янтарный, болотистый.

У тьмы много имен, у света – только одно. У тьмы много имен, привкусов, запахов. У света – только имя. Тьма течет вокруг света. Медленно ступает лошадь.

“Червячиха Червячка родила! Червячиха Червячка родила!”

Горбунья вздохнула.

Не нравилась ей эта кличка пусть лучше Горбуньей называют так ее и братья называли и соседи и родственники одна мать ее звала Гульджамол Прекрасной Розой да и та умерла. Улыбнулась горбатая роза радуясь что смогла так быстро и ловко родить что даже не разбудила никого и Рызки как висел на своем месте так и висит накормила сына и стала его спящего под одеяло к коконам подкладывать пусть своим теплом их тоже согреет ветреная весна много червей померзло беда. И пока

под одеяло подкладывала то и имя придумала Курпб “одеяло” то есть.

Так появился так пришел так пробрался на этот свет Курпа сын Горбуньи и Повешенного Каландара зачатый среди коконов так появился слабым и плаксивым так пришел смуглым и нежным так пробился любителем наук. Пришли обитатели дома встали вокруг и начали решать что делать с этим сыном греха или сыном святости все же отец его святой человек а святость товар тонкий тоньше шелка не всегда ее узор разглядеть не всегда ее пощупать можно. Нехорошо что Каландар на Горбунью полез и тем самым заставил всех испытать смущение но то что он выбрал себе такой необычный предмет страсти как Горбунья и то что потом он к ней больше не прикасался заставляло думать что в поступке Каландара содержалось иносказание а иносказание вещь тонкая тоньше шелка так что решили ждать что скажет Хозяин.

А Хозяин любитель священного послеобеденного сна и перепелиных боев посетил женскую половину посмотрел на младенца посмотрел на висящего Каландара и решил ждать знака свыше. Но в то лето знаков свыше было мало и небо без особой надобности на них не тратилось тогда Хозяин зазвал к себе бродячего составителя гороскопов долго торговался с ним наконец получил гороскоп Курпы прочитал и задумался.

Был день и была ночь и снова день и ночь так рос Курпа вытягивая из матери молоко как шелковую нить молоко было солнечное днем и лунное ночью и мать склонялась над ним защищая его своим любящим горбом от мира.

Ташкент, 4 февраля 1912 года

Приходил отец Стефан, подменявший его в церкви, жаловался на усталость и боли в ногах. “Прихожане вас ждут...” Мало священников в Ташкенте, каждый на счету. В церковной школе без отца Кирилла задержались каникулы, дети таскались по улицам, пора заталкивать их обратно за тетрадки.

В “Вестнике” появилась заметка о болезни епископа Николая. Начал письмо владыке, но выходило по-японски – пустые улыбки и поклоны, начал писать о своих делах (церковных и проч.) – чепуха. NB: отслужить молебен во здравие.

Природа снова развернулась к зиме, землю стянул снег. Отец Кирилл вышел, запер ворота – теперь запирал. Люди по дороге встречались больше знакомые, как все в Новом городе. Он успел соскучиться по улицам, по людям и с аппетитом здоровался. Пару раз поскользнулся, отвык ногами ходить.

На солнышке – радость. Вспыхнули лужи, повеселела грязь; заиграл, ухватив луч, крестик на церкви – уже виден.

Церковь Благовещения в русском стиле, как и все ташкентские. О стиле этом они спорили иногда, под кофейный прихлеб, с Ватутиным. Ватутин громил луковки как направление и кашлял в кулак. Отец Кирилл залегал в оборону: “Через сто лет и этот стиль запахнет стариною, сделается всем интересным. А через триста лет уже и не отличат его от Ивана Великого. Архитектура – искусство биологическое. Что выживет века два-три, то и гениально”.

“Ничего здесь не выживет”, – раскуривал Ватутин папиросу. Отец Кирилл стучал по столу пальцами.

Архитектурой он увлекался наследственно.

В отцовском кабинете было темно от фолиантов, отец двигался среди них, как искатель жемчуга, ныряя то в один, то в другой том. Кабинет был тоже в русском стиле, хотя из-за сумерек русское было не так заметно. Не сразу можно было разглядеть резьбу на мебели, бледных жар-птиц на камине и пыльный самовар, из которого не пили. Но разглядывать было некому: гостей развлекали роялем внизу, а сына в свои научные угодья отец долго не пускал, вырастая при входе как ангел с пламенеющим мечом.

Лишь когда Кирилл продвинулся в рисовании, отец стал допускать его в свой сад. Они сделались товарищами; отец сообщал ему порциями мировую историю архитектуры; один раз даже позволил сготовить чай в запретном самоваре. Чай получился с железным привкусом, но рассказы отца о Византии и секретах тогдашних зодчих искупали все. Самовар изображал храм святой Софии, и отец так увлеченно объяснял по самовару особенности храма, что обжег руку.

Византийский стиль был отцовской слабостью. В светлые минуты обещал свозить сына в Константинополь и еще какие-то города, где на мраморных руинах турки варят свой кофе... Но светлые минуты гасли, отец снова запирался в кабинете или выезжал по делам. Правда, теперь он позволял сыну пользоваться своей комнатой. Как раньше Кирюша таскал у отца конфеты, так теперь книги – куски типографского рафинада, – залезал с ними на диван и грыз. Книги были с рисунками; в рисунки вгрызался долго, облизывал, закладывая за щеку.

Похрустывая и полистывая, продвигался по мировому искусству.

Лил дождь, он просыпался в Древнем Египте, в жреческом лесу колонн, вокруг которых бродили кошки, терлись и исчезали, чтобы вытаращиться вдруг глазищами

богини Бастет. Или замирал под взорами Сфинкса, пронизывающими, как сырость погребов в дачное лето.

Побродив по египетской фабрике загадок, перебирался в Вавилон. Тут было просторнее, локти не утыкались в колонны, спину не буравили взглядом мумии. Тут человек шумел, торговал, карабкался на небо, оттопырив вертлявый семитский зад, и глазурировал городские ворота птичьими пометами. Хотя и здесь под глазурной скорлупой дымились тайны, приносились человеческие жертвы. Ум семита разрывался меж лавочной арифметикой и отчаянной фантастикой, уносившей его в надзвездные сферы. В уме Вавилонянина обе эти стихии – лавочная и фантастическая – еще удерживались; два более юных семитских племени, Финикияне и Израэлиты, ухватив каждую из отдельных противоположностей и водрузив как знамя над своими культурами, довели их до отчаянного догматизма. Финикияне утвердили догматизм лавки; их Гамилькары и Астарты были бледными подобиями богов вавилонских; Гамилькар был полезен, поскольку окормлял их морскую торговлю, за что ему и жертвовали орущих младенцев. Напротив, Израэлиты оказались увлечены фантастической стороной, развившейся у них до единобожия и пророческих галлюцинаций. Об искусстве самих Израэлитов в фолиантах было напечатано скудно; пророки израильские искусство порицали как идолослужение и воспрещали единоверцам пользоваться его изделиями.

Исключением был один Иерусалимский храм. О нем писалось подробно, со ссылками на Святое Писание и гравюрами. План Храма, скиния Завета с двумя херувимами в египетском духе. Впрочем, Храм возводили не Израэлиты, а привлеченные Соломоном Сидоняне во главе с их легендарным Хирамом, царем-

строителем.

Часть о Хираме была вся подчеркнута отцовским карандашом. Бисером рассыпаны заметки на полях. Споткнувшись о подчеркивания, решил расспросить отца – о Храме и т.д.

Не расспросил: отец возвращался уставшим, чужим. “Халдеи!” – ругал кого-то, шумя газетами и скрипя стулом. Мать глядела в скатерть и молодеда. Студенты их уже не посещали, кроме товарища Кирилла, Петрова-Водкина, фантазировавшего на скрипке. Рояль протирали, но клавиши тревожили редко – чаще за него усаживался Кирилл, в его репертуаре значились “Лунная соната”, этюд Черни и полька собственного сочинения. При бетховенских триолях в проеме возникала мать, слушала. Отец, напротив, обратил внимание на польку: проходя, остановился: “Где взял?” Кирилл оторвался от клавиш: “Собственное...” Кирилл опустил крышку и приготовил вопрос о Хираме, но отец, взмахнув рукой, унесся к себе наверх. Кирилл поднялся к отцу, из-за двери донеслось: “Я сплю!” Это “сплю” означало какие-то неприятности, которые Лев Петрович мучительно переживал...

– Кирилл Львович!.. Отец Кирилл!

От внезапности поскользнулся, удержался.

– Отец Кирилл! Осторожнее... – Фотограф Ватутин.

Протягивал руку для приветствия и кривил губы.

Пошли вместе.

– Я тут как раз был на вокзале, дай, думаю, зайду. – Ватутин ломал тростью снег. – А Семен этот ваш мне докладывает: должны сейчас подойти.

– Ну вот... Подождали бы меня там, Семен бы вас пока чаем напоил.

– Кирилл Львович, ну, вы знаете... Я уже замечал вам – дух там какой-то тяжелый, кислый. Не могу, не могу.

Отец Кирилл, соскучившийся по церкви, хотел скорее проститься с фотографом. Ватутин молчал, пуская носом пар.

– Зайдете?..

– Другой раз...

“И чего, скажите, ждал?” – следил отец Кирилл за удалявшейся фигуркой фотографа.

– Модест Иванович! – окликнул Ватутина металлический женский голос.

С крыльца спускалась madame Левергер в мехах и перьях. Из мехов выглядывала Мими, собачка-вундеркинд. Эту Мими Ватутин многократно фотографировал – отдельно и с хозяйкой.

Матильда Петровна выставила лапку (свою) для поцелуя. Ватутин приложился и попытался бежать, как Иосиф от Потифарши.

От перчатки пахло собачьей шерстью.

– Вас подвезти? – осведомилась Матильда Петровна со значением.

– Нет, мне в другую... Мне вот туда! – И шмыгнул в переулок.

М-ме Левергер иронично вздохнула и поцеловала собачку.

Ватутин брел по переулку. Снег в следах, с деревьев капало. Опустив руку в карман, нащупал пакет, о котором забыл. Лицо его вдруг стало стеклянным, как у покойника, которого недавно фотографировал, с лилиями, под requiem.

Переждал, когда мимо переулка протарахтит, развеваясь плюмажем, Матильда. Отер ледяную слезу и отправился в туземный город.

Ташкент – Токио, 5 февраля 1912 года

Молящихся было порядочно – Прощеное Воскресенье. Церковь при станции, место живое: приезжие, отъезжие, провожатые; одни – в буфет, к коньячку, другие – сюда. Подозрительные типы, которые ошиваются вокруг железной дороги; нервные дамы, покрестятся по-балетному, исчезнут. Основа, конечно, свои, железнодорожные. Эти – прихожане, остальные – захожане, чужая рыба. Мастерские, депо – тоже почти все здесь. Жены их в платках, ниже ярусом – дети. Долго привыкал к своей железнодорожной пастве, чувствуя, что тут требуется батюшка мастерской косточки, прямо, а не из библиотек знающий их быт и нужды. Отцу Кириллу с его рисовальным прошлым подошло бы служить при гимназии или училище. Да и не собирался оставаться здесь надолго: год-два, чтобы дела сделать, и в Японию, к епископу Николаю. Но здешний владыка, епископ Димитрий, из князей Абашидзе, постановил по-своему. “В депо и мастерские разные социалисты повадились, агитируют. Им противостоять – образованный настоятель нужен, сомнения разрешать”. Стал отец Кирилл разрешать сомнения. Освежил в памяти социалистов, читанных еще в Москве. Кропоткин, Маркс, Каутский, гр. Толстой... Толстой, впрочем, не был социалистом, а представлял тип запутавшегося русского человека: отрастил мужицкую бороду и запутался в ней. Отец Кирилл поднимался на амвон и обличал. Вначале вяло, не зная, куда девать лишние руки; потом разогревался. “Замитинговал батюшка”, шутили прихожане, но “митинги” слушали

чутко, в уважительной тишине. Его проповеди стали известны, на них приходили посмотреть; пару раз отца Кирилла приглашали в местный философский клуб, где было страшно накурено.

Вот и сегодня, проповедуя, отец Кирилл заметил новую голову. Низенький рост, скулы, узкий глаз под железной оправой. Китаец? Японец? После службы получил через Матвея (псаломщика) визитку. Нихон-дзжин[7], по коммерческой линии. Подыскивая японские слова, побеседовал. Тяжело после службы вести дипломатические беседы, спина тянет, все мысли – диван с чаем.

Не сразу заметил, что гость стал говорить о владыке: “Никораи... Никораи-сама...”

– Никораи-сама...

Епископ Николай отходил.

День был солнечный, с залива налетал и пробегал по городу ветер. Ставни тарахтели, ива под окном шлепала плетью по кирпичу миссийского здания.

Луч лег поперек одеяла, высветив муху. Владыка слабо отогнал ее. “Ну вот уже и мухи ко мне...”

Разлепил губы:

– Накаи-сан... Мотте-ките, кудасай[8]. – Указал на ларец.

Накаи встрепнулся. Тоже измаялся за эти дни. Гонишь его от постели, чтоб отдохнул. Горе с этой их преданностью.

В груди вроде отпустило. Чуть приподнялся на локте.

Ларец английской работы, дар прежнего русского посла, забыл имя.

Нашел нужный узор. Надавил. Отъехал поддонец.

Блеснул камушек.

Почувствовал взгляд Накаи. Думал, письма шпионские?

Муха, проделав над головою владыки вежливый круг, снова уселась на одеяле.

– Передать... В Ташкент, отцу Кириллу. Накаи-сан не забыл отца Кирилла?

Не забыл. Многие тут отца Кирилла помнят. И как свои картины неподалеку сжигал.

– Думал... сам ему передам. Не дождался. Пошлите ему в Ташкент с надежным человеком.

Добавить бы: с очень надежным.

Не стал.

Владыка закрывает глаза и слушает ветер.

Поблизости, на заливе, шлепают винтами по неустойчивой воде пароходы. Ветер рвет флаги, оснастку, шарфы и вуали в толпе. Русских пароходов теперь один-два, не то что до войны.

Тридцать лет в России не был. Когда война началась, все ждали, что бросит все, убежит на родину.

– С очень надежным отправьте...

Роль наша не выше сохи. Вот и тобой Господь попахал, Иван Дмитрич, сын диаконский, в селе Береза рожденный, в монашестве Николаем нареченный. По японской земле, черноватой от вулканического пепла, попахал.

Снова заволновалась за окном ива, заскреблась прутьями. Тяжко в груди! Сестру кликнуть с впрыскиванием?

– Что хор-то не спевается?

Глаз Накаи моргнул.

– Сенсей[9] запретил.

– Пусть придут...

В соседней комнате зашелестело.

Хористы. Это хорошо.

В груди снова плеснуло расплавом свинца. Попытался приподняться, локоть ватный.

Хор загудел. Еще сильнее заныл ветер, упало и покатилося что-то во дворе.

– Скажи, пусть “На реках Вавилонских”.

Любимое его.

Гудеж прервался. Шепчутся. Ноты перебирают.

– Бабиронно кава-гава... Ариуия, ариуия...

Замолчали.

– Не могут они... – Глаз Накаи блестел, слеза съехала и шлепнулась на ладонь владыки.

Заглянул регент, хлюпнул носом. Вот какие смешные люди.

– На реках Вавилонских, тамо седоном и плакахом... – тихонько затянул владыка.

В соседней комнате подхватили – на японском.

Новый порыв ветра пропахал дворик, ива всею кроной плеснула по стене, по ставням и отпрянула.

“И разбьет младенцы Твоя о камень...”

Колокол на соборе ударил один – траурный – раз. Звук расплылся над Токио, разгоняемый ветром. Вскоре – в знак сочувствия – звякнул колокол англиканской церкви. Остальные церкви молчали как в рот воды набрав.

Ротапринты с шумом выплескивали свежие номера.

“Православная церковь Японии переживает последние дни”. “Смерть великого проповедника”. “Умер главный русский шпион!”

В субботу и в понедельник на Суругуде отслужили панихиды.

Ночью отсиживали целыми семьями у почившего. Расположившись на татами, читали Евангелие; кто плакал, кто дремал.

Отец Кирилл стоял во дворе; японец неподалеку, покуривая.

Ноги ослабли, сел на ступеньку. Машинально поднес два пальца к губам.

Японец, прочитав его жест, распахнул портсигар.

Ташкент, 22 февраля 1912 года

Авраам Гдалия бен Эфроим Тартаковер, в миру – Иван Кондратьич, любил крепкий кофе и одиночество.

В настоящий момент он наслаждается и тем, и другим, прикрыв веки и слегка выставив нижнюю губу в кофейной пыли. Ему лет пятьдесят, а может, больше; разговаривает шепчущим тенорком.

Перед ним кофейник, вазочка с булками и чашка, выпитая до гущи.

Неподалеку еще одна чашка, слегка пригубленная. Отец Кирилл отлучился, оставив Ивана Кондратьича в сумерках и полном блаженстве. Сам Иван Кондратьич

проживал в условиях стесненных и покоя в недрах семейства не имел.

Левее – фолиант, на который его правая ладонь совершала набег, перелистывая, придвигая и поглаживая. Гинцеровская еврейская азбука, которая и объясняла присутствие талмудиста за батюшкиным столом, среди церковных запахов, перешибавших кофейные. Полгода назад отец Кирилл загорелся желанием изучить язык Моисея и пророков и зазвал Кондратьича давать уроки. Тот выпятил нижнюю губу и согласился. Приходил раз в неделю с азбукой и тростью для защиты от злых ташкентских собак.

Азбука была почтенной, страницы вываливались, от корешка пахло плесенью и имбирем. Иван Кондратьич книгу не ремонтировал, выпадавшие страницы просто вставлял на место. На первой странице красовалась буква “алеф”.

Вошел отец Кирилл, распространяя запах сырости и земли, – в теплицах был:

– Простите, Иван Кондратьич, не умею еще быстро двигаться.

– Я пр-рекрасно провел время. – “Эр” отштамповывал с итальянским шиком: в молодости, говорят, арии пел.

Урок продолжился.

Отец Кирилл волновался и желал взяться сразу за первый стих Книги Бытия.

– Быка за рога! – баритонил, сопел и постукивал по скатерти пальцами.

Кондратьич раскрыл конец гинцеровской азбуки, где примеры:

– Берешит... Что значит: “В начале”.

– ...сотворил Бог небо и землю. – Отец Кирилл выдал дробь по скатерти.

– Отец Кирилл... Вы куда-то особенно торопитесь, а? Мы ж не “Туркестанский курьер” с вами читаем...

Отец Кирилл согласился: не “Курьер”.

– Буквы, – говорил Иван Кондратьич, поглаживая азбуку, – буквы – это, я вам скажу...

– Бе-решит... – читал отец Кирилл, щуря серые с зеленой крапиной глаза.

– Так и называется первая книга, вы называете ее Книгой Бытия, и на здоровье.

А мы ее называем по первому слову – “берешит”.

Отец Кирилл разглядывал букву щ, прабабушку русской “ша”. Именно эту еврейскую вилочку перенесли некогда Кирилл и Мефодий в славянскую азбуку. Не было в звонком и чистом греческом алфавите соответствия славянскому шипу, всем этим лесным шорохам, шепотам, шелестам. Ибо все это, шипящее, роднее не торжественному эн архэ[10], а копошливому еврейскому берешит: брезжит, брешет, шебуршит в первозданном хаосе теплое слово, еще не разгоревшись, шарит по безвидной воде, по сумеркам... И – быть решит: бе-решит!

Кондратьич выталкивается пружиной мысли со стула и гуляет, создавая сквозняк:

– Берешит – имя второй из сефирот. Сфира мудрости – Хохмб, которая обретается на юге. Сказано в Талмуде: “Кто хочет стать мудрым, обратится на юг, а кто разбогатеть, – на север”. Оттого мудрость человечества распространяется с юга. И сказал еще ребе Шимон: “Юг горячий и сухой, вода же холодная и влажная”. Холодная! И влажная. Мудрость – первый шаг от абсолюта, от Эйн-соф, к бытию, вот к этому, холодному и влажному, даже в этом жарком городе. Каждая буква этого слова – часть сотворенного мира, бэ – Сатурна, рэ – Меркурия... Понимаете? А вы все это прочитали, будто вам в спину свистел кишиневский городской!

Пьют кофе.

Кондратьич вытирает лоб и переходит на житейские темы. В городе собираются пустить трамвай. Настоящий, как у людей, с рельсами. Обещают увеличить число полиции. Как всегда, новые меры против евреев.

Отец Кирилл решается спросить:

– Иван Кондратьич, а почему вы взяли такое русское имя?

– Мое настоящее имя – это вроде талеса, которым покрываю голову при молитве. А русское имя – гражданское платье, в котором иду улаживать свои дела в полицию или ругаюсь у себя в конторе. А?

– Но почему “Кондратьевич”, а не “Ефремович”? Вы же – бен Эфроим.

– Моего покойного отца звали Эфроим.

Допивает кофе.

– Эфроим, а не Ефрем. Ощущаете разницу?

Кондратьич – экземплярный. Если генерал-губернатор Самсонов все же очистит Ташкент от евреев (“обещали-с!”), Кондратьича следует поместить в местный краевой музей как экспонат. К нему будут водить гимназистов, классная дама будет тыкать в сторону его морщин и бровей указкой. А над головой его повесят букву ш как шутовскую корону.

Кондратьич встает и благодарит за кофе и беседу:

– Пора в контору.

Отец Кирилл выходит проводить:

– Иван Кондратьевич, дело, конечно, не мое... Только вы же сами говорили, что торговые дела вам в убыток. Вот и князь предлагал вам все бросить.

– Их императорское высочество – умнейший человек... – кивает Кондратьич, проникая в рукав пальто. Застегивается. – Но, понимаете, мой отец, Эфроим, и дед, и, может, даже прадед, они все были учеными людьми. И все торговали. От одной чистой науки люди холодеют, слишком высоко она поднимает. А торговля – она, как свечка, согревает. Да?

– Берешит, – повторяет отец Кирилл.

– Сфира творения обозначается точкой. Нэкуда. Точка.

– Никуда!

– Нэкуда. А?

На солнце Кондратьич кажется крупнее ростом, глаза зеленые.

– Голуби...

– Любите голубей?

Кондратьич сидит на корточках. Подражает звукам голубей.

– В детстве у нас... – Не договорил: в калитку стучали.

Приоткрылась – Казадулов.

Блеснуло пенсне.

– А я к вам!

Во дворе похолодало.

Кондратьич скис и врылся в пальто.

Следователь Казадулов напоминает картины Арчимбольдо: лицо как бы составлено из разных предметов и овощей. Приветствует отца Кирилла:

– Поправляетесь? – Заметил Кондратьича, линзы на него навел. – Старые знакомые! Почтеннейший ребе! Никак не ожидал вас увидеть в этом... в таком месте!

Отец Кирилл, уж не собрался ли ребе обратиться в православную веру?

Отец Кирилл улыбнулся:

– Вы, господин следовательно, кажется, сами не отличаетесь особой набожностью...

– Нет, почему? Я большой поклонник Иисуса Христа. А в церковь не хожу из-за ладана. Астма, кашель. Не перебарщивали бы ладана – ей-богу, ходил бы.

– У бесов тоже от него астма...

– Отец Кирилл, отец Кирилл! Какие бесы в наше просвещенное время?

– Какие?.. Известно какие. Бесы просвещения.

Кондратьич, наблюдавший за разговором из своего пальто, ухмыльнулся.

– Улыбаетесь? – Казадунов обернулся к Кондратьичу. – А не желает ли вот этот господин обратить вас в свою веру, батюшка? О бесах и демонах рассуждать – хлебом не корми. И которые в огне летают, и эти... Целому нашему отделению голову заморочил.

Кондратьич разводит руками:

– Они конфисковали мои книги, спросили, что в них написано. Я объяснил.

– А имена демонов кто им на листочке выписал, а? Они православному полицейскому для какой надобности? У Мухина, у Пьян-базара стоит, листочек отняли. Желал демонами вавилонскими повелевать. Огонь с небес сводить и взятки разные получать... Ну да это наши ребята и без ваших демонов умеют, своих хватает.

– Так я пойду, а?.. – Кондратьич кутается в пальто.

– Идите. Идите, пока на свободе. Шутка.

– Я провожу, – говорит отец Кирилл. – А вы пока заходите...

– Чаем напоите?

– Непременно. Алибек!

Казадупов подмигнул Кондратьичу и исчез во внутренних домах.

Отец Кирилл сопровождал Кондратьича до калитки.

Глаза у ребе зеленые.

– Зря вы его впустили одного. Он сейчас осматривает вашу комнату, а? Он такой человек... Каждый раз холодею.

Пальто Кондратьича почернело немного в переулке и скрылось за углом.

– Если бы не заступничество нашего Великого Либерала, – возник голос Казадупова за спиной, – давно бы его выселили ко всем его еврейским чертям.

– Известный ученый. Научные статьи...

– Уголовные статьи, а не научные! Какой ученый! Алхимик... Сделает гешефт у себя в конторе и бегом в подвал, философский камень искать. Развел там средневековые, колбы какие-то, порошки. В двадцатом-то веке! Не удивлюсь, если все это его добро взлетит однажды.

– Вы хотели со мной поговорить? Я распорядился чай поставить...

– А мы и так разговариваем. Правда, что вам из Японии чаи шлют? Вы там, слышал, бывали?

– Да, если только это имеет какое-то отношение к моему делу.

– Отец Кирилл, когда человека пытаются убить, к делу имеет отношение всё. – Глянул поверх пенсне. – Решительно всё. И ваш ушедший ересиарх в том числе.

Идут по саду. Сад невелик, но продуман до мелочей.

– Позвольте мне быть откровенным, – откашливается Казадупов. – Эти люди

вряд ли быстро от вас отстанут. Я имею в виду нашего друга Курпу и всю его честную компанию. Сколько раз вы встречались с ним, только начистоту?

– Два. – Отец Кирилл поправляет ветку криптомерии. – Не считая того, последнего.

– Ну и как он вам показался?

– Образован. Свободно изъясняется по-русски.

– Разумеется. Торговал в Оренбурге. Бумага, шелк. Потом прогорел, эпидемия у шелкопряда, скрывался от кредиторов. Снова начал... Впрочем, это вам, кажется, хорошо известно.

– О своей жизни он мне не рассказывал.

– А вы и не интересовались.

– Я его не исповедовал...

Казадупов улыбнулся. Улыбка умная и неприятная.

– Насчет таинств исповеди потом поговорим...

Пауза.

– Любопытный субъект этот Курпа. – Следователь берет отца Кирилла под локоть. – Выдает себя за сына известного дервиша Рызки и за ученика “подземного шейха”, не слыхали о таком?.. Какое чудо!

Куст зимней камелии.

– А где ваш знаменитый японский уголок? А это что за великан?

– Обыкновенная шелковица, – провел по стволу отец Кирилл. – Или “тут”, как зовут его сарты. Тутовник. Только ствол необычной формы и дерево, видите, какое старое.

– Обыкновенная шелковица!

– Говорят, росла здесь еще до того, как дом построили. А дому уже лет тридцать.

– А этот ствол, он, кажется, полый внутри?

– Да, вон дупло.

– Позвольте заглянуть?

Когда тутовник зазеленеет нужно ждать десять дней или одиннадцать дней или пятнадцать потом коконы достают рассматривают трогают губами водят по щеке заворачивают в платок носят на голове на груди под мышкой на выбритом лобке там теплее. Тогда из них вылупляются маленькие черви их кладут в посуду кормят листьями тутовника и через десять дней червь впадает в первый сон и три дня отказывается от пищи. Через каждые десять дней это повторяется снова еще три раза так червь превращается в бабочку и строит себе дом белый круглый дом дом-купол легкий и прочный. В этом доме его убивают. Выносят на обжигающий солнечный свет. Дом становится гробницей червя белой и круглой. Но и гробницу разрушают вытягивают из нее длинные нити.

Так возникает шелк.

Его матерью была Горбунья отцом висящий на веревке дервиш Рызки. Первыми игрушками коконы шелкопряда и последними игрушками тоже коконы шелкопряда. Поднимается ветер отец медленно раскачивается на своей веревке. Как шелковичный червь во время первого сна отец ничего не ел и его считали мертвым

но иногда он облегчался и благодаря этому его считали живым. То что он это делал без еды было удивительным но Горбунья чувствовала что в левой груди у нее мало молока значит молоко из правой груди пьет сын а из левой отец когда я сплю тогда надо чтобы его перевесили в другое место. Она просыпалась чтобы поймать того кто ворует ее молоко но муж вор висел на своем месте. Иногда он казался ей добрым. Мой муж ничем не хуже других мужей говорила она себе. Она подносила к его ноге плачущего Курпу и ребенок замолкал. Сын чувствует запах отца и становится послушным думала она я не стану просить чтобы его перевесили. Для Курпы принесли старую колыбель-бешик в паутине Горбунья очистила ее слюной и тряпкой достала со дна колыбели две деревянные трубочки одна трубочка вставлялась мальчикам другая девочкам через них дети облегчались. Она положила Курпу в колыбель продела один конец деревянной трубочки сквозь отверстие в колыбели другой чуть расширенный попыталась надеть на стебелек Курпы. Курпа заплакал Горбунья стала трясти колыбель. Детям не нравится все новое думала она. Ночью она проснулась и потрогала левую грудь. Рядом на курпе где весной лежали коконы теперь лежали женщины Горбунья обошла их подошла к висевшему Рызки и слегка покачала его приподняла ладонью левую грудь господин господин возьмите здесь еще есть молоко я знаю оно вам нравится. Но Рызки не шевелился. Может вы заметили что у вас недавно родился сын продолжала она а до этого пришел мулла и объявил нас мужем и женой вы кажется не возражали жалко только праздника не было и подруги исцарапали мне все лицо а потом мой живот стал больше горба но в горбе была смерть а в животе жизнь но теперь мой живот снова пуст в нем освободилось место для нового Курпы. Она подняла платье. Рызки приоткрыл глаз и

снова закрыл. Так протекала их супружеская жизнь.

Однажды утром Курпа проснулся и увидел что мать висит рядом с отцом. Лицо у матери было радостное и Курпа заплакал а женщины лежавшие на месте коконов проснулись и принялись обсуждать эту новость. Червячиха тоже стала святой говорили они теперь в этой комнате двое святых это уже слишком! Прежде чем стать святой она должна была посоветоваться с нами своими подругами.

Хозяин тоже удивился поступку Горбуни но сказал что она поступила справедливо она решила помогать своему мужу вися рядом с ним. Но что же с ними делать спросили женщины они похожи на мертвецов их ребенок будет много есть а нас вместо работы вид святых будет тянуть к слезам и раскаянию! Хозяин вырвал из носа волосок посмотрел на него и убрал в особый мешочек. Стар я стал раньше волосы в моем носу были черны как смоль а теперь седы как соль. Вот что я решил мы подождем. Если будет плохой приплод от тутового червя то мы объявим, что в нашем доме находятся святые люди и тогда все к нам будут приходить и приносить деньги а если от червя будет хорошее потомство то мы объявим что в нашем доме прячутся двое одержимых и тогда их заберут и казнят и вы перестанете испытывать неудобства а на месте где они сейчас висят мы повесим какой-нибудь ковер. Ковер ковер! обрадовались женщины.

Курпа тоже остался в комнате Горбуня больше не кормила его вместо груди женщины давали ему тряпочку смазанную бараньим жиром он выплевывал ее и плакал женщины снова заталкивали ее ему в рот. Если хочешь жить соси! Сосание жизнь а выплевывание смерть. Хочешь быть большим и сильным как твой отец – соси! И гладили его и ласкали. А мать не могла ничего сказать потому что горло ее

было стянуто и сквозь него не просачивались слова и песни и язык ее от молчания стал мягким как дыня. С каждым месяцем она делалась меньше иногда ветер раскачивал ее тогда в ее волосах звенели монетки которые ей от доброты и от скуки вплетали другие женщины ее подруги. Иногда они снимали эти монеты с Горбуны и давали их Курпе чтобы он засунул их себе в рот и сосал ведь во рту ребенка монетам возвращается их блеск но Курпа не обращал на монеты внимания и женщины удивлялись.

И был большой приплод от шелкопряда и женщины напомнили Хозяину о ковре и Хозяин достал из сундука чапан и ушел. Утром они не обнаружили висящего дервиша и его жену веревки были оборваны монеты рассыпаны по полу никто ничего не знал. Возможно Рызки и Червячиха ушли еще до утренней молитвы едва касаясь ногами весенней пыли. Возможно они прошли сквозь запертые городские ворота и выйдя из города они возможно остановились и не говоря ни слова обернулись и посмотрели на желтый купол. Говорили святых супругов видели в Коканде где они продавали лепешки. А Курпу они оставили. Возможно они решили так будет лучше.

Ташкент, 12 марта 1912 года

Мартын Казадупов шел прогулочным шагом в сторону Урды. За спиной осталась разогретая площадь с собором; с собора сдувало птиц; покричав над губернаторским домом, они снова оседали на кресты. За тополями поблескивал Анхор; по нему, как всегда, плыла какая-то дрянь. Казадупов прошагал по доскам Анхорского моста. Внизу быстро двигалась вода, ничего не отражая.

Ташкент стоял на этих каналах, пил их воду, впрягал их в свои мельницы, чигири; ронял в них разные предметы, тряпки, калоши; перекидывал через них мостики с пробелами в настилке, заставлявшими над собою задумываться; плескал в них горластую ребяtnю; расщеплял на еще меньшие каналы, арыки, полудохлые ручьи, где вода уже не летела, а ползла мокрою ящерицей по садам и мусорным закоулкам.

Анхор был своего рода Рубиконом. За плотной, чуть круглой спиной следователя остался русский Ташкент с его парками, электричеством, выбритыми офицерами и обществами взаимного кредита. Впереди, купаясь в весенней пыли, простирался азиатский Ташкент. Здесь было шумно, базарно, не очень чисто и как-то легко. В воздухе толпились и вступали друг с другом в сложные химические отношения десятки, сотни запахов. Запахи кунжутного масла, глины, ватного одеяла, кислого молока, перца, навоза, дыма, мясных рядов с зелеными мухами, снова масла и лежалой муки, базилика, смазанных до солнечного блеска сапог, травы-исрык для отгона злых духов на безопасное расстояние... И множество других запахов, щекотавших нос следователя. Эти запахи звучали то вкрадчивым шепотком, то обрушивались, как крик азанчи, то пели по одному, то сливались в густой муравьиный хор.

Русский Ташкент строился весь “для глаза”. В нем было много правильного, геометричного и покрашенного в приятный цвет. Много зелени, много одетых в правильную одежду и совершавших разумные телодвижения людей. Много того, что было рассчитано на внешнего зрителя, ходившего по улицам и подглядывающего в окна.

Азиатский Ташкент был весь “для запаха”. Внешне в нем ничего не было, одна толчея и безалаберщина. Костюмы бестолковых расцветок, лавки и глухие стены без окон, за которыми прятала себя здешняя жизнь. Словно весь город, а не только его женская часть, пытался влезть под чадру, а еще лучше – под шапку-невидимку, обязательный головной убор восточной сказки.

Только запахи. Запахи и запахи. И еще запахи. Они выплескивались из дворов, журчали из мечетей, шли волною со стороны рынка, сливались в неосязаемые каналы. Текли по городу, орошая ноздри, вроде вместительных ноздрей Казадупова, энергично прочищенных за умыванием и промытых водой.

В русском Ташкенте тоже пахло. Но запахи там были сонные, родные. От лошадей пахло лошадыми, от кухонь – сажей и вчерашними щами, от женщин – потом, от которого летом не спасали ни духи “Клеопатра”, ни прозрачное фиалковое мыло, и от всего вместе пахло зевком губернского городка с прикрытием рта ладонью и зажмуром глаз.

Казадупов еще раз втянул в себя воздух азиатского Ташкента, словно нюхал огромную, безразмерную табакерку. Полез за папироской, но остановил руку, решил не перебивать обонятельные впечатления.

Он сделал себе имя на раскрытии двух детских дел. Было это еще в бытность его в Новгороде. О делах печаталось в газетах, не слишком громко, чтобы не пугать обывателя. Новгород и так целый месяц был сжат в комок, детей томили по домам, гимназии вымерли. Думали на евреев, на цыган и на виолончелиста Литте, подражавшего в манерах и прическе Оскару Уайльдву.

Все люди устроены одинаково. Все боятся, что жену изнасилуют, а ребенка украдут. Отсюда – две научно доказанные ненависти. Азиатов ненавидят по первому пункту, за жен, потенциально. Евреев, напротив, по этому пункту не подозревают, считая слишком робкими для такого дела. На их долю выпадают дети.

Каждый народ нужно за что-то ненавидеть. Исчезнет ненависть – исчезнет культура, останется одна мягкая пыль.

Казадупов пнул землю, полетело серое облачко.

Воровать детей легко, они доверчивые. Иногда мешают родители, люди на улице, полиция, но специалист-детишник всегда знает, как взять ребенка. Хотя работа детишника одинокая, у них есть что-то вроде гильдии и кодекса чести. Женщины в детишничество не допускаются: баба может разжалобиться и упустить товар. Как становится слышно, что где-то завелась детишница, с ней быстро сносятся и коротко объясняют, что не туда влезла; обычно баба дает задний ход и до крови не доходит. Другая заповедь детишника – не причинять ребенку вреда, не измываться, сдавать его без повреждений заказчику. И еще – не лезть к заказчику с расспросами, что он с товаром намерен делать. И заказчика обидишь, и профессиональную честь уронишь.

Он раскрыл оба новгородских дела.

Оказалось, нет, не цыгане, хотя один раз ездил нагримированный в их табор. И не евреи, хотя уже пахло погромом. Похитителем оказался Матвей Клинов. Широкий, с белой улыбкой. “Новгородский крысолов”, как писали газеты. Примагничивал к себе детей, чувствуя их психологию.

Клинова судили, а Казадупову пришлось из Новгорода уехать. Слишком высокие

заказчики открылись у Клинова.

Казадупов дышал левой, свободной ноздрей в стекло вагона, увозившего его из Новгорода; правая была заложена. На платформе заметил двух-трех детей; толстый мальчик в матросском костюмчике. Пред отъездом Казадупова тайно навестила депутация: ресторатор Копельман, доктор-дантист Зиф. “Скромная лепта... благодаря вашим усилиям и профессионализму...” Казадупов холодно поблагодарил, сверток принял. Пока не подыщется новое место, ваши сребреники, господа, придутся кстати. Окно покрылось туманом. Мальчик в матросском костюмчике исчез.

Он не мог смотреть на детей. Вскоре это прошло.

В Москве он перепробовал несколько занятий. Недолго прослужил в тайной полиции. Не привлекло.

Раз в неделю ходил в Румянцевскую библиотеку и читал все, что попадалось по детской психологии. Делал выписки.

Следующее свое детское дело раскрыл там же, в Москве. Вася Арапков, десять лет, без особых примет, возвращен в руки счастливых родителей.

Казадупову же открылась бездна. Как всякая российская бездна, она была заткана малахитовой корочкой. Изгибалась на слабом течении ряска, пахло утопленником.

Он числился в одной комиссии. Листал статистику. Открывались любопытные вещи. Ежегодно в одной Москве пропадало не менее полусотни детей. Бывали годы и поурожайнее. Действительная цифра была выше – статистика, как ей и положено, лукавила. Да и не все сообщали о пропаже. Многие надеялись, что пропащий явится

обратно сам собой; многие, особенно в бедных семьях, и не сильно огорчались исчезновению лишнего рта. Ну, свечку копеечную поставят, повоюют и дальше живут.

А некоторые сами убивали детишек. Травили или топили, как котят.

Казадупов жил на Мясницкой, у тетки, ночью пил сам с собою чай. Теткины свечи были слабы и воняли рыбой. Читать было тускло, но думалось хорошо, сердито.

Он любил холодный чай с куском сахара.

Рядом с повседневным миром прорисовывался другой мир. Мир исчезнувших детей.

Дело было давнее, за 1849 год; долго обдувал его от пыли.

Об исчезновении Льва Триярского, пяти лет.

Судя по циркулярному листу, дело много плавало по разным ведомствам, пока не пришвартовалось здесь, в мертвых архивных водах.

Особенно заинтересовало это дело тем, что Триярский Лев Петрович, 1843 года рождения, дворянин, был известный московский архитектор. Банки, общества взаимного кредита, доходные дома в русском духе. Само здание архива, в котором обнаружилось дело, было тоже творением Триярского. Веселенькое, с кирпичным узором и могучей девою в кокошнике, подпиравшей балкон. Вестибюль напоминал расписной терем, светильники имели вид балалаек. Впрочем, архив водворился здесь недавно, здание строилось как филантропическая народная читальня; оплачивал строительство купец с немецкой фамилией – никто так не любит в Москве русский стиль, как немецкие купцы. Но меценат погорел на махинациях с

пенькой, и здание ушло под архив.

Казадупов поднес ко рту палец с плоским, как лопаточка, ногтем и послунывил.

В ночь на Рождество 1849 года Триярский, пяти лет, был похищен собственным отцом, Маринелли (так!) Алексеем Карловичем, дворянином, выгнанным со службы за вино и карты. Похищение было произведено из дома родителей жены, Варвары Петровны Маринелли, у которых эта Варвара Петровна находилась без чувств по причине болезни. Что была за болезнь, документ молчал. Проникнув в дом, Маринелли завладел ребенком и беспрепятственно вынес его на улицу, где ждал экипаж.

(Рождественский вечер, снег, купол Казанского; возок, уносящийся по пушистым улицам. Мужчина, пахнувший вином, и мальчик, испуганный, выкраденный из шуршащих рождественской дребеденью комнат. “Aimes-tu ton Papa?” – Мужчина склонился над ним щетиною щеки. “Oui, je t’aime... Mais оц allons-nous?”[11]ИтеньЛесногоЦаря – завозком...)

Казадупов снова поднес к губам палец. Дело было глупым, семейным, но по тому, как похолодели икры, Казадупов понял, что сейчас начнется самый спектакль, Шекспир и кровь на мраморе...

Показания отца-похитителя были запутаны. Повозив ребенка по ночной столице, он оказался где-то за Обводным, где – не помнит. Взошли в один дом, где были приняты, кем – затрудняется сказать и, каков из себя был этот дом, тоже не помнит – по причине выпитых напитков. Помнит только, что в том доме им была оказана ласка, как давним знакомым и дорогим гостям, имелась музыка, а по комнатам туда и сюда ходили люди. Что в том доме особо обрадовались “сыну

Левушке”, а самого отца опоили. Что утром очнулся, дом оказался пуст и заброшен, а может, это был уже другой дом. Далее неслась уже полная ерунда о звериных следах на снегу, кабаке на Сенном и камаринской на французский манер, с раздеванием.

Казадупов даже закашлял от удовольствия. Итак, дело о двойном похищении.

Первое было неинтересным. Десятки отцов уворовывали своих сыновей. От чего, от родительской ли любви или от обычного желания освободившегося мужчины напакостить своей “бывшей”, – это пусть изучают психологи. Казадупов был не психолог, душа как предмет его не интересовала; когда при нем произносили “душа”, тут же прибавлял какую-нибудь комичную рифму вроде “лапша”, “парша” или “мадам Дюбуша”, из оперетки. Он не был Базаров или нигилист, он ничего не имел против Иисуса Христа и даже признавал в нем оригинального мыслителя той эпохи. Но что касается загадочной, неосязаемой “лапши”, тут уж... Пенсне его сияло от сарказма.

Ах, мадам Дюбуша,
Это что за антраша?!
Заявляю антре-ну:
От любви я весь тону!
И ножками, ножками!

Первое похищение он мысленно дарил господам психологам.

Второе, напротив, заинтересовало до острого желания раскурить папироску. В кабинете курение не приветствовалось; вернувшись из коридора, замер. Пока дымил, дело кто-то успел пролистать. Кроме него, сидело еще несколько

чиновников. Один подозрительно спал.

Казадупов вытер пот и снова отдался чтению.

Второе похищение было, безусловно, делом рук питерских детишников, в чье логово беспечный отец в ту ночь случайно заехал. Только случайно ли, позвольте спросить? Тут мы имеем две гипотезы. Алексей Карлович мог быть в сговоре с похитителями. Вторая гипотеза – в сговоре с ними мог быть возница, который и увез туда пьяненького Алексея Карловича.

Оставалось еще одно. Алексей Карлович мог быть, скажем так, привлечен. Примагничен, говоря научно. Как примагничивал к себе Клинов. Впрочем (Казадупов откинулся на спинку), магнетизм, гипноз, передвигание предметов при помощи взгляда – все это, господа, хотя и доказано экспериментом, но больше отношения имеет к “лапше” и психологии... Казадупов перелистнул дальше.

Отец был взят под арест, несколько домов на подозрении осмотрены, следов не обнаружено. На этом обычно подобные дела и закрывались.

И вот тут дело всплывает в Императорской канцелярии.

Впрочем, известно, что государь Николай Павлович любил совать свой прямой римский нос во всякие мелочи. Деятельная была натура, кипучая, хотя кипение это отчего-то наводило на всех сон, вроде того, который сейчас объял казадуповского соседа слева, – кажется, подлец и вправду спит. Итак, шла справка, что дело представлено через Третье отделение государю, а затем – монаршая резолюция: Алексея Карловича доставить на личную аудиенцию.

Казадупов присвистнул. Один из чиновников повернулся на свист и изобразил на лице общественное порицание. Остальные, в их числе спавший, не шелохнулись.

Итак, 25 февраля 1850 года Алексей Карлович был доставлен во дворец. Произошла краткая беседа без посторонних. Следующим в деле шел высочайший приказ. Алексея Маринелли признать виновным, лишить всех чинов и званий, а также признать недействительным его брак с Варварой Петровной Триярской. Отрока Льва Маринелли считать рожденным от других родителей и без вести пропавшим. Самого Маринелли А.К. отослать в Оренбург под именем Алексея Карлова для определения на службу. Ниже приписка: “Учитывая чистосердечное раскаяние, а также непротивление решению касательно брака, дворянское достоинство сохранить и зачислить в какую-нибудь комиссию с правом совещательного голоса. Приказ не разглашать”.

“Это что? Это что за формула?” – думал Казадупов ночью в теткинском доме под глоток холодного чая. Многие действия государя Николая Павловича отличались фантастичностью, но чтоб вот эдак... Казадупов брал кусочек сахара и чувствовал какую-то электрическую усталость.

Первый раз он ощутил ее еще в архиве, когда дочитал дело до финала. Листок ин-кварти сообщал о чудесном обнаружении в ночь пред Рождеством 1852 года пожилою четой Триярских своего исчезнувшего сына (так!) Льва. Отрок найден спящим возле елки, на той самой кушетке, с которой три года назад был выкраден злоумышленниками (так!). Всеобщая радость, объятия, носовые платки.

Казадупов сжал виски. Слизнув остатки сахара, положил сделать две вещи.

Первое. Встретиться с архитектором Триярским.

Второе. Разузнать о судьбе несчастного Карлова-Маринелли.

Первый замысел не удался. Архитектор долго уклонялся, оправдываясь

занятостью на строительстве какой-то церкви. А потом – в ясный майский день – сорвался со строительных лесов. Казадупов посетил место происшествия. Возводимая церковь имела странный вид. Казадупов обошел строительство. На нем никого не было; откуда-то с лесов на фуражку насыпало кирпичной пыли. Столкнулся со сторожем. Спросил его о мертвом архитекторе. “Темная, научная душа”, – шептал сторож и крестился. “Лапша”, – пробормотал Казадупов. “А?” “Мадам Дюбуша!..” – Казадупов раздраженно зашагал прочь.

Но вскоре это дело померкло перед другим, которое ему поручили. Кто поручил? Ну, право, так прямо и скажи! Подсказка: “На золотом крыльце сидели: царь, царевич...” Царь. Царевич. Неужели неясно?

Ташкент, 13 марта 1912 года

“От председателя Отдела воздушного флота Великого Князя Александра Михайловича.

Воздушный флот России должен быть сильнее воздушных флотов наших соседей. Это следует помнить всем, кому дорога военная мощь нашей родины.

Франция, Италия и наши соседи, придя к заключению, что самолеты необходимы армии как разведчики и как орудие поражения неприятеля сверху, не жалеют государственных средств на создание воздушного флота. Одновременно в этих странах собираются для этой цели крупные суммы путем частных пожертвований: в Германии для сбора пожертвований образован воздухоплавательный комитет под председательством брата Императора”.

Великий князь Николай Константинович сидел в плетеном кресле. Рядом допивали и дожевывали гости – стол с закуской белел неподалеку. Вокруг простиралось поле, покрытое травой.

– Не пора ли? – осведомился Кошкин-Его, отряхивая пиджачок.

Великий князь взял с колен бинокль и посмотрел сквозь него на физиономию Его. Физиономия перестала жевать.

– Подождем.

Официант предложил поднос с напитками. Великий князь взял себе “Apollinaris”. Его хотел вина, но из почтения тоже схватил “Apollinaris”. Пил, не понимая, за что эту воду так превозносят.

Посреди поля, в приличном расстоянии, стояло огромное металлическое насекомое. Вокруг него расхаживал механик, делая вид, что что-то проверяет. Летчик Анатолий в продуманно непринужденной позе курил на траве.

Вдали, у края поля, стояло несколько сартов, из местных крестьян. Их пытались прогнать, они убегали и возвращались в удвоенном числе. Князь махнул рукой: пусть смотрят. Он любил производить эффект на туземцев.

Конечно, разумнее было устроить полет после Пасхи. Но князь как всегда торопился. Да и не стоило афишироваться: неизвестно, как в Мраморном поглядят на его новое hobby. Дорогой племянник, Alexandre, точно будет не рад: воздушный флот считает своей личной гордостью, “князь воздушный”...

Повернулся к Его. Тот выливал остатки “Apollinaris” на траву, чтобы перейти к вину.

– Как вы думаете, Кошкин, а почему Сатана в Библии назван “князь

воздушный”?

Его сунул стакан в карман пиджака.

– Правда? В Библии? Надо освежить в памяти... Я думал, он больше связан с огнем. Пекло и все эти прелести... Лучше спросить отца Кирилла.

– Вы передавали ему приглашение?

– Приглашение? Отцу Кириллу? Разумеется. Болен. Извинялся. Просил передать, не сможет... Превосходное вино. Я, честно сказать, становлюсь патриотом местных вин. Первушин превосходит сам себя.

Огладил пиджак и упорхал к столу, пообщаться и закусить.

Князь вернулся к своим мыслям.

Скрывать полет тоже не следовало: все равно разнесут, начнутся комментарии. Поэтому все было устроено скромно, но с достоинством. От генерал-губернатора был его заместитель, Скарабеев, в кителе и с пирожком на вилке. От прессы взят Егор с условием расписать во все газеты по-деловому, без слюней. Закуски по случаю поста умеренные, вместо оркестра – трио духовых, чтобы не совсем уж без музыки. Ну и, разумеется, сливки общества – подкисшие малость, а где другие в Ташкенте взять? Жаль, отца Кирилла нет, поговорили бы о живописи. Попросил бы его окропить аэроплан, в Петербурге так делают.

Его терся возле стола: прицеливался к тартинкам.

Подошла, играя длинной гвоздикой, мадам Левергер:

– И о чем вы там секретничали с князем?

– М-м... – дожевывал Егор. – О чем? Не поверите. Князь спрашивал меня о Библии.

– Как любопытно... И что же вы ему ответили?

– Подискутировали, знаете. Хотя это больше по части отца Кирилла.

При упоминании отца Кирилла Матильда Петровна перестала вертеть гвоздикой и прижала ее к груди:

– Да, у него были такие глубокие проповеди... Мы с Платоном Карловичем навещали его после того случая. Очень бледен, очень. Я хотела узнать его мнение относительно... – вздохнула, – ...близкого конца света.

– Конца света? Скоро? Столько новостей; кажется, опять пропустил что-то любопытное. А на какое число, уже решено?

– Вы – атеист. О таких вещах с вами говорить нельзя. – Легонько шлепнула гвоздикой по оттопыренной щеке Его, за которой размокала непрожеванная тартинка.

– Совершенно не атеист. В доказательство чего подставляю вам другую щеку.

Матильда Петровна удостоила его улыбкой.

По документам она называлась Марфой Петровной, но, сколько ее помнили – а помнили ее уже очень давно, – она всегда была Матильдой, всегда в одном и том же возрасте и с неизменной собачкой. Как выразился один раз Его, в Матильде Петровне есть нечто от античной статуи, а именно – прекрасная древность; после чего Его был на целый год отлучен от салона Левергеров и кусал локти.

Его проглотил наконец тартинку:

– Так что там насчет конца света?

Князь допил “Apollinaris” и сделал знак рукой. Духовое трио заиграло “Туркестанский марш” Чайковского-младшего. Публика побросала свои стаканы,

пирожки и выстроилась с биноклями.

В черном глазке бинокля нарисовался Анатолий в кабине, машущий рукою. Цвет перчатки тонко гармонировал с окраской машины.

Заурчал мотор.

Ватугин крутил ручку аппарата – для хроники.

– Пасха!.. – сообщала Матильда Петровна, перекрикивая аэроплан и музыку. – Пасха в этом году! Совпадает! С Благовещением! Такое! Почти раз в сто лет! От этого – конец света!

Леввергерше поднесли ее собачку.

– Мими! Ну что ты! Мими! Твоя мамочка с тобой! – Повернулась к Кошкину. – Хотела не брать ее...

Но Кошкин уже стоял возле князя и что-то записывал в блокнот.

– Репортеришка! – Матильда поцеловала Мими и стала смотреть, как железная этажерка поползла по полю.

Из нее еще раз помахал Анатолий. Как показалось Матильде Петровне – лично ей.

Машина уже неслась. Вот-вот взмоет ввысь.

Вдруг с земли вскочила фигура в чапане и бросилась наперерез аэроплану.

Кто-то закричал. Музыка оборвалась.

Тот, в чапане, висел на колесах. Машину бросило в сторону, она слегка оторвалась от земли, но тут же снова шлепнулась и, припадая набок, протаскилась по траве.

Публика бежала к аэроплану.

Из кабины спустился белый Анатоль.

Молодой сарт валялся на траве. Лицо, чапан, трава – все в крови.

– По нему еще и винт прошелся...

– Врача! Есть здесь врач?

– Ему он уже не нужен...

– Зачем он это сделал, а? Зачем? Вы не ранены, Анатоль?

– Ничего страшного, господа. Ушибы. А может, и ранен.

– Слава богу! Но вот этот... Когда он успел подползти? Надо было не подпускать! С ними нельзя либеральничать.

– Но для чего, скажите, для чего это сделал? Для чего?

Публика расступилась. Задумчивой походкой подошел великий князь.

Лежащий приоткрыл глаза. Тихо, по-русски произнес:

– Привет от Курпы.

Услышало это только несколько человек.

Ватутин и Его переглянулись.

Прибыла полиция. Публика расходилась.

Механик колдовал возле самолета, Анатоль лежал на траве в позе распятого и глядел в небо. Мадам Левергер рвала полевые цветы; Платон Карлович гладил Мими и ждал.

– Так что давайте уже после Пасхи, – прощался Скарабеев с князем. – Вот и его высокопревосходительство будет.

Великий князь кивнул.

– Кремень! – говорил Его, показывая взглядом на князя. – Чем сильнее неудача, тем кажется счастливее.

Мадам Левергер увенчала Анатоля венком из полевых цветов, обняла собачку и уехала.

Великий князь разговаривал с Бурбонским.

– Вы надеетесь, князь, что их можно будет цивилизовать? – говорил Бурбонский.

– У них уже была своя цивилизация. И древнее нашей с вами. Просто она по-другому устроена.

– Но тогда можно сказать, что есть цивилизация обезьян. Или цивилизация мышей. Или каких-нибудь бактерий. И что она тоже древнее нашей, человеческой.

– Скажите, Бурбонский, вы, случайно, не из сынов Израилевых?

– Я не знал своего отца.

Солнце припекало. Официанты убрали стол, снимали скатерть. Самолет откатывали в гараж.

– А я своего, к сожалению, знал, – сказал князь. – Улыбнулся. – А ведь после той вашей пародии я мог вас уничтожить. Да. – Выдержал паузу. Раз. Два. Три. Четыре... – Но я ценю талант. Сколько вам лет?

– Тридцать шесть. Я знаю, я выгляжу старше.

– Хорошо... У меня есть замысел. Речь идет об одной постановке, которую я готов финансировать. Приходите ко мне завтра к трем. – Князь поднялся с кресла.

Подошла высокая девушка, его дочь.

Отдав указания, князь уехал.

Бурбонский стоял перед пустым полем. Ноги его вдруг перестали казаться кривыми. Ветер развеивал пряди.

Скомкав губы, изобразил проигрыш на кларнете:

– Пра-па-па-па-пам! – Раскачивая головой, перебирал в воздухе пальцами. Пропищав, прогудев начало “Туркестанского марша”, втянул голову в плечи. Развел руки. – Тыр-тыр-тыр-тыр... – Бежал по полю. То тарахтел, то улыбался и помахивал ручкой, изображая красавца Анатоля.

Пошел на взлет.

За полем стояли дехкане и глядели на него.

Добежав до того места, где трава была вымазана кровью, остановился.

Вечером номер был с успехом продемонстрирован в “Шахерезаде”. Васенька Кох, в халате, изображал ассасина, кидающегося на аэроплан. Это был его сценический дебют, мальчик очень волновался.

На выходе из “Шахерезады” Бурбонский получили в глаз от Анатоля, который хотя оказался и не ранен, но тяжело переживал. Пришлось идти на randevу к великому князю с фингалом; сверху наложил грим, получилось даже изысканно.

Город с желтым куполом, 19 марта 1851 года

Курпе не было еще трех лет когда в городе запахло страхом.

Страхом в нем пахло всегда но прежде то был другой страх который не только не мешал жизни но был приправою к ней. Обычный страх имел запах пота и мочи запах крови на рассеченной спине запах шепота и втянутой в плечи головы и все эти запахи Курпа знал. Курпа был сиротой а нюх у сирот острый ведь у не сироты в

запасе еще два нюхающих носа материнский и отцовский а у сироты только один свой и тот сопливый. Но в тот день на улице запахло другим страхом и у этого страха был запах пороха дыма и конского пота.

О Курпе в то утро забыли и он о себе ненадолго забыл и уснул. Вечером предыдущего дня все жители дома исчезли оставили Курпу сунули ему кусок лепешки сказали соси! Курпа не плакал он был сиротой и уже знал что нет на свете ничего бесполезнее слез и заснул. Если бы он был старше он бы помолился но лучшая молитва для тех кто не умеет молиться это сон. Лучшая молитва для сирот и для тех кто хочет ненадолго ощутить мягкую грудь матери и крепкое как айва плечо отца.

Проснулся от запаха страха. Рядом на полу белели коконы шелкопряда он положил себе один в рот. Он часто так делал после ухода матери его наказывали но ему нравился вкус размокшего от слюны кокона не так пусто и голодно становилось во рту. Он выполз на улицу и пошел проваливаясь в сочную грязь. Улицы были пустыми только раз Курпа увидел солдата который стоял у стены и ковырял в зубах. На всем базаре была открыта только одна лавочка в ней торговали оружием но покупателей не было никто не хотел тратить деньги все надеялись спасти себе жизнь бесплатно.

В городе шесть тысяч войска и сорок три пушки нам ничего не угрожает выкрикивали глашатаи слова Наместника. Городская стена надежно укреплена и гороскоп благоприятен! Из всего этого жители верили только в благоприятный гороскоп.

Крепостная стена была достроена только подле дворца Наместника. Каждый

новый наместник что-то перестраивал в ней и разрушал то что было построено прежними наместниками но недостроено потому что прежние наместники и не собирались достраивать и нынешний Наместник тоже начал строить заново и тоже не собираясь достраивать а только исправить то что построил его предшественник хитрый коварный и с бородавкой на носу. Нынешний Наместник отличался от него только отсутствием бородавки он гордился этим и даже заказал стихотворение воспевающее свой нос и его благородные свойства. Но сегодня когда улицы запахли страхом Наместник безжалостно теребил нос и ходил по недостроенной стене. Свита с которой он вышел осматривать укрепления рассеялась он был один и вражеское войско заполняло собой степь. И еще какой-то оборванец все карабкался по недостроенной стене. О Повелитель! кричал оборванец о Повелитель! Я сочинил! Я сочинил! Воистину это лучшее сочинение о Носе которое когда-либо писалось в подлунном мире! Послушайте! С имени Творца упоминания начинаю Носа воспевание! На лице твоём колонной яшмовой он сравним лишь с Вавилонской башнею! Славься Нос правителя великого ибо воздух он дает для Луноликого! Им вдыхает он масла воздушные и им он удаляет слизь ненужную! Прекрасное стихотворение сказал Наместник. Глубокое по смыслу и полезное для нравственности но что-то нам нездоровится сегодня ну мы пойдем. Но Поэт все бежал за ним пригибаясь и кричал. Я бы посмел я бы посмел попросить скромную вой стреляют! скромную награду за мои труды! И упал хватая Наместника за полы халата. Скромную награду за воспевание вашего благословенного носа! Наместник остановился вытащил голубоватый камень похожий на жемчуг выпал вчера из перстня не успел передать ювелиру чтобы вставил и сказал открой рот! Дыра с

двумя-тремя зеленоватыми от насвая[12] зубами раскрылась. Наместник положил в нее камень. Рот Поэта блаженно закрылся.

Раздался грохот часть стены поднялась и выдохнув пыль рухнула.

Курпа видел как падала стена и вместе с ней кувыркался в водопаде пыли и песка человек. В пыли желтело солнце везде валялись куски глины как будто разбили огромный кувшин. Рядом с Курпой лежал тот самый человек старик который упал сверху. Одним глазом он смотрел на Курпу.

Иди иди ко мне! позвал он и Курпа подошел. Ты моя смерть? спросил старик. Я Курпа сказал Курпа. А-а вздохнул старик а я-то надеялся что это моя смерть явилась в образе сладкого круглощекого мальчика! но видно не заслужил и моя смерть явится в образе крикливой старухи горбатой и глухой как те стихи которые я писал всю жизнь а Мункар и Накир[13] придут в виде двух моих вечных соперников гнойных стихоплетов которые только умели портить кокандскую бумагу. И Поэт застонал от боли и от мысли о кокандской бумаге которую уже не увидит.

А Курпе стало страшно шум нарастал но старик схватил его и подтащил к самому лицу разбитому с шевелящимся ртом. Стой дитя не знаю выживешь ты или нет я бы хотел передать тебе свой словесный дар пусть он невелик но может попав в тебя он начнет расти как дерево и еще вот это возьми. Рот Поэта расширился из него выполз разбухший язык. На языке как леденец светился камень. Возьми возьми только спрячь! Курпа быстро взял его вытащил изо рта кокон и положил вместо него камешек. Молодец! рот Поэта улыбнулся и Курпа посмотрел на кокон и протянул его к умиравшему гнилому рту. Рот раскрылся впуская в себя белое яйцо шелкопряда.

Последнее что увидел сочинитель бессмертного восхваления носу было

странным хотя обычай умирающих видеть разные странные вещи хорошо известен одни видят будущее которым они уже не смогут воспользоваться другие наоборот видят своих давно умерших родственников и как правило совсем не тех которых хотелось бы. А Поэт увидел как мальчик поднялся а за его спиной возник обросший мужчина по виду дервиш. Дервиш был почти прозрачным и на шее у него была петля конец которой лучом уходил в небо. И пока мальчик шел мужчина шел следом держа над ним ладони и светящаяся веревка все колыхалась в дрожащем от выстрелов воздухе.

Жизнь в захваченном городе входила в прежнее русло убитых разобрали родственники быстро поплакали над ними и быстро как велит обычай засыпали землей. У Поэта родственников не оказалось и проститься с ним приковыляли только два старика его соперники в поэзии. Помолчав один сказал он был плохой поэт но хороший человек. А второй покачал головой нет человек он тоже был плохой! Но в юности он умел мастерски подражать голосам баранов петухов ослов куропаток и женщин значит у него все-таки были задатки поэта. В это время в голове мертвого Поэта что-то зашелестело это лопнул кокон шелкопряда и из приоткрытого рта вылетела новорожденная бабочка потрепетала и улетела.

А Курпа все шел между убитыми и бабочка летела над ним. Во рту плавал голубоватый камешек под маленькими ногами чернела весенняя земля. Потом убитые кончились и начались тюльпаны Курпа наступал на них раздавленные цветы казались еще красивее. Здесь его увидел какой-то мужчина и посадил на ослика. Я уже немолод говорил мужчина и жена моя немолода а детей пока что не видно некому будет передать секреты ремесла которое я получил от отца а тот от моего

деда. Возьму-ка этого мальчика обучу ремеслу а там поглядим! По ремеслу он был обмывальщиком трупов.

Ташкент, 16 марта 1912 года

Иван Кондратьич прибежал на урок мокрым. Будучи обременен семьей, он отчаянно экономил на извозчиках. Отец Кирилл предложил переодеться, пока Алибек высушит одежду; Кондратьич, трясясь, кивнул.

– А вместо кофе, как вы там хотите, я вам горячего чая предложу, – протягивал отец Кирилл гостю халат.

И пошел сказать Алибеку, чтоб тот занялся чаем.

Когда вернулся, Кондратьич, уже в халате, стоял перед образами:

– Не обращал раньше должного внимания на ваши иконы. Есть редкие работы.

– Есть. – Не любил, когда об иконах начинали рассуждать, как об обычной живописи.

Вошел с самоваром Алибек. Кондратьич продолжал разглядывание.

– Обсохли? – Отцу Кириллу хотелось отвлечь его от образов.

– Особенно та, с Рождеством, а? – Кондратьич садится и нежно глядит на самовар.

Склонился над горячей чашкой, купая бородку в паре.

– Однако по вашей вере это считается идолопоклонством, – напоминает отец Кирилл, накладывая варенья.

Бородатое лицо в тумане. Тычет ложечкой в кусочки айвы:

– Но и в вашей вере, батюшка, иконы были когда-то воспрещены. Более

столетия, а? В Византии, при Льве Исавре, если не ошибаюсь. Да и после.

Отец Кирилл готовит в голове ответ:

– Да, через несколько столетий все повторится, снова станут уничтожать изображения. Статуи, картины. Реформация. Кальвин. Это как прилив – отлив. Колебания маятника. – Изобразил пальцами колебание. – Между крайностями язычества и крайностями единобожия. Сейчас мы живем в новом язычестве. Темный народ молится иконе, ожидая чудес. Темное государство иконы размножает чуть ли не фабричным способом... И темная интеллигенция теперь – ах, иконы! национальная живопись! Готовят выставку. Андрея Рублева на место Рафаэля. Из Феофана Грека сделают Эль Греко. Вот, господа, наше русское Возрождение! Только вход в музей не забудьте оплатить и молитву пред экспонатом творить не вздумайте!

– Что же тут языческого... Национальная гордость.

– “Национальное” есть языческое. – Начертал в воздухе знак равенства.

Чай остыл.

Отец Кирилл сдвигает в сторону чайный натюрморт и достает тетрадку с еврейскими прописями.

Они все еще в начале Книги Бытия.

– Когда уже человека-то сотворим? – интересовался отец Кирилл.

Кондратьич попивал чаек.

Глагол “мерахефет”.

И Дух Божий носился над бездной. Ве руах Элохим мерахефет ал пеней.

– “Мерахефет”, от “рахаф”, – сообщает Кондратьич. – Согревал своим теплом, дыханием. Как птица яйцо. Дыхание – это есть Хохмб, Мудрость. Вторая сфера.

– София? Мудрость, значит?

– София и не София.

– Я приоткрою окно.

– Пожалуйста.

В комнате запахло зеленью.

– Хохмб – дыхание. – Глотнул. – София – это пальцы. Пальцы, техника, понимаете?

– Нет.

Отец Кирилл высунул ладонь за окно, подержал. Вернул мокрой:

– М-м, о Византии... О храме Святой Софии. Ему долго не могли найти название... Нет, название было. Еще император Константин, став христианином, он все-таки не перестал быть императором. Римским императором. А римские императоры, им было важно, чтобы все религии... Как сказать? Вели себя хорошо. Не ссорились, не враждовали. Тихонько, медленно смешивались. Растворялись в одну жидкую государственную всерелигию. В один послушный теплый бульон. Константин принял христианство, но мысль об этом бульоне у него так и осталась. И он строит в Царьграде храм Софии. Почему Софии, а не посвященный Христу, Богородице или кому-нибудь из апостолов? Потому что хочет все примирить, все растворить. Сделать все по-римски. Он рассуждает: Софию-мудрость признают христиане. Ее признают и иудеи: Хухма, я правильно произношу?

– Хохмб.

– Да. Но ее, Софию, признают и язычники, вся их философия. Наконец, гностики. У гностиков София вообще на главном месте. И вот вчерашний язычник,

сегодняшний христианин, а завтра – кто знает, что потребуется завтра? – император решает посвятить храм Софии. Чтобы всех ею примирить. Это его благочестивый расчет и политический в то же время. Иерусалимский храм был только для иудеев. Но он в руинах. Храм Святого Петра в Риме построен, но он только для христиан, и христиане требуют к тому же превращения в руины всех других, нехристианских храмов; тоже политический вопрос... И вот Константин в своей новой столице строит храм, который всех примирит. Да, храм христианский. Но название... Храм огромный, в Царьграде тогда столько христиан не набралось бы. Когда храм был построен, Константин будто бы сказал: “Вот я тебя посрамил, Соломоне”.

– Вы сказали, что ему не могли найти название...

– Ну, это уже гораздо позже, при Юстиниане. Он на месте храма Константина начал строить свой, новый. Строить начал, но не знал, кому посвятить. Снова Софии не хотел. Юстиниан был христианином, и родители его, и большинство подданных, так что римский бульон ему уже был не нужен. И вот храм строится, но уже не в честь Софии. Возводят его храмовые строители, каменщики, во главе их – стратиг. Наступает полдень, стратиг велит всем спуститься вниз, на обед. Строители спускаются. Моют под кувшином руки. Во дворе накрыт простой стол. С Босфора ветерок, хорошо, все садятся, “патер эмон”[14], и преломляют хлеб. На лесах в храме только сын Игнатия, первого каменщика. Он сторожит инструменты. Инструменты – огромная ценность, передаются по наследству. На каждом строительстве прежде закладки строили домик, куда на ночь складывались инструменты, там стража. Домик, кстати, назывался “ложа”, но это уже позже, это у французских каменщиков. И вот... О чем я говорил?

– О мальчике.

– Да. Сын Игнатия, первого зодчего. Сидит, ждет, когда вернутся с обеда и отец ему что-то принесет. Оливок, сыра. И тут кто-то его трогает за плечо.

– Разумеется, ангел.

– Погодите. Мальчик-то еще не знает об этом. Ему кажется, что перед ним просто юноша, “красивый лицом”. Может, из царских палат. И вот он говорит, этот юноша: “Чего ради не заканчивают дела Божия делающие его?” Мальчик отвечает, так, мол, и так, отошли на обед, скоро пожалуют. “Поди, позови их, ибо я ревную об исполнении дела”. – “Не могу оставить инструменты”. – “Иди, я посторожу, пока ты не вернешься. Мне от самой святой Софии, которая есть Слово Божие, Логос Кириос, велено пребывать здесь и хранить”.

– А как выглядел ангел?

– В белых одеждах, от одежд исходил огонь.

– Да... Думаю, так оно все и было. А когда каменщики вернулись, инструменты были те же самые или там уже лежали другие, более совершенные?

– Об этом отец мне ничего не рассказывал.

– Какой отец? Ваш? Вам об этом рассказывал отец?

Отец Кирилл молчал. Говорить сейчас об отце не хотелось.

– Он ссылался на какую-то книгу, забыл название.

– Это не имеет значения. А инструменты свои строители, может, нашли и те же самые. Усовершенствования были внесены в них позже. Например, через месяц. Кому-то пришла в голову идея... И инструмент был улучшен. Стал точнее, удобнее. Вот вам греческая София. Ремесло, “тэхнэ”. Техника. Всё – в пальцах.

Вздохнул. Глядит в окно. Дождь, ветки.

– А мой младший, Арончик, вчера простудился. Ночью бредил. Всю ночь.

Отец Кирилл подбирает слова, чтобы выразить сочувствие.

В голове сидит София. Юноша в белых одеждах.

– Я всегда боялся маленьких детей, – говорит Кондратьич в окно. – Если долго смотреть ребенку в глаза, становится жутко.

– От чего?

– “От чего” бывает “страшно”. А жутко – ни от чего.

– Для чего же вы завели детей?

– Как и все. Чтобы кто-то со мной возился, когда я одряхлею и начну ходить под себя. Выносил за мной горшки и говорил: “Папочка”. А потом – понимаете когда – пошел договорился с кантором, чтобы тот спел надо мной приличным баритоном, и с двумя шлемазлами, которые выроют мне мою последнюю лавочку.

Стало темно, дождь задребезжал сильнее. Темная, сырая бездна. И Дух Божий... мерaxeфет.... Отец Кирилл прислонился к стене. Вспомнил, как подходил к отцу, когда того привезли со стройки. Лев Петрович мычал и показывал пальцем на рот.

– На чем мы остановились? – Кондратьич листал учебник.

– На Софии. Хохмй.

– Не нужно ставить их рядом. Греческое – от пальцев. София от “софос”, ремесленник. Того же корня, что и санскритское “дхвобос”, от “двхобо”, “прилаживать, приделывать”. Молоточком – тук-тук. Ин-стру-ментиком! Того же рода и латинское faber, homofaber, “человек умелый”. Софос – дхобос – фабер. Мастер, ремесленник! Такова арийская мудрость – всё в пальцах, в инструментах.

Вы улыбаетесь?

– Вспомнил одного знакомого. Серафим Серый, может, слышали? Религиозный журналист с уклоном в теософию. Любил из санскрита вернуть. Про арийство мог часами. В Мюнхене познакомились.

– В Мюнхене? Не слышал.

Зачем он вспомнил про Серого? Или все-таки – ревность?

– Так вы, ребе, считаете, что “софия” – арийское понятие?

Разговор сделался скучен, во рту назревал зевок.

Кондратьич говорит:

– В вашем “Послании Иакова” это тоже разделяется. Апостол Иаков еще не был отравлен грецизмами и думал по-арамейски. Он говорит о двух мудростях. О мудрости свыше, Софии Анотен, и земной, душевной, технической – Софии Психике. Кстати, и Кирилл ваш, апостол, который Русь крестил, это знал. Отчего он Софию то как “мудрость”, то как “премудрость” переводит? Не думали? А он знал. И еврейский знал, с хазарскими раввинами ходил спорить. Знал, что одна с неба, анотен, и в сердце вкладывается, а вторая – с душевной земли угаром идет. Так и в “Книге Сияния” различают Верхнюю Колесницу и Нижнюю Колесницу.. Вы что-то хотели сказать, батюшка?

Отец Кирилл держал конверт.

– Хотел прочесть вам одно письмо. Спросить, что вы по этому поводу думаете.

“Пишу тебе с Босфора. Не удивляйся, я уже здесь неделю. Здесь хорошо, в Италии было тоскливо. Хотя я работала как лошадь, но смогла продать только

“Синего рабочего” и кое-что из графики. Второй раз приезжать в Италию было не нужно, только убила те впечатления, которые имела от первой поездки. Италия уже два века как провинция, все интересное, свежее – не здесь. Серафим сопровождал меня до Турина, всю дорогу ныл, прочел в здешнем университете лекцию о русской душе и сбежал к себе в Дорнах. Все его разговоры только о себе, что его преследуют какие-то силы и огненные девы. Особенно допекли его эти девы, закрывал на ночь окна в номере. При этом волчий аппетит, затащил меня по дешевым ресторанам, создал теорию, что итальянская кухня астральнее баварской, в ней больше “частиц света”. Но после того как он уехал, стало совсем тоскливо. Ни с кем не общалась, кроме двух-трех социалистов. В номере холодно, схватила ангину, перешло на зубы. Мои социалисты собрали мне денег на дорогу в Россию, я вначале не брала. Они очень забавны, при встрече изображу в лицах. А в Италии ни одного приличного дантиста, картины не расходятся, мое тщеславие исколото мелкими иглами. Провела две медитации и внутренне покаялась. На корабле стало легче. Море, чайки, обостренное самосознание. Мне кажется, я духовно возросла за это время. Недавно попробовала темпера, получается неплохо, даже Серафим хвалил. Можно ли в Ташкенте найти хорошую темпера?

Теперь про мой Константинополь. Подплывая, вышла из каюты. Уже Мраморное, много-много островов. Волны необычного оттенка. Такая наступила радость. Подплыли ближе – купол Софии. Вспомнила, что ты, милый Кирус, про нее говорил. Вспомнила тебя, маму...” Вам неинтересно?

– Интересно! – отозвался Кондратьич.

– “Also[15], я здесь решила задержаться. Проживаю деньги, которые мне

собрали мои милые социалисты. Живу в пансионате в Артнауткеё, питаюсь одним шоколадом, здесь это самое дешевое питание. Вид чудесный, Босфор, воздух. Я встаю в семь утра, пью здешний кофе с глиняным вкусом и бегу в город. На плече – этюдник, вызывающий всеобщее любопытство. Мужчин-художников здесь прорва, из всех стран, но женщина, кажется, я одна; когда пишу на пленэре, сразу народ. А уж когда заглядывают в этюд и вместо “раскрашенной фотографии” видят вихри красочных пятен и линий... Ничего, учитесь, мои милые турки, учитесь понимать новую живопись! Работаю главным образом в самом городе. Только один раз совершила вылазку на Принцевы острова. Ну, это – плохая Италия. Залезла-таки, поздравь, на самое высокое место, откуда море – как стена, устроилась под соснами и намазюкала кое-что... Исмаил очень хвалил (владелец магазина, где я покупаю краски и прочую “снесь”; интересуется современной живописью, расспрашивал о Матиссе, Боннаре; обещал помочь продать неск. картин – посмотрим...).

Но главное – была в Софии. Помнишь, сколько мы о ней говорили? Вначале, когда подходишь, здание кажется грудой мертвых черепаш. Входишь в притвор – сыро, темно. Но уже какая-то волна поднимается... Глаз привыкает к потемкам, тело – к холоду. И входишь в сам храм. Вошла и сразу потеряла себя. Исчезла, улетела куда-то. Растворилась. Это не храм, поверишь? Это – огромный город, но город идеальный. Разлетаются по обе стороны колонны, колонны; сумрак теплеет, переходит в розовую, оливковую гамму. В середине – царство воздуха: дышишь... Надо всем – купол на лучах. Поднялась по каменному серпантину на второй ярус. Снова купол. Снова подумала о тебе. Поглядела на место, где прежде София была изображена в виде ангела...

Ходила потом по улицам – пустая, рассеянная, задевала всех этюдником. Какой-то добрый француз купил мне гранатового сока. Пока глотала эту кислятину, решила вернуться. В Россию. Без промедления! Денег, правда, нет совсем. Поститься начала еще с Италии. После разлуки с баварскими колбасками выпадаю из всех своих вещей. Но денег пока не присылай – надеюсь продать неск. пейзажей, Исмаил-бей обещал помочь. Впрочем, тут никому нельзя верить, все говорят одно, делают другое, точнее, ничего не делают, только пьют свой кофе и заговаривают зубы иностранцам; так что вышли на всякий случай. Мне ведь еще нужно доползти до Москвы. Не хочу явиться к своим бедной родственницей. Надо купить им здесь подарков, какой-нибудь вышивки. Таня обожает платки, вот и куплю ей платок, уже присмотрела. Нет, деньги у меня будут – Серафим предлагал высылать ему мои дорожные впечатления, он их опубликует в своем “Голосе Логоса”, это такой зверинец из его истеричек, он там даже печатает Мансурову, которая пишет ему ученые письма о Фейербахе. Но платят за статьи хорошо – Серафим заморочил своими “упанишадами” голову очередному еврейскому банкиру, что тот, банкир, был в предыдущей жизни кшатрием. Так что денег присылать не надо, разве что совсем немного. Хотела приехать к тебе к Пасхе, боюсь, не успею – задумала еще здесь несколько пейзажей, хотя уже одурела от шоколада и рвусь домой. Кстати, Серафим говорил, что в этом году особенная Пасха, совпадающая с Благовещением. Серафим и его тетки ожидают всемирной катастрофы. Мне это напомнило весь этот шум вокруг кометы Галлея, о котором я тебе сообщала. Конец света теперь в большой моде. Не выходит газеты, чтобы не написали, что родился двухголовый ягненок или что на Солнце явились пятна в виде японского иероглифа, который сами японцы не

могут прочесть...”

Отец Кирилл оторвался от письма. Дождь закончился; в чае жужжала пчела.

– Это ваша сестра?

– Это моя супруга Марфа. – Отец Кирилл убрал конверт.

– Простите, я не знал... – Кондратьич приподнялся.

– Это вы простите, что наскучил вам этим... семейным чтением.

– Что вы...

– Вскоре после свадьбы она заболела плевритом, он перешел в туберкулез, она уехала лечиться в Германию, в Шварцвальд. Я не мог ехать с ней, мне нужно было сюда, потом собирался в Японию.

– Все эти годы она лечилась?

Отец Кирилл молчал.

– Вы спрашивали мое мнение...

– Прочитал вам ради того отрывка, о Софии. Мы просто говорили об этом.

Кондратьич вздохнул:

– Да. Чудесный отрывок. “Купол на лучах”... Она едет к вам сюда, да?

Отец Кирилл неуверенно кивнул.

В дверь стучали.

В комнату ворвался Его, скидывая на ходу мокрый плащ и поправляя фиалки в петлице.

– Батюшка, благословите... А, и вы тут, почтеннейший Маймонид! Как ваши дела, как детки, как философский камень? Не обнаружили? А у меня, представьте, недавно обнаружили – угадайте... в почках... Промучился целую ночь – можно

сказать, сделался от этого философом.

– Перестаньте, мсье Кошкин, – поморщился Кондратыч. – Оставьте это вашему Бурбонскому.

– Кстати! О Бурбонском. Вы слышали, какое предложение ему сделал наш князь? Город только это и обсуждает.

– Прошлый раз вы говорили, что все обсуждают новый наряд пани Левергер, дай Бог ей здоровья.

– Наряд? А, этот...– Его обвел пальцем на груди декольте. – Ну, это уже дела давно минувших дней. Согласитесь, без нарядов Матильды Петровны жизнь в Ташкенте была бы пресной... Чудесные булки! – Замолчал, набив щеки.

Кондратыч зажал учебник под мышкой.

– Я, пожалуй, пойду. Не нужно... – остановил руку отца Кирилла с ассигнацией.
– Сегодня урока не было.

– Вы пришли в такой дождь, оставили больного сына... – Отец Кирилл пытался вложить бумажку в карман Кондратыча, хотя тот был в его, отца Кирилла, халате.

– Арончику утром было лучше. А дождь... Дождь – это хорошо. – Прикрыл глаза.
– Когда придет Спаситель, тоже будет дождь, “гешем”... “Он сойдет, как дождь на скошенный луг”. А в праздник Суккот устраивалось шествие с “тафилат ха-гешем”, молитвой о дожде. Народ во главе с первосвященником обходит алтарь во дворе храма. Каждый из шествующих держал в руках ветви пальмы, “капот темарим”, и речной вербы и потряхивал ими... – Кондратыч сжал что-то невидимое и потряс перед собой. – Словно ветви пальм и верб дрожали под ливнем, и все восклицали: “Хосана! Хосана!”... Ну, я пошел. Рахмат! [16]

Это было сказано Алибеку, который стоял с высушенной одеждой Кондратьича.

Вербь. Целый лес. Ветви дрожат. Осанна!

Качаются, как от ливня. Над головами – над белыми, черными платками; над стриженными, темными, рыжими, цвета пакли – макушками. При поклонах на “Ми-и-р вс-е-ем!” ветви опускаются, цепляя друг друга, слышится ропот задетых чужою вербой; осанна!

Свечки. Зажигались при святого Евангелия чтении, то волною гасли. По бумажным подсвечникам стучали восковые капли.

Многолетие государю императору.

Ливадия, 20 марта 1912 года

Цесаревич Алексей, причаливая лодку, сделал усилие ногою, и у него открылось кровотечение в паху.

Царская семья потеряла сон. Цесаревич страдал гемофилией, которой наградила его мать. Гемофилией отличался весь ее гросс-герцогский Гессенский род.

Ливадия была райским местом. Дворец недавно перестроен под личным наблюдением государя и теперь напоминал палаццо эпохи Возрождения. Из окон дворца открывался вид на морские просторы. Легкий бриз пробежал по южной растительности. Болтали пиками кипарисы. Итальянский садик был гордостью государя.

Теперь было не до красот. Цесаревич страдал, положение становилось

критическим. Лейб-медик Боткин, лейб-хирург Федоров и вызванный из Петербурга педиатр Раухфус делали все возможное. Кровотечение не прекращалось.

– Дай мне свою боль, – шептала императрица, сидя возле кровати цесаревича на некотором расстоянии. – Пусть я возьму твою боль.

Она говорила это по-немецки.

Государь заявил свите, что желает помолиться в одиночестве. С моря налетал ветер, долгие крики чаек звучали как детский плач. Государь прошел через аркаду, оттолкнул от лица пальмовую ветвь.

Церковь осталась от прежнего дворца; он помнил ее еще по детству, большую, со сладким запахом. Она была в византийском стиле, тогда все строили в византийском стиле. Колонны, как в святой Софии. Он, ребенок, стоял за ними – щекой к холодному камню.

Теперь церковь казалась маленькой. Было утро, никого не было. Взял несколько свечей на входе, покатал меж пальцев. У иконы Алексея всея Руси чудотворца было несколько огарков. Значит, молятся за цесаревича. Хорошо... Пусть...

Государь наклонился к иконе. Спина его вздрагивала.

Он не просто любил сына. Он был влюблен в него. Жил, подписывал указы, смещал министров, играл в теннис – все ради него.

Он любил супругу любовью гимназиста, которая не остывала с годами, только научилась маскироваться от лишних глаз. Он любил их вечера вдвоем, чтения на оттоманке, поцелуй перед сном. Он любил дочерей, любил их красивой отцовской любовью, наблюдал за ними, пытался войти в их дела.

С цесаревичем все было иначе.

Увидев его первый раз, новорожденным, сам испугался этого чувства, расплзшегося откуда-то отсюда, от груди. Это была почти женская, трясущаяся любовь, полная животного страха, что вот “это” сейчас отнимут. Только обхватив сына, успокоился, согрелся, задумался.

Теперь мальчик уходил от него. Свеча потрескивала, снаружи плакали чайки. Он был самым одиноким из Романовых.

И свою будущую жену, принцессу Аликс, он полюбил, почувствовав в ней такое же одиночество, отчуждавшее ее от мира, от людей, от Гессенского двора. Да, она не была рождена императрицей. Не умела интриговать, “царствовать”, искать популярности. На людей глядела сквозь зыбкий туман, поворачивалась и сама исчезала в тумане. За этот туман ее не любили. Мамб, двор, все.

Порой ему тоже становилось холодно с ней. Но он любил в ней и это. Ее приступы замкнутости, сжатые пальцы, мокрый платок на туалетном столике.

С цесаревичем было по-другому. Тут была и теплая домашняя дружба, и долгие прогулки, и понимание, словно разговаривал со своим маленьким “я”. И огонек страха. Тогда, в ужасном девятьсот пятом, он дал приказ стрелять в манифестантов именно из-за него, из-за сына. Ему казалось, что эти толпы ворвутся во дворец, в детскую, и сделают мальчику больно.

Быстро вышел из церкви.

Его любимым композитором был Чайковский.

Чайковский и Вагнер. Но Чайковский с его нежной, сумеречной музыкой – ближе.

Он смотрел на море. Ария Орлеанской девы.

“Прощай, мой край...”

Аликс ждет телеграммы от Распутина. Дай-то Бог!

Ветер усилился, на море показались барашки.

Из окна на него глядела Аликс. Почувствовав взгляд, помахал ей рукой.

Телеграмма от Распутина в трясущихся руках императрицы.

В 2 часа дня кровотечение остановилось.

Императрица первый раз за время болезни наследника вышла к обеду. “Боли у цесаревича прошли. Через неделю мы едем в Петербург”. – Она сказала это по-немецки.

Присутствующие выразили радость. Барон Фредерикс глядел в тарелку; в голове кружилось одно слово: Распутин, Распутин, Распутин...

Император гулял по своему кабинету и мурлыкал что-то из Вагнера.

Ташкент, 22 марта 1912 года

...Кроме самого “Слова” годовым подписчикам были обещаны премии: занимательные игры и рукоделия “Аэроплан”, “Самодельная гитара”, “Матрос и Акула” и “Усадьба г-жи Мими”. А также книжки “Жизнь Жучка”, “Знаменитые русские мальчики” и шесть сценок из детской жизни “Друзья-Детишки и их делишки”.

Отец Кирилл отложил “детишек” и вышел во двор, в сад.

Урюк зацвел. Слива и черешня готовились.

Прошуршал по гальке. Взял грабли, провел по ней волнообразно. Вокруг валунов – закружил.

В маленьком пруду плавали красные карпы: Ёщицунэ, Хокусай и Порфирий Петрович. Почувствовав хозяина, всплыли и пооткрывали рты.

Под урючиной дожидался Его-Кошкин.

– Так как насчет интервью? Публика жаждет.

– Владыка пока не благословил.

– Так я и думал!

Журналист вытащил кусок булки:

– Позвольте? – Отщипывал, кормил карпов. – Держи... И ты держи... Отец Кирилл, а вот просто по-дружески можете мне поведать, что это за Кириопасха такая?

– Мне нужно сейчас к отцу Сергию в Общество христианской трезвости, на Кауфмановском, сбор у него.

– Сбор? А что такое?

– Доклад, говорят. Про масонство, “Масонство и православие”. Если хотите...

– Разумеется. А прессу до этих масонских таинств допускают?

– Доклад публичный. Я там бывал раза два...

Не стал распространяться о полученных впечатлениях. Но этот раз надо было сходить – несколько раз уже звали.

Порфирий Петрович, проглотив мякиш, нырнул.

Решили идти пешком. Погода стояла веселая, ночью город сбрызнуло дождем, зелень дышала.

– Изобразить бы это... – Его искusstельно посматривал на отца Кирилла.

Жители, напившись утреннего чая, шли по делам.

– Так как насчет конца света? Матильда Павловна мне все уши им прожужжала. Особенно после вашего пожара. И в Петербурге об этом пишут.

Отец Кирилл огладил бородку. Кириопасха, Господня Пасха. Когда Пасха совпадает с Благовещением. Случается редко, раза два в столетие. Прошлый раз была в 1828 году.

– А, уже была, значит... – Его терял интерес. – А я думал, что-то новенькое. Хотя, погодите... Тысяча восемьсот двадцать восьмой. – Остановился, поразмышлял. – Нет, ничего. Ничем не выдающийся год.

Зальчик был полупустой; заполнены первые четыре ряда. На пятом дремал отец Стефан. На шестом сидел молодой человек и кивал на каждую фразу.

– Внутренний церемониал масонства не оставляет никакого сомнения в том, что цели его враждебны человечеству, а высказанное сейчас предположение, что в символических действиях его заключается худо скрываемая цель всемирного господства Еврейства, не так уж невероятно, чтобы можно было его отрицать.

На сцене томился президиум. Протоиерей Сергей Охмелюстый, отец Владимир, иеромонах Антоний со стаканом воды. Еще один батюшка; кажется, видел его в Верном. Сбоку секретарь Самсонов, протирает очки. На трибуне, обтянутой солдатским сукном, раскачивается протоиерей Валентин Антонов. Читает нараспев, с пафосом произнося “о” и “ы”:

– Общество франкмасонов, свободных каменщиков-строителей, естественно

напоминает евреям об их строительстве всемирного царства. Мысль о всемирном владычестве связана у них с мыслью о возобновлении разрушенного иерусалимского храма... – Освежил горло из стакана. – ...как символа неувядающей надежды на восстановление Еврейского царства.

Его придвинулся к отцу Кириллу:

– Кто сей Савонарола?

– Отец Валентин. Ваш коллега в каком-то смысле. Статьи публикует.

Его хмыкнул.

– ...И в этой мысли для еврея нет ничего невероятного, ибо иудеи остаются до сих пор при убеждении, что мессия еще придет и даст измученному тысячелетней борьбой Израилю обещанное торжество над миром. В этом не сомневается ни один еврей, и все они с неослабевающей энергией готовят победный путь над неевреями своему грядущему мессии.

Отец Кирилл изучал зал. Лампа, несмотря на дневное время. Над президиумом – государь с ангельским лицом и саблей. В углу рояль, для исполнения песнопений и нравственных романсов. Самсонов, завершив обряд протирания очков, что-то пишет. Отец Иулиан Кругер слушает с горящими металлическими глазами и кусает усы, тема его весьма волнует.

– Что вы об этом думаете? – шепчет Его. – Черной сотней пахнет...

Отец Кирилл жалеет, что сам пришел да еще привел с собой либерального журналиста.

Стал наблюдать за иеромонахом Антонием, вертящим стакан. Сам из евреев, увлекался социализмом, потом крестился, жил в монастырях, постригся в мантию,

теперь в президиуме. На часы глянет и слушает.

– Проклятие всемирной истории, вместе с Божественным проклятием, тяготеет над ними. Но куда бы капризная судьба ни забросила сынов Израиля, всюду сохраняют они свою самобытность и, считаясь угнетенным племенем, повсюду неизменно выступают в роли руководителей своих угнетателей. Как дурно пахнущая жидкость, этот народ успел просочиться и в масонское общество и внес в него одному ему свойственный разлагающий элемент. В начале восемнадцатого века благородное еще масонство решительно изменяет свой курс. В это время во Франции изъявили желание вступить в масонские ложи богатые иудеи и дали почувствовать кому следует, что их стесняют христианские задачи ордена.

– А первоначально масонский орден был, стало быть, христианским? – возник в ухе голос Ego.

– Потом будет обсуждение. Вы и задайте вопрос...

Отца Кирилла начинало все раздражать. Даже не знал, что больше: мрачные вымыслы отца Валентина или либеральное ехидство Ego. Или тихое лицо иеромонаха Антония, переставшего вертеть стакан и принявшегося чиркать карандашом.

– ...в символические знаки, таинственный смысл которых в подлинном масонстве не заключал в себе ничего противонравственного и противорелигиозного, искусственно вставлены были разрушительные идеи древнееврейских талмудических организаций, не расставшихся на протяжении тысячелетней истории с мечтаниями о мессианском всемирном царстве. Эти мечтания неотделимы от еврейской расы и так же живучи, как живуч этот народ. Еврейство действует

уверенно и пожинает уже и теперь плоды своей энергичной работы. Его владычество можно признать фактически осуществляющимся в экономической жизни Франции, Америки и Австрии...

Отец Валентин раскачнулся так сильно, что сдвинул трибуну. Отец Стефан раскрыл глаза и заморгал; увидев отца Кирилла, улыбнулся.

– Я, пожалуй, пойду... – ерзал Его. – Хватит, насладился.

– Погодите, вместе пойдем. Заключительный аккорд выслушаем...

Отец Валентин и правда перестал качаться. Развел руки:

– И только борьба церкви Христовой с надвигающимся царством Антихриста может отсрочить эту печальную развязку тысячелетней истории человечества на неопределенное время!

Слегка уронив голову, застыл на секунду – с разведенными руками.

Защелкали аплодисменты.

Отец Валентин, еще в образе, сходил с трибуны.

Отец Иулиан вскочил, энергично аплодируя:

– Браво!

Заметив, что никто больше не встает, обиженно сел.

– А что... эффектно! Очень эффектно! – Его несколько раз брезгливо похлопал.

Отец Кирилл отклонился к отцу Стефану и что-то ему говорил – чтобы иметь повод не участвовать в аплодисментах.

Вернинский батюшка прозвонил перерыв.

Публика, шелестя рясами, потянулась во двор, к воздуху и чаю.

Отец Иулиан поймал отца Кирилла за локоть и сунул брошюрку:

– Почитайте. Тут – всё. – Скосился на Его. – И вы, господин хороший, почитайте. Просветитесь.

Его взял кончиками пальцев и спрятал в карман:

– Мерси!

Отец Иулиан сделал музыкальный жест и поплыл раздавать свои брошюры далее. Прежде, до рясы, он считался подающим надежды интерпретатором Листа, да и сейчас иногда поигрывал.

Во дворе клокотал самовар, разносили чай. Нависала огромная чинара, еще в остатках прошлой листвы; от чинары расплзались зеленовато-серые тени. Отказавшись от чая, отец Кирилл подошел к отцам Петру и Михаилу, ставшим у ствола. Отец Петр из Градо-Сергиевской опрaвлял волосы и молчал; говорил отец Михаил, коренастый, седенький – тип сельского батюшки:

– ...пока будем все на инородцев сваливать, ни на шаг не сдвинемся... Подходи, отец Кирилл. Как здоровье? Что матушка твоя все не едет? Моей Анне Николаевне подруга будет, она у меня тоже рисунку обучалась... Как тебе доклад? Понятно. А отцу Петру вот понравилось.

– Мне декламация понравилась, – мотнул головой отец Петр.

– Да, декламация. Так тебе тогда в театр ходить надо. Слышали, “Гамлета” собираются ставить? Быть или не быть. Вера сказала, старшая моя, она в “Волне” на всех репетициях сидит.

– А кто председателем сегодня был? – спросил отец Кирилл.

– Не знаю. – Отец Михаил повернулся к отцу Петру. – Кто председательствовал-то?

Подошел Его.

– Безумная личность, – кивнул на отца Иулиана, бегавшего с брошюрками.

Отец Кирилл представил Его.

– Читали, – прищурился отец Михаил. – Что же, репортаж напишете?

– Да нет, я, собственно...

– А вы напишите... Хороший чай, только я с молоком люблю. Ерундой занимаемся. Столько вопросов прямо над головой висит! Семь лет назад обещали поместный Собор созвать. Вопрос патриаршества – сколько уже говорилось!

– Ну, это пусть архиереи... Их забота, – отозвался отец Петр.

– Так ничего же не делают архиереи, отцы наши. Или делают? То-то. Хорошо, берем местные, наши вопросы. Кафедральный собор – сколько лет комитет заседает, хоть бы кирпичик на то место положили. А сколько тянется волынка с переносом кафедры в Ташкент? Это ж младенцу понятно, как тяжело из Верного такую громадину окормлять, одни письма сколько ползут... Главный город края – Ташкент, а епархию в эту деревню задвинули. А кто нам ее сюда, в Ташкент, вернуть мешает? Иудеи, что ли? Или эти, масонцы?

Отец Петр хотел что-то сказать, но вместо того засмеялся и показал мелкие зубы.

– Вот и я говорю, – усмехнулся отец Михаил. – Сами себе мешаем, сами себе под ноги лезем. Все под властей подлаживаемся. Или вот – семинария. Лет пятнадцать назад уже распоряжение от Синода вышло, семинарию в Ташкенте открыть. Протопресвитер приезжал, изложил в докладе... И что? Где семинария? На бороде. Сколько писем писали, прошений. Что ж я, своего Мишу должен в Оренбург

отправлять, в такую даль, в семинарию? Это ж, кроме всего, расходы...

– Ну, теперь туда поезд ходит, – сказал отец Петр.

– Вот ты своего Алексея сажай на поезд. Посмотрю, куда он поедет.

Отец Петр перестал смеяться. Алеша, старший его, был печальной знаменитостью.

– А начальству, – продолжал отец Михаил, – понимаешь, не нравится, когда мы про семинарию напоминаем. И про епархию в Ташкенте. Владыка Паисий, помнишь, заговорил, так сразу его отсюда и попросили. Зато когда про всемирный заговор из Франции, это – пожалуйста, говорите себе на здоровье. Ладно, пойду я, любезные мои филистимляне. Вы уж тут сами без меня с иудеями сражайтесь.

Зашагал к выходу.

– Не обращайтесь внимания, всем всегда недоволен, – говорил отец Петр, когда отец Михаил отдалился. – Каждый раз сюда приходит, разругает все. Один раз даже дверью хлопнул, думали, всё, больше не явится. Следующий раз прихожу – сидит. Мрачный, но – сидит. Зачем ходишь? А он: хочу, мол, и хожу!

– А отцу Михаилу куда б ходить, только своим приходом не заниматься, – подошел отец Стефан. – Я ему говорю, полы у вас покрасить надо, стены освежить, а то курятник получается. Прошлый раз клировую ведомость самым последним сдал, благочинный недоволен был.

– А по-моему... – начал отец Кирилл.

Мелкими шажками подошел отец Иулиан:

– Советую не расходиться. Прения сократят, потом – угощение. Редкое...

– Так пост ведь.

– Всё – архипостное. Но – с фантазией.

Сделал музыкальное движение руками.

– Я бы... – Отец Кирилл мусолил пальцами бороду. – У меня встреча.

– А я, пожалуй, останусь, – сказал Его.

Отец Кирилл поглядел на него; Его потупился.

– И вы, отец Кирилл, оставайтесь, освежитесь обедом, – сказал отец Петр. – А то после ранения совсем легки сделались...

Прошаркал мимо иеромонах Антоний. Тихо попрощался.

– Их агент, – прошептал отец Иулиан. – На доклад к своим торопится.

– Откуда вы взяли? – тоже шепотом спросил отец Петр.

Отец Иулиан нарисовал на лице тонкую усмешку:

– Его происхождение всем нам хорошо известно.

– Ерунда, – не очень уверенно возразил отец Петр.

– “Близок есть, при дверех”... Вот, поглядите! – извлек листочек, развернул. – Схема дворца нашего любимого всеми великого князя. Что мы видим?

– И что? – вывернул голову отец Петр.

– План Соломонова храма. Если мысленно убрать вот это и еще вот здесь... Специально пальцем закрываю, чтобы нагляднее. А, ну как? Sapientisat[17].

– А по-моему, – откашлялся Его, – так в любом сарае можно храм Соломона увидеть.

– Нет, не скажите, не в любом... сарае... Как звали строителя? Как строителя звали?

– Кого? – забеспокоился отец Петр.

– Архитектора дворца! – Отец Иулиан выдержал гипнотическую паузу. – Гейнцельман. Вильгельм Соломонович. – Еще тише. – Со-ло-монович...

Отец Кирилл распрощался.

На выходе наткнулся на отца Валентина, докладчика; нежно удерживал за локоть иеромонаха Антония:

– Поверьте, я ничего не имею против отдельных представителей...

Отец Антоний сутулился и быстро кивал. Миновав эту композицию, отец Кирилл вышел на воздух.

На душе было липко. Правда, такую же духоту он чувствовал иногда в беседах с Кондратьичем. Что-то животное, прелое проступало в словах. В разговорах о духе, о всемирной истории вдруг проглядывал предбанник, где на скользких скамьях разглядывают свои ноги и катают по коже серые мякиши.

Ташкент, 29 марта 1912 года

Маленький человек в белом костюмчике бежит по рельсам. За ним несется паровоз. Бегущие ноги. Вертящиеся колеса. Лес. Высовывается машинист, машет, чтобы несчастный прыгнул с рельсов. Человек не может прыгнуть. Машинист не может остановить поезд.

До этого человек в белом костюме хотел кончить жизнь, лег в смешной позе на рельсы, но, услышав поезд, побежал. Спрыгнуть с рельсов ему не позволяет честь, он дал клятву погибнуть под поездом. Лечь на рельсы ему не дает страх. Он бежит перед паровозом, придерживая на бегу шляпу. Шляпа слетает, он быстро возвращается за ней, отряхивает, надевает и бежит дальше. За ним несется паровоз.

Колеса, бегущие ноги.

Машинист – муж женщины, которая была любовницей бегущего. Он застиг их вдвоем. Жена упала без чувств, любовник воспользовался окном. Теперь машинист преследует его. На лице машиниста происходит борьба. Ему жаль несчастного, и он кричит, чтобы тот сбежал с пути. Но жажда мщения не позволяет ему остановить поезд. Дистанция между любовником и паровозом сокращается.

Рельсы переходит черная кошка. Машинист в ужасе закрывает ладонью лицо и останавливает паровоз. Человечек в белом костюме недоуменно оглядывается и с облегчением снова ложится на рельсы.

Выбегает женщина в наряде лесной феи: “О, кисочка моя!” Хватает кошку, прижимает. Лицо женщины в слезах. Она оказывается женой машиниста, бежавшей из города от позора. Теперь она живет в лесу и совершает добрые дела. Машинист выбегает из поезда, человек в белом костюмчике, отряхиваясь, поднимается с рельсов. Женщина соединяет их руки: “Ты не хотел меня выслушать, Карл... Так знай, это был мой брат, которого в детстве выкрали злодеи!”

Несущийся паровоз; все весело едут в кабине и поют песню. Человек в белом костюме целует сестру, кошку и машиниста.

Зажглись лампы. Сорочинская сняла с клавиатуры усталые мужские ладони. Публика поднимается, переговаривается.

Великий князь сидит неподвижно в своей ложе. В вазочке тает мороженое.

Зал пустеет.

Электротheater “Зимняя Хива” – его любимое детище. Нефтяной двигатель для

выработки электричества. Аппарат Патэ с мощною линзой. Огнетушители “Эврика” и “Богатырь” на случай пожара. Перед демонстрацией выступали разные знаменитости, которых он приглашал в Ташкент личной телеграммой. Варшавская свободная художница Я. Вечес, украинская артистка Матрена Елисеева и Нельсон Картер, “родной брат Дурашкина”, – человек с таинственными руками, чудо XX века.

От тающего мороженого натекла белая лужа. Великий князь поиграл в ней ложечкой:

– Вам понравилась фильма, господа?

Рядом сидели Ватутин, отец Кирилл и Чайковский-младший. Перед каждым – вазочка с мороженым и фруктовые воды.

– Интересно, – произнес Ватутин. – Немцы делают большие успехи.

Ему было неинтересно. Немцев и их успехи он презирал.

– А я, знаете, расстрогался, – сказал Чайковский-младший. – Только прикажите Сорочинской, чтобы не употребляла рояль как барабан и не прыгала во время исполнения.

Отец Кирилл промолчал.

– Я вас пригласил, господа, – Великий князь глядел в пустой зал, на кресла, сцену, – чтобы обсудить ваше участие в той театральной постановке, которую я задумал. Возможно, вы уже что-то об этом слышали...

– Мы бы желали услышать лично от вас, князь, – сказал Ватутин.

– Речь идет о постановке “Гамлета”. “Гамлет, принц датский”. Мне бы хотелось,

чтобы это был современный синтетический спектакль. Чтобы в нем важную роль играла и музыка...

Чайковский-младший слегка вздрогнул.

— ...кроме того, был использован синематограф...

Ватугин поднял бровь.

— ...и, разумеется, — Великий князь поглядел на отца Кирилла, — декорации.

— Я никогда не работал для театра, — сказал отец Кирилл. — И потом...

Вошел лакей, наклонился к уху великого князя. Тот кивнул:

— Скажите, пусть подождет. — Снова повернулся к отцу Кириллу. — От вас потребуются только эскизы. В том новаторском духе, каким отмечены ваши последние, до отречения от живописи, полотна. Речь, повторяю, только об эскизах, набросках, так что вашего обета вы не нарушите. Надеюсь, вы не огорчите нас своим отказом? — Стал собирать лежавшие перед ним бумаги.

Из бумаг выпал женский фотографический портретик.

Великий князь быстро глянул на отца Кирилла.

Убрал портрет в папку:

— Итак, господа, в вашем распоряжении две недели, чтобы освежить в памяти бессмертные страницы Шекспира и обдумать, как... Да, в самой трагедии будут сделаны некоторые купюры. Будут еще кое-какие изменения, но мелкого характера.

Лакей раскладывал конверты перед каждым.

— Это мои письменные пожелания и небольшой задаток, — пояснил князь и сосредоточился на пустой сцене.

Это лицо выпало из книги. Кириллу одиннадцать лет, он на диване отца, листает книги. Он интересуется искусством, у него болит голова, отец на строительстве, мать внизу ласкает одну и ту же клавишу: ля-диез, ля-диез... Толстые страницы, искусство Италии. Лица мужчин и женщин. Женщины спокойны, наполнены своей красотой до краев, до высокого, как кувшин, лба. У них улыбка просыпающихся детей с чуть вспухшими губами; от взгляда на них руки покрываются ледяными муравьями и болит рядом с неприличным местом. Ему нравятся лица мужчин, особенно святых Себастьянов. Они стоят у столба, обнаженные, и наслаждаются своей смертью. Иногда у себя он подходит неодетый к зеркалу и представляет себя Себастьяном. Закатывает глаза, выставляет вперед ножку.

Или нет, рисунок выпал из другого тома, искусство Испании. Эль Греко, Мурильо, кающиеся грешники, немецкие пояснения. Здесь нет наполненности, все расплескано, лица — отражения в монастырских лужах, задетых каблуком. Ночь пахнет лавром и лимоном, все сильнее сосет в низу живота, ложатся под сквозняком языки свечей, искусанные губы молятся на чахоточной латыни, чтобы ночью слиться с другими губами... Нет, не то... Рисунок с ее лицом выпал и лег на ковер в трапезию света из другой книги, немецкая живопись. Дюрер, рисунки-формулы, картины-теоремы. Расплывшиеся, как моченые яблоки, мадонны Кранаха. Нет, нет. Не оттуда выпал. Выпал ниоткуда. Из темного воздуха отцовской комнаты.

Кирюша на диване. Прикасается к портрету губами, водит ими по шершавой фактуре.

Голос отца: “Что ты делаешь!? Где ты это взял?”

“Я смотрел книги, она упала”.

Голос матери: “Не надо, не надо...” Увела его вниз, обняла ледяными руками: “Это его мать. Мать отца”. Тени разрослись в гостиной как водоросли. Водоросли качнулись, отрыжка пузырьков исчезла на потолке. Мать подплыла к роялю, смахнула тину. Больно надавила на ля-диез. “Ну что ты смотришь? Это твоя несчастная бабушка, которую увели в плен”.

Ночью он проснулся: женщина с рисунка была рядом. Он закопался в одеяло и слушал сердце. Голый подросток у зеркала закатывал глаза. У него оттопыренные уши и музыкальные пальцы. Стрелы впиваются в него, брызги крови бьют в зеркало, ползут вниз. Самовар похож на храм Святой Софии, к блюдцу с вареньем бежит муравей.

— Два слова, ваше императорское... — Отец Кирилл задержался в ложе. — Могу я говорить с вами напрямую? Для чего вам эта игра со мной?

Князь поднял подбородок, промолчал.

— Для чего вы сейчас извлекли этот портрет? Снова молчите... Когда я умолял вас сказать, что вам известно о ней, и вы вот так же... Хорошо, скажите хотя бы, вы видели ее?

Князь быстро кивнул.

— Когда это было?

— Было... — Князь говорил с остановками, глядя в зал. — Было. Мне было дозволено видеть ее один раз. Она была так же свежа и прекрасна. — Помолчал. — Словно наше земное время не оставило на ней следов... Простите, меня ждут.

– Последнее слово. Что же было в этом проклятом коконе?

– Ну, если верить нашим друзьям... Впрочем, вы сами тогда предположили. Дар слова, или как он у них там по-арамейски. Какие вы проповеди произносить стали, а? Цицерон! Сейчас-то уже не то? Молчаливым стали, косноязычным.

– Да... Но я думал, это из-за ранения.

Князь протянул отцу Кириллу конверт:

– Не забудьте вот это. Там, в записке, может, и найдете что-то интересующее.

Отец Кирилл остановился у выхода:

– Так где сейчас эта... “звезда”? Это ведь вам известно.

Князь снова уставился на сцену:

– В Англии, у мистера Вильяма Стэда.

– У кого?

– Известный журналист, оккультист, мой старый знакомый. Читайте газеты, там о нем есть... Ступайте, батюшка. – Тихо, взал: – For England! Farewell, dear mother[18].

Ватутин и Чайковский-младший ожидали его в буфете.

Чайковский уже успел наведаться в свой конверт – перед ним желтела рюмка шустовского. Ватутин демонстративно пил чай.

– Отец родной! – поднялся Чайковский. – Не за себя рад, за тебя рад. Мы с вами этого Шекспира... англичанишку...

– Третью уже пьет, – пояснил фотограф.

Чайковский-младший попытался усадить отца Кирилла за трапезу, но тот,

оценив физиономию композитора, предложил пройтись по воздуху. Подхватив Чайковского под локотки, отец Кирилл и Ватутин отбортовали его к выходу.

На воздухе Чайковский несколько протрезвел, но не потерял энтузиазма:

– Вы не представляете, друзья мои, какую я напишу музыку! Там будет один марш. Он у меня почти сложился, пока я закусывал. Марш датского гарнизона. Какого рода войска охраняли их... ну, этот их штаб?..

– Эльсинор? – переспросил отец Кирилл. – Не знаю. Алебардщики. Копейщики. Чайковский-младший задумался:

– А и для них подойдет! Вот, послушайте. Вначале: па-па-па...

– А это не тот марш, который у тебя на днях не приняли? – прервал его Ватутин.
– Ты еще его вот так напевал и ругался.

– Какой?.. Тот? Да ничего похожего! Совсем другой. И в том никакой паузы перед каденцией нет... И еще один марш напишу, траурный. Для финала, когда трупы понесут.

– А что же у тебя, одни марши будут? – спросил Ватутин.

– Почему одни марши? Это ты с чего взял? Когда королевский выход, то будет мазурка.

– Представляю, как у тебя датская королева мазурку запляшет...

– Хорошо, не мазурку! Полечку какую-нибудь заверчу. Их высочество ж сказали: чтобы было все современно.

– Кекуок напиши сразу, – посоветовал Ватутин.

Чайковский-младший замолчал, стараясь обидеться. Не получилось. В пиджаке ласково грел конвертик, по жилам расходился коньяк, в ушах щебетали птицы.

Ласково сощурился на Ватутина:

– Жулик!

Ватутин чертил носком ботинки узоры в пыли.

– Я вот, отец Кирилл, все думал, отчего князь поручил именно нам. Например, мне – съемку. Что ж, нельзя найти в Туркестане лучшего специалиста по живой съемке, чем я?

– Модест Иваныч, ты не обижайся, я не про то “жулика” сказал...

– Нет, конечно, как фотограф я имею репутацию. Но живая съемка – область для меня новая и не сильно привлекательная. Князю это известно. Сам приглашал пару раз других хроникеров. Или вот наш капельмейстер...

– Ты о ком это? – забеспокоился Чайковский.

– ...что от него можно ждать, кроме вот этого “ум-па, ум-па”? – Помахал рукой.

– О вас, отец Кирилл, уже не говорю. Когда последний раз к кисти-то прикасались? К живописной, а не которой крестики на лбах рисуете.

Отец Кирилл не ответил.

Чайковский-младший обиделся.

– А сейчас, – продолжал Ватутин, – замысел князя для меня открылся. “Гамлет” – это ведь трагедия о неудачнике. Ну что такое этот ваш принц? В университете недоучился, к власти не допустили, в любви все кувырком. Вот он, принц датский. И главное, сам не может понять, что ж ему нужно. Мается всю пьесу. Наш князь и почувствовал в нем родственную душу. И исполнителей своего замысла таких же подбирает. Таких же природных неудачников.

– Я, между прочим, у Танеева уроки брал! – обиделся, наконец, Чайковский.

– Ну да. Это и имею в виду. Уроки у Танеева, или еще этюд, помнишь, в Собрании исполнил, юношеский. Сочный этюдец, обещающий. А завершилось все чем? Ташкентом. – Перечеркнул ботинком нарисованное в пыли. – Ташкентом. Маршики. Вальсики. Все – как близнецы, не отличишь.

– Ты же сам хвалил...

– А я и сейчас хвалю. Когда спивающийся, исписавшийся человек все же находит в себе силы что-то сочинять... Да! Спивающийся. Кого в прошлый раз из “Шахерезады” на руках вынесли?

Чайковский-младший пробормотал:

– А маковое зелье, стало быть, лучше.

– Не лучше. Я себя не защищаю. И то зелье, в котором потопил себя Кирилл Петрович, тоже не лучше.

– Отец Кирилл, да что же вы молчите? Это же он на церковь намекает!

Отец Кирилл поднялся:

– Пойду я, господа. Что-то голова разболелась, а мне еще служить.

Свернув на пустую аллею, достал конверт князя. Убрал, вынул другой.

“Милый Кирус! Да, я все еще в Москве. Не хмурься, пожалуйста! Только подумай, сколько я здесь не была, и сколько еще не буду, и сколько не смогу бродить по этим переулкам, слушать переливы с Кремля, просиживать за какой-нибудь эстетической беседой в “Греке”. Москва очень продвинулась в художественном отношении. Каждый день выставки, не успеваешь бывать. На Воздвиженке “Бубновый валет”, в прессе страшные ругательства, а публике того и надо.

Выставлены неск. иностранцев, наших старых знакомых: Макке, Матисс и Пикассо. Все они с русскими, интернациональным фронтом ведут атаку на головы бедных обывателей с какой-нибудь Собачьей площадки. В Политехническом – дискуссии. Макс Волошин, умный, парижский, говорит о Ван Гоге как провозвестнике кубизма; какой-то шумный Бурлюк, тоже понравился. Те, кто видел моих “Рабочих” и пейзажи, жалеют, что поздно о них узнали, так бы я тоже была включена. Еще выставилось Товарищество, не так интересно, хотя и там встретила много знакомых лиц и заинтересованных взглядов. Видела мельком твоего Петрова-Водкина, зазывает в Питер, на “Мир искусства”, пишет мальчиков, декоративно, желто, плоско; жена у него делает дамские шляпки. Мой “Зеленый рабочий” ему, кажется, не понравился. Кормил меня супом, вспоминал ваши студенческие годы. В Питер, конечно, не хочется; ты знаешь, как я не люблю этот негостеприимный город, эти лица и дороговизну. Но что-то подсказывает мне, что нужно ехать. В Москве проданся только один пейзажик с видом Принцевых островов; может, в Питере наторгую лучше. Москва слишком избалована матиссами, а у своих картины берут, только если был скандал и о нем публиковали в газетах. А деньги мне, увы, нужны. Дома на меня уже начали косо посматривать, как они это прекрасно умеют, и жаловаться, что кругом мои картины. В Москве я раскормилась как пышка и очень стала похожа на Таню. В общем, надо ехать в Питер, хоть ненадолго. А потом – в Москву и к тебе. На поездку, конечно, нужны деньги. Соображаю сейчас, где их достать. У тебя нет никаких теорий на этот счет? Кстати, мои константинопольские впечатления, которые Серафим выпрашивал для своего журнала, до сих пор не напечатаны; говорят, он отдал их на редактирование Эфировой, которую еще

называют “мадам многоточие”: всё, что редактирует, окропляет многоточиями, аки святой водой; ее собственные писания можно читать только со страшным хохотом. “И тогда... я... о, нет!.. я не могла... но он...” Правда, Серафим все порывается прислать мне сейчас вспоможение из личных средств, но я собираюсь отказаться. Он из тех людей, которые причиняют боль всем, кому хотят помочь, – мучают пересказами своих ночных кошмаров, отдают их сочинения разным проходимкам etc. Милый Кирус! Ты все еще меня любишь? Как странно... Иногда я просыпаюсь и до утра думаю только о тебе. А потом забываю. Это плохо, да? Ничего не говори. Я сама все знаю. Прощлое письмо от тебя было очень сухим, даже Таня это отметила. Ты все еще меня ждешь?”

Отец Кирилл сложил письмо.

Какой-то неувовимо новый тон в ее письмах.

Невдалеке прошли, не замечая его, Ватутин и Чайковский-младший.

– Нет, ты неправ, что я неудачник, – говорил Чайковский. – Ты не представляешь, сколько народу под мои марши шагает!

Отец Кирилл пошел в другую сторону. Ждал ли он ее?

Ташкент, 3 апреля 1912 года

Он стоял в депо. Вокруг ходили люди. Отрыжки пара, стук, запах мазута, махорки и угля. В дыму плавал солнечный луч.

Раз в месяц отец Кирилл обходил мастерские и депо. Тут копошилась, гремела, шуровала углем и проверяла давление в котле основная часть его прихода. Встречали

отца Кирилла по-разному. Некоторые, заметив фигуру в рясе, выкатывались из-под паровозов, съезжали, прыгивали сверху – за благословением. Другие, не отрываясь от стука или заворота гаек, ограничивались быстрым приветствием. Были и те, кто прятались от него за паровозами; когда уходил, цедили: и что его, бездельника, сюда носит?! Хуже всего прием был от перекурщиков. Перекур был таинством со своими неписаными заповедями; втереться в перекур, да еще со своим разговором, означало заслужить вечное осуждение.

Железнодорожное начальство тоже не слишком приветствовало приходы отца Кирилла. Это были дипломированные скептики, в лучшем случае верившие в Бога как в верховного инженера со смесью профессионального почтения и того критицизма, который развит у русского человека в отношении любого начальства. В большинстве они заходили в церковь только на праздники – ради семьи. Были, конечно, и те, кто ходил на службы чаще, но и они полагали визиты отца Кирилла излишеством. Церковь и “иже херувимы” – одно, паровозы, пыль, мазут – другое.

И все же раз в месяц отец Кирилл подходил к крашеным кирпичным воротам чуть после того, когда толпа войдет внутрь и разойдется вокруг машин. Вначале к отцу Кириллу прикрепляли какого-нибудь рябого вергилия, который следил, чтоб работники оказывали духовному лицу должное почтение, а также отвечали на те вопросы, на которые умели ответить. Вскоре отец Кирилл обходил железнодорожные службы сам, без проводника. Он уже знал названия, иногда смешные, тех инструментов, которыми орудовали рабочие; что коротенький паровоз без тендера зовется кукушкой. К его приходам привыкли: ходит батюшка, и пусть. С лишним разговором не лезет, работать не мешает; подойдет, скажет доброе слово,

благословит.

Сегодня отец Кирилл шел тяжело. Каждый стук отзывался в голове выстрелом.

– Благословите, батюшка!

Вышел во двор, присел на паровозное колесо, обросшее травой.

– Отдыхаете, батюшка?

Отец Кирилл кивнул. Отдыхает.

Город накрыло теплом, все лихорадочно цвело и осыпалось. Отца Кирилла осаждали головные боли, дни проводил с влажным полотенцем на голове. Скреблась секундная стрелка. Алибек отпаивал его какой-то травой, подкладываемой в чай, помогало. Нынешним утром долго боролся с собой; свинцовая голова не желала отрываться от подушки и придумывала разные отговорки. Отец Кирилл встал, нерадостно умылся, опрокинул порошок. “Нужно идти”, – повторял, работая гребешком. Теперь, неся на плечах варево боли, жалел, что пришел.

Алибек ставил перед ним чай. Отец Кирилл глядел, как опускаются чайники.

Он переводил на сартский Новый Завет. Начал уже давно, едва овладев основами языка. Потом забросил. Снова начал.

Серафим Серый называл его “разбросанный гений”.

Чайники оседали. Он делал глоток. Во рту становилось жарко.

Переводил в двух вариантах: арабской вязью и кириллицей – для миссионеров, если появятся.

Аввалда Суз бор эди. В начале было Слово.

Отец Кирилл глотал чай.

Влажнил полотенце, заматывал чалмой.

Русский перевод ему тоже не нравился. Греческое “логос” – мужского рода. Слово – Он, Сын Божий. Само звучание – логос – собранное, энергичное. Русское “слово” – среднего рода, бесполое. Почти те же звуки, как в греческом – “эл”, два “о”, но все иное. Спотыкание уже в самом начале: сл, сл... Слюнявое, слипшееся, сломанное. “Ло” в “логосе” – начало арии. “Сло” – начало слюнявых пузырей и звучит как “зло”. В начале было зло... И эта неочерченность, это угасающее, вялое “о” в конце: слово-о-о...

Стоило бы написать Серафиму. Тот прочел по логосу пятнадцать докладов, опубликовал их в виде пятнадцати статей, издал эти статьи отдельным томом и переиздал в виде брошюр. Но они не переписываются.

У Серафима – круглые безволосые щеки и невозможный характер. Он страдает геморроем, утром на простыне видно побуревшее пятнышко крови. После гимназии он обвенчался с женщиной старше на десять лет, та родила ему дочь, дочь выросла и вышла замуж за земского статистика. Через два года супружества Серафим имел видение, после чего его семейная карьера закончилась и началась мистическая. Он стал выступать с докладами и проповедовать всеобщую любовь.

Отец Кирилл подходил к окну. Он не ревновал.

За окном цвел сад. В саду стоял мальчик Диёр, племянник Алибека.

У Диёра китайские глаза и хриплый голос.

Помолившись, отец Кирилл поднялся с паровозного колеса. Перешел через рельсы.

Между шпал качались колоски дикого овса и пырея.

Ветер играл рясой, занывивал, холоди́л ноги.

Отец Кирилл вспоминал вокзал Сен-Лазар, фиолетовые картошки дыма. Вокзальный буфет, где Серафим объяснял ему на прощание уравнение Максвелла.

Мир техники притягивал его. Отцу Кириллу нравилась его деловитая, уверенная жизнь, его вагнеровский гул. Неделю назад он отслужил молебен перед полетом аэроплана. Аэроплан поднялся и сделал несколько победных кругов. Публика аплодировала. Вату́тин сфотографировал отца Кирилла возле винта.

Голова немного отпускала.

Отец Кирилл достал блокнот и, оглядываясь, зарисовал корпуса мастерских. Для декораций. Для “Гамлета”.

Никаких готических башен. Корпуса, окна, лужи мазута. Выходит принц.

Перед уходом из депо заглянул в контору. Оттуда выплыли Матильда Петровна Левергер и еще две дамы. Собираются провести благотворительный базар в пользу кого-то, приходили вести переговоры.

Матильда Петровна представила дам:

— ...овна, ...евна.

Тут же забыл.

— Батюшка, милости просим послезавтра в “Шахерезаду”. В программе — стихи и романсы в исполнении самих авторов.

— А кто авторы?

— Наши местные знаменитости. Кружок любителей живого слова “Прометэй”.

— Посмотрю...

— Между прочим, будет даже один священнослужитель. Обещаете?

- Если найду время.
- Я пришлю за вами извозчика.
- Честно сказать, я не большой любитель.
- Вот вам пригласительный. Погодите, сейчас надпишу.
- И не очень себя чувствую...
- Прекрасно, вот и взбодритесь. Поэзия и музыка – лучшее лекарство, еще греки это сказали.

– Нет, пожалуй...

– Будет один сюрприз. Никому не говорю, вам откроюсь.

Подманила рукой. “Евна” и “Овна” отвернулись к окну.

– Модест Иванович согласился прочесть сонет своего сочинения.

– Ватугин?

– Столько лет скрывал свое дарование. Полдня его уговаривала. Ну как? Беру с вас обещание. – Одарила его улыбкой.

– Матильда Петровна, по поводу “Душевного слова”...

– Ни слова об этом “Слове”. У одной моей знакомой я видела эти журналы...

Это просто полное...

“Евна” и “Овна” потупились.

– Но у меня есть для вас хорошие новости. Я нашла что-то более подходящее для ваших учеников. Послезавтра захвачу с собой, обсудим...

Шел домой, переступал через арыки. Поскорее бы уже приехала Мутка.

Ташкент, 5 апреля 1912 года

А Мутка не ехала. Он почти сразу ответил ей, что не возражает против Питера, но надеется, что она понимает и т.д. После его письма наступила пауза, какая возникает на сцене между актерами, одновременно забывшими свои роли.

У них был странный брак. Брак двух странных людей и не мог быть обычным.

Хотя странными они были по-разному. Отец Кирилл, выросший в “артистическом” доме, был странным по природе, по своей нервной анатомии, но сам тянулся к простоте, быту и ясным контурам. Мутка, напротив, была из семьи здоровой, купеческой, быт которой напоминал примитивный, но крепкий механизм; сама Марфа (Мутка было ее домашним прозвищем) – крупная, чуть “лошадная” и склонная к полноте, с которой боролась курением. Он бывал в их доме на Якиманке; там пахло чем-то сытным, хотя и не совсем свежим, – “вчерашний запах”. Он видел ее фотопортрет в детстве – кукла, “нормальный ребенок”, только взгляд с вопросом. По семейной легенде, имелась прабабка-цыганка, но, кажется, ее придумала сама Мутка. У нее было две сестры, обе “нормальные”, в мужьях и детях. Внешне она была похожа на них – тяжеловатый подбородок, карие, чуть сонные глаза. Обеих презирала – за округлость, за “вчерашний запах”, за сходство с собою.

Она была четырьмя годами его младше; встретились, когда он еще был в Училище, голодный, с копною овсяных волос. Он тогда первый раз ушел из дома и жил вместе с товарищем, Кузьмой Петровым-Водкиным, в Просвирином, платя двенадцать рублей за комнату и готовя нехитрые обеды на бензинке. Подрабатывал частными уроками. Муткин отец имел прежде какие-то строительные дела с его отцом, это послужило рекомендацией. Три сестры пожелали учиться живописи; он был их наставником, голодным, поминутно откидывающим овсяный чуб со лба.

Сестры смотрели на него и по очереди влюблялись. Не найдя отклика, остывали – и к нему, и к рисованию. Последней была очередь самой младшей – Марфы, Мутки.

Была весна 1899 года, ранняя и горячая, в конце марта улицы освободились от снега, деревья наполнились птицами, барабанные перепонки разрывались от кошачьих песнопений. Он покончил в Училище с естественными науками и перспективой, был переведен в четвертый класс; дипломатические отношения с родителями были восстановлены, но домой он возвращаться не спешил. Нравилось существовать безбытно, самостно; нравилось со-комнатничество с Водкиным, его разумная волжская речь, его скрипка; они приобрели спиртовую кухню, на ней готовить удобнее. Два раза в неделю он ходил к сестрам в крашенный охрою дом; первой выбегала Мутка – пятнадцать лет, залитый вареньем томик Брюсова в руках.

Она делала успехи в живописи. Сестры, “раскрасив” несколько листов, отступили; в луче весеннего света остались только он, что-то увлеченно показывающий Мутке на планшете, и она, с приоткрытым ртом.

Потом было несколько ее работ, внезапно зрелых. Объяснение с родителями: “Марфе Сергеевне больше не нужен учитель, она должна двигаться дальше...” Ее истерика, сухая гроза без ливня. Лето было жарким, над тротуарами неслась пыль. Гремело, капли не падали. Она вышла к нему, сонная, без Брюсова, и сказала, что им больше не нужно видеться.

Он перебрался к родителям – отец сделался совсем плох, мать не справлялась с его болезнью. Дом с тремя сестрами уменьшился, сжался; в памяти задержался лишь приоткрытый рот Мутки и поцелуй под аккомпанемент падающего планшета. Он просыпался ночью, глотал черный воздух и вспоминал о ней. Ее лицо заслоняло

другое, проступало в нем, в другом – в том, которое он увидел на портрете, выпавшем из книги. (Крик отца. Голос матери: “Ну что ты смотришь?.. Это твоя несчастная бабушка, которую увели в плен”.) В ушах шумел барабан, внизу живота росла боль. Он быстро, задыхаясь от отвращения к себе, спускал вскипевшее семя и проваливался в сон.

Дальше зарябило, как в синема: отец, летящий со строительных лесов; похороны по второму разряду, еловые ветки, венки, поминки; мать в черной шляпе, он сам, снова мать и какие-то люди с шевелящимися губами. Окончание Училища, серебряная медаль, первые заказы, планы продолжать обучение за границей. Дом с тремя сестрами ужася в охристую точку; две сестры вышли замуж, растворились в мужьях, беременностях и прочей семейной химии; Мутка занималась вокалом со студентом консерватории, близоруким брюнетом.

Мюнхен, плантации хмеля, “Пансион Романа”. Живопись, архитектура, пиво. Лучше всего было пиво, чистое и горькое; после него хотелось откинуться на спинку плетеного кресла и возлюбить все сущее. Архитектура была несколько хуже. В ней тоже было что-то пивное; башни Собора – кружки с темным пивом (подметил Серый); отечность, нездоровая полнота ощущались почти в каждом строении; словно пиво текло по невидимым каменным жилам и делало рыхлой краснокирпичную мускулатуру. Живопись же местная была чистыми пивными дрожжами, на которых всходило и шмыгало пеной новое интернациональное искусство. Это тоже было наблюдением Серого – они познакомились там же, в Мюнхене, в одном из ресторанчиков: взмахнув руками, Серый взмыл из-за своего столика и опустился возле него; слизнув пивную пену, засвистел афоризмами...

Кирилл заболел – Серый узнал, прибежал, сидел рядом с его кроватью, как заботливая мать; Кирилл пошел на поправку. Стали видаться почти каждый день, спорить о живописи; спорил в основном Серый – сам с собой, сам себя опровергая цитатами из Канта, Бюхнера и своей последней статьи.

В этом царстве воздуха, чистого разума и солода он снова встретил ее. В охристом, мокром свете; он держал перед лицом кружку и разглядывал сквозь нее мир, искаженный стеклом. Длинные тени, вскипающие пузырьки. Одна тень приблизилась. Расплылась. Он опустил кружку на стол. Перед ним в белой шляпе стояла Мутка.

Да, она три года занималась живописью. У Рерберга, еще у кого-то. А вокал? А студент консерватории, брюнет? Она смеется.

Он увидел ее картины. Побродили по Пинакотеке, обмениваясь взглядами и кивками, как злоумышленники. Она написала его портрет, яркий, уверенный, не очень похожий. Побывали в “Симплициссимусе”, где дирижировала веером хозяйка KathyKobus, о которой Серый писал в культурную часть “Московских биржевых новостей”. В “Симплициссимусе” было шумно, пили, ели птифуры, цитировали Ницше и какого-то Фуркина. После одной пивной оргии он проводил Мутку до квартиры; она жила с подругой, подруги дома не оказалось.

Они стояли в луче серого электрического света. Он что-то увлеченно говорил. Ее рот был слегка приоткрыт.

Утром он проснулся в ее постели. Она сидела на полу, пила вонючий кофе и рисовала углем. На его пробуждение никак не отозвалась.

Они сняли жилье на двоих в Швабинге; дешевле и подальше от лишних глаз. А

лишних глаз в Мюнхене было много: целая русская художественная колония; русская речь звучала в парках, музеях, кафе, борделях. Впрочем, их связь никто не осудил, разве что парочка художниц, писавших вечно хмурые пейзажи. Он привык к ее картинам, к ее манере. По Пинакотеке они уже ходили чинно, как пара бургеров. Он написал ее портрет, после которого она два дня с ним не разговаривала. После очередного похода в “Симплиссимус” признались друг другу, что от птифуров и Ницше у них начинается головная боль.

Бывали дни, когда они жили словно брат и сестра, почти не прикасаясь друг к другу. Она любила сыр, могла есть его даже слегка заплесневевшим. “Где мой малахитовый сыр?” Он подходил к ней, брал за руку. Мутка собирала тюбики с краской, варила скверный кофе, шла за покупками.

Серафим часто бывал у них. Она собралась писать его портрет. Он хотел, чтобы она написала его обнаженным. Она написала его обнаженным. Он прибежал ночью и умолял ее уничтожить.

Иногда он оставался у них на ночь; Мутка бросала ему постель в столовой и клала грелку. Ночью Кирилл просыпался: из столовой неслись монологи – Серафим ораторствовал во сне; Кирилл спасался подушкой. Иногда Серафим скребся и просил разрешения платонически с ними полежать. Плюхался, холодный, как медуза, рядом. Что-то говорил о всадниках Апокалипсиса. Мутка молчала. Утром варила кофе на троих, вкуснее, чем обычно. Серафим, скинув одеяло, глядел в потолок. У него было безволосое тело андрогина, тонкая кость, и – живот. Когда молчал, казался даже безобразен. Но он почти никогда не молчал.

Он был старше Кирилла на каких-то три года. Знал двенадцать живых языков и

еще больше мертвых. Когда Мутки не было, разгуливал по комнате голым и рассуждал о византийском искусстве. Или о Вагнере – мычал, дирижировал; живот трясся. На несколько дней исчезал: молился в католическом монастыре. Возвращался; от куртки, рубашки и нижнего белья исходил запах ладана и лилий; католиком не был.

Именно от Серафима он слышал о звезде.

Шел дождь; Серафим только что вернулся из Кельна, куда ездил улаживать свои издательские дела и поклониться могиле трех восточных царей. Ворвался к Кириллу мокрым, кудри слиплись, на ушах болтались капли. Уписывал яичницу, рассказывал о Кельнском соборе.

“Zur Rechtensoll Herr Balthasar... Zur Linken Herr Melchior schweben... Это Гейне, Ein Wintermдrchen. Бальтазар, Мельхиор – те самые волхвы, о которых столько... In der Mitte Herr Gaspar – Gott weiЯ, wie einst Die drei gehaust im Leben!”[19]

“У моего отца в кабинете стояла икона Рождества с этими тремя волхвами”, – сказал Кирилл.

Серафим, как всегда, не слышал: “Надеялся, что в Кельне, в соборе, хотя бы часть той звезды... Что это было – метеорит? Комета? Почему? Тишина. Один Матфей осмелился... Замечательная яичница. Гениальная. Глазунья; глаза, исток жизни. Матфей? Да. Звезда Рождества. Три дара: слова, власти, чудотворства. Чудотворчества. От каждого восточного царя. Почему? Лучшие умы быются. Из всех Евангелий только в Матфее. И точка”. – Проткнул воздух пальцем.

Кирилл поднялся, чтобы идти спать. Вошла Мутка с постелью для Серафима; запахло немецкой прачечной.

“Часть звезды была в Вифлеемском храме, – сказал Серафим и провел по рту салфеткой. – До середины прошлого века. А потом, в одну из потасовок, а там это случалось часто, на Святой Земле, пропала...”

Мутка зевнула. Кирилл подхватил Муткин зевок, зажмурился. Но задержался возле стола, не в силах вырваться из того притяжения, которое создавал Серый своим разговором. Потом начал слушать внимательнее.

“...Вечером братья францисканцы напали на греческого епископа и монастырского врача. Те – бежать; попытались укрыться в базилике Рождества, распахиваются двери – армяне-священники тихо служат вечерю. В храме – лица, много католиков, есть и православные, шевелятся в молитве бороды русских паломников. Заварилась суматоха! По донесению русского консула, “католики набросились не только на бегущего епископа, но и на бывших в храме армян”. Во время погрома, по сообщению консула, из пещеры Рождественского собора была похищена Серебряная звезда, указывавшая место Рождества Христова. Звезда принадлежала грекам, подтверждая их право на владение этим местом. Из вертепа были также вынесены греческая лампада и греческий алтарь...”

“Чтобы его ноги у нас больше не было”, – сказала Мутка, засыпая.

Кирилл молчал и думал о звезде. Из столовой потянуло сыростью и дождем. Кирилл нырнул в тапки и выбежал посмотреть. Окно было распахнуто, на нем белел Серафим, воздев к луне руки. “Прощайте все!” И еще что-то на арамейском. Кирилл успел ухватить его за край ночной рубашки и стащить. Серафим кусался и кричал о трагической судьбе культуры. Утром долго мылся; Мутка гневно вертела кофемолку.

Серафим оросил себя одеколоном, разлил кофе и исчез. Возможно, в монастырь, к лилиям и органу.

Через три дня они с Муткой поссорились. Мутка молча ела сыр, он складывал вещи. Мюнхен осточертел. Пиво, архитектура, занятия у Хаберманна, русская колония, деревья, горы – все. Кладбище картин (Пинакотека). Серафим со своими философами и бледным животом. Мутка с ее талантом, рядом с которым ему становилось тяжело дышать; ее точный, “пощечинный” мазок; ее смех; незаживающий полумесяц от ее ночного укуса на левом плече.

Хлопнул дверью и уехал в Париж. Мутка осталась сидеть с сухим ломтиком сыра на синей тарелке.

Снова мелькание фильма. Париж, шум, новое зрение. Мюнхен – пиво современной живописи, Париж – ее абсент (наблюдение Серого). Письмо от самого Серого из Мюнхена с просьбой “подумать о Мутке”. Подумать? Он о ней и так думал. Ел, пил, покрывал холст мазками, глядел в Сену, спорил о живописи, стриг тупыми ножницами бороду, мочился, бродил в общественном саду, спал с временной женщиной – все время он думал о Мутке. Ему было сладко и плохо; ночью он жил, а днем отлеживался, просыпался от голода, шарил в пустоте в поисках булки, засыпал.

У него появился друг – Такеда, японец, подражавший Ренуару. Стали жить вдвоем: развращенный богемой японский аристократ и он, Кирилл, “Кириру”, как его звал Такеда, так и не осиливший фатальную для японцев “эл”. Такеда: фигура мальчика, тонкое запястье, аристократическая форма черепа; молчаливый, нервный. Вскоре Такеда отбросил Ренуара и начал подражать “Кириру”; сам же Кирилл осветлил палитру, изгнал “асфальт”, темные цвета, властвовавшие над ним в

Мюнхене, стремился разложить все на ясные цвета и простые геометрические формы. Картины: “Парижское кафе”, “Такеда в Мулен-Руж”, “Синяя натурщица”.

Ворвался в Париж Серафим, пришел в восторг от картин, от Такеды, прочел Такеде целую лекцию о японской культуре; перед новыми картинами Кирилл встал на колени и произнес молитву на санскрите. На вопрос о Мутке выдал какую-то глоссологию; простившись, убежал. Прочел для французских рабочих лекцию о Тертуллиане; Такеда сходил, очень хвалил, но сказал, что ничего не понял. Кирилл сидел на подоконнике, ел вишни и глядел в электрическое небо Парижа – они квартировали на Монпарнасе.

“Я хочу нарисовать картину, – сказал в мерцающую темноту Кирилл, – на тему поклонения волхвов”.

Такеда посмотрел на него, но промолчал. Он был виртуозом молчания.

Вскоре Такеда уехал: был вызван телеграммой на родину, отец при смерти, долг старшего сына. Серафим уехал еще раньше – помолодевший, почти без живота, еще более безумный. Кирилл садился на подоконник; внизу горел Париж; из соседнего дома выползала на заработок Мишель по кличке Мышка, ничего особенного, но на безрыбье... Через неделю он уехал. Ветер стучал в окно купе, листал блокнот; Кирилл делал дорожные зарисовки в геометрическом стиле. Хотел проехать через Мюнхен; не проехал. Да и для чего Мюнхен? Мутки там не было.

Мутка была в Москве. Грустная, похорошевшая. Встретились в “Треке”, дружески. Зашуршал дождь воспоминаний. Мюнхен, воздух, пиво, живопись. Рассказал ей о Париже, о нынешнем своем кризисе; она – о Швейцарии, где оказалась из-за болезни легких. Проговорили до полуночи; он проводил ее, она жила

с какой-то подругой; подруга оказалась дома. Он спросил, что она делает завтра. Очень занята (натурщик, какая-то Петровская, урок на Маросейке). И послезавтра тоже, честное слово.

Дома его ждало письмо от Такеды. Отец опочил, буддийские монахи пропели над ним необходимые молитвы и сожгли; Такеда получил наследство, поселился в просторном доме недалеко от парка Уэно (первый раз услышал это название). В доме оборудовал мастерскую. У него бывают известные художники (перечень ничего не говорящих японских фамилий) и молодежь. В Уэно зацвела сакура. Дни теплые, ночами сыро, печально квакают лягушки.

В конце письма звал погостить на несколько месяцев. Ознакомиться с Японией. Поговорить о современном искусстве. Вспомнить добрые старые дни на Монпарнасе. Посозерцать, как расцветают лотосы в Уэно. NB: путевые издержки Такеда берет на себя.

Кирилл вспомнил насмешливый взгляд Мутки при прощании.

Итак, он едет в Японию, смотреть на расцветающие лотосы.

Перед отъездом зашел к Мутке. Она была дома, что-то чертила сангиной. Сообщи, что уезжает. “Надолго?” – “Надолго”. Не отрываясь от сангины, пожелала доброго пути. Он постоял молча. “А у Туси третий родился, мальчик”, – сказала. Туся – Наташа – средняя сестра. Он заметил, что она рисует сангиной детское лицо. Выходя от нее, идя по улице, чувствовал на себе ее взгляд. На спине, на плечах, на затылке.

Плыл морем, менявшим цвета. Читал Новый Завет, с интересом. Курил на палубе, обдумывал “Поклонение волхвов”. В Порт-Саиде написал ей открытку. Не

отправил.

Япония. Разговоры о современном искусстве со слегка растолстевшим Такедой. Быстро наскучившие обоим воспоминания о Париже. Поездка в Камакуру; черный песок пляжа. Первое охлаждение с Такедой. Лето, пот, кризис; смотреть на лотосы не пошел, заперся в комнате, размазывал по щетине слезы. Чтобы не сойти с ума, начал учить японский. Чтение Нового Завета, попытка вернуться к реалистической манере; картины: “Пруд в Уэно”, “Старый крестьянин”, “Гинза в дождь”. Первый приступ болезни у Такеды; просит отложить отъезд до осени. “Портрет Такеды”, “Портрет литератора Сосэки”; успехи в японском. Все чужое. Письмо от Серафима, огромное, шумное; упоминает о связи Мутки с художником N. Эскиз Марии и младенца к “Поклонению волхвов”; у Марии – круглое лицо Мутки, ее глаза, губы, брови. Покурив, уничтожил.

Утро, ветер, красный храм, остывающие каштаны в кармане. В другом – револьвер. Парк Уэно. “Пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят”. Пруд, гниющие плоды лотосов. Ветер срывает шляпу. Широкополую, купленную на Монпарнасе.

Он мог бы застрелиться и без шляпы.

Но побежал за ней. “Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться ему”. Владыка Николай поднимает шляпу и медленно протягивает ему.

Через полгода он стал чтецом православного собора на Суругуде. От Такеды съехал, перебрался в здание миссии. Такеда, помаявшись в клинике для нервных больных, переродился, занялся политикой, финансировал газету; их отношения прервались. Письмо от Мутки, совершенно новое; затеплилась

переписка. Началась война, Порт-Артур, пришлось уехать. Уезжали все русские. Лил дождь, глушил разговор, русскую речь. Владыка Николай оставался; Кирилл желал остаться с ним, даже обратился к Такеде за содействием. Такеда внимательно выслушал и развел руками.

Москва, Лавра, Духовная академия. Встречи с Муткой, разговоры. Выяснилось: связь с художником N. – фантастический вымысел Серафима; сам Серафим где-то в Германии, пропагандирует русский лубок. Мутке двадцать четыре года, родители подталкивают замуж, боясь иметь возле себя старую деву, еще и художницу при этом.

Повенчались в Никольской, что на Маросейке. Свадьба была быстрой и тихой; художники, священники, купеческая родня. Мутка устала; ночью выползла из венчального платья, размотала волосы и тут же уснула. Он, помолившись, пристроился рядом; глядел на ее голую спину, на которую падал зеленый лунный свет, думал. За два дня до того получил первое письмо, подписанное “Курпа”.

Отец Кирилл так и сидел со стопкой писем от Мутки.

Собрался перечитывать, не смог.

На “арапчатах” шуршит секундная стрелка. По стеклу ползет пчела.

Вышел во двор. Провел граблями по гравию. Малый сад камней, сухой океан; рождение, перерождение, и снова. Каменный фонарик, куски мха. И все снова и снова.

Вспомнил, как на исповеди баба, из железнодорожных, скучно перечисляла грехи и вдруг, дойдя до гневанья на мужа, завывала (шепотом): “Задыхаюсь я с ним... Задыхаюсь...” Муж стоял неподалеку, жевал губами усы. “Задыхаюсь...”

Облитая ветром, зашумела урючина.

В глубине, возле котелка, сидел Алибек. Вода в котелке заиграла – скоро закипит. Отец Кирилл опустил, поглядел на слепого садовника. Захотелось поговорить с ним (с кем-то) о Мутке, о ее приезде. О том, как она войдет в этот дом, как будет привыкать к здешнему воздуху, солнцу, провинции, невежеству, к океану перерождений из камней и сухого мха.

Алибек, поправив огонь под котелком, поглядел пустым глазом на отца Кирилла.

– Ну и на сколько сегодня тьмы больше, чем света, Алибек?

Ташкент, 6 апреля 1912 года

Докурив, Казадупов читает документ.

Утро. Перед Казадуповым – кусок хлеба; при чтении отщипывает. Отщипки отправляет в рот или кладет рядом и забывает о них. Документ он уже читал, теперь перечитывает перед встречей с отцом Кириллом.

Речь о недавних событиях в Оше.

“Ошский уездный начальник. Сентябрь 27 дня 1911 года. Военному губернатору Ферганской области. Рапорт.

Доношу Вашему Превосходительству, что произведенным дознанием удалось выяснить нижеследующие обстоятельства по делу об избиении евреев.

25 сентября, часов в 11 дня, среди туземцев Сарай-Кучинского общества гор. Оша стал циркулировать слух о том, что якобы евреи, проживавшие в этой части

города, затащили к себе в дом какого-то мусульманского мальчика”.

Казадупов берет карандаш и жирно подчеркивает “мусульманского мальчика”.

“Установить, кем был пущен этот слух и имел ли он какое бы то ни было основание, пока не удалось, но толпа около еврейских домов (четырех), расположенных в одном месте, стала расти, и к полудню собралось около 1000 человек. К несчастью, к этому времени к толпе подошла одна сартянка и стала спрашивать, не видал ли кто ее 5-летнего сына, которого она ищет уже целое утро. Это совпадение (т.к. мальчик потом был найден на базаре) послужило как бы подтверждением справедливости слуха о том, что какой-то мальчик был захвачен евреями, и толпа стала волноваться.

Вскоре из среды ея выделилось несколько человек, которые вошли в дом еврея Гадалева и стали искать там пропавшего мальчика, так как молва почему-то указывала, что мальчик был увиден именно в этом доме. Розыск этот, конечно, не дал никаких результатов, но это толпу не успокоило; вскоре туда прибыл Старший аксакал, волостной управитель и несколько полицейских. Для успокоения толпы эти должностные лица вновь вошли в дом Гадалева для розыска мальчика, но тоже поиски оказались без результата. В доме Гадалева в это время находились человек 8-10 евреев, собравшихся к нему по случаю еврейского праздника”.

Казадупов подчеркивает “праздника”. На полях: “Уточнить”.

“Евреи страшно перепугались, стали кричать и плакать, в это время туда приехал и Пристав; успокоив слегка толпу и выслушав от нея молву о нахождении в доме Гадалева какого-то мальчика, он сказал собравшимся, что сейчас лично проверит этот слух, и вошел в дом; в то время, когда Пристав производил обыск,

еврей Хия Абрамов, находясь в нервном состоянии, неистово кричал и требовал, чтобы его отправили в его квартиру, находящуюся поблизости от Гадалева; бывшие тут евреи исполнили его просьбу, а так как Абрамов от испуга лишился сил, то его понесли евреи; когда они вышли на улицу, то Абрамов продолжал кричать, и, по-видимому, появление кричащего Абрамова раздражающе действовало на толпу туземцев, и евреев стали бить; поднялся крик и Пристав вместе с чинами полиции выбежал из дома Гадалева...”

Они шли по саду.

– “...под их прикрытием евреев удалось дотащить до квартиры Хии Абрамова”.

Казадупов посмотрел на отца Кирилла.

– “После ухода Пристава в квартиру Хии Абрамова квартира Гадалева и другие соседние с ней еврейские квартиры остались беззащитными и толпа, проникнув в еврейские дворы, стала бросать в окна домов камни, которые и причинили большинство ушибов евреям, а главное, их женщинам, остававшимся дома”.

Казадупов остановился возле шелковицы и погладил ствол:

– Ну вот... Хотите спросить, для чего я вам это читаю?

Лицо отца Кирилла. Нос, ухо.

Глаза прикрыты.

Да, он был в Оше в те дни.

Приехал за два дня до беспорядков. Кто мог предполагать? Обычный туземный город. Над городом гора. Базар, арыки, небо. Бирюзового оттенка, как если добавить в кобальт немного звенигородской зеленой. NB: накладывать на холст пастозно,

сразу, без подмалевки.

В тот день он слышал гул толпы. Так гудит ветер, срывая с крыш ржавые листы. Но день был тихим, и небо было зеленым. Он сидел у отца Василия из местной церкви. Отец Василий показывал ему поделки, выпиленные собственными руками.

“Кроме того, толпа туземцев, окружавшая квартиру Хии Абрамова, еще до возвращения туда самого хозяина и других евреев, шедших под прикрытием чинов полиции, ворвалась во двор и стала бросать камни в окна как с улицы, так и со двора, двое из бывших в этом доме евреев, а именно: Мануэль Аширов и Исхак Хаим Пилясов – хотели бежать, для чего забрались на крышу соседнего дома, но там оказались сарты, которые ударом по спине спихнули с крыши Аширова обратно во двор Хии Абрамова; второй же еврей Пилясов, преследуемый толпою, побежал по крыше и был застигнут толпою, которая поволокла его, привязав обрывок веревки к ноге и ситцевый платок к руке...”

Они рассматривали игрушки.

“Шум какой-то”, – сказал отец Кирилл.

“Да...” – Отец Василий держал в руках деревянную птицу.

Застучался в окно пацаненок: “Батюшка! Папаня сказал, чтобы дома сидели, беспорядок в городе!”

Отец Василий выглянул в окно: “А что там, не сказал?” – Обернулся. – “Убежал...” – Поглядел в угол, на икону-краснушку Владимирской.

Отец Кирилл поднялся.

“Пилясов был убит камнями, о чем свидетельствовала целая куча окровавленных камней, лежащих как на нем, так и возле него. Камни эти толпа

поднимала тут же на улице, так как булыжник валяется повсюду. Как разыгрался случай с убийством Пилясова, в точности неизвестно, т.к. при этом не присутствовало никого из чинов полиции, защищавших в это время евреев на улице между квартирами Гадалева и Абрамова. По-видимому, толпа, совершив убийство, как бы одумалась, т.к. Пристав, прибывший туда несколько минут спустя, уже не застал толпы, которая разбежалась”.

Он видел эти камни, испачканные красною краской. Тело уже унесли. Зеленое небо, синие камни, красная кровь.

– Ну вот. – Казадупов водил ладонью по стволу шелковицы. – Хотите спросить, для чего я вам это читаю?

– Да, я был в Оше в те дни.

– Ради встречи с Курпою?

– Да. Я получил письмо...

– От кого?

– Без подписи.

– Оно у вас сохранилось?

– Нет. Оно исчезло в то же утро, когда и всё.

– Что было в письме?

– Просьба заехать в Ош на пути из Верного. Они откуда-то знали, что владыка вызывал меня к себе.

– Но это неудобная дорога – через горы.

– Да, туда я ехал через Чимкент. А обратно пришлось сказать, что, мол, желаю

осмотреть Ферганскую долину... Владыка благословил, передал почту для отца Василия.

– Вы видели самого Курпу?

– Не уверен, что это был Курпа... Он написал, что встретится со мной на Троне Соломона.

– Где?

– Тахти Сулаймон. Гора местная. Высокая. – Замолчал.

“Привязав обрывок веревки к ноге и ситцевый платок к руке...” Ситцевый платок.

– Я решил осмотреть гору за день до встречи. Сказал отцу Василию, что интересуюсь местными обычаями. Тот помог найти вожатого из местных, Кадыр звали. Сказал только, чтобы рясу снял: неудобно да и опасно...

Они поднимались утром. Город внизу уменьшался, небо расширялось и обливало их светом. Но смотрел на небо редко, больше под ноги. Один раз он уже бывал в горах, в Баварских Альпах, с Муткой; Серафим пропел перед восхождением молитву горным духам, но тропы были комфортабельными, перевал невысоким, а за ним скатертью-самобранкой развернулся гастхауз, где варили отличное пиво... Подъем на Трон Соломона был другим. Тяжелым, мокрым, с боем в ушах. Мимо шли толпы женщин. “Хотят детей”, – пояснил Кадыр, провожатый. “Кого?” – “Детей. Из других городов приходят. Эти вот... наманганские. Детей нет, пришли Сулаймона просить”.

Босые ступни женщин. Видел, как снимали свою обувь внизу, оставляли под

присмотр. Одна, видимо, порезалась о камни. Шла, оставляя красный след. Десятки женщин. Лиц он, разумеется, не видел. Попадались и мужчины.

Наконец поднялись. Отец Кирилл отер ледяной лоб. Небо втекало в глаза, ноздри, уши.

На камне сидело трое мулл. Кадыр пошел договариваться. Один из троих поднялся.

Отцу Кириллу показали каменные следы колен Соломона. Следы пальцев Соломона. Следы его слез. Огромный, плоский Трон Соломона, отполированный до серого блеска.

По трону вниз животом съезжали женщины.

“Странные у них географические понятия”, – говорил вечером отец Кирилл. “Соломон – это ж Ближний Восток, Иерусалим...”

“Они считают Соломона пророком, – отозвался отец Василий. – А у пророков – своя география. И еще верят, что Соломон переносился сюда с помощью духов. А это, согласитесь, весьма быстроходный вид сообщения... Берите вот айву, сочная”.

Стол у отца Василия был как из “Тысячи одной ночи”. Фисташки, сушеный урюк, халва, фрукты.

Поздно вечером, помолившись, отец Кирилл тихонько выскользнул из причтового дома. На улице его уже ждали. Арба закрипела огромным, в человеческий рост, колесом. Город засыпал рано, на улицах – пустота. Быстро добрались до подножия.

– Вы снова взобрались на гору? – Пенсне Казадупова блеснуло.

– Меня подняли. Двое молодцов подхватили, и наверх. Сам бы, наверное, не

смог. Было уже темно. И ноги после дневного болели.

– Подробнее... Лица...

– Лиц не помню. Обычные, туземные. Тропу знали как свои пять пальцев. Один раз только остановились: осыпь пошла.

Он слышал только их быстрое дыхание. Один держал его за плечи, другой – за ноги. Видно, так втаскивают туда тех паломников, кто не может подниматься сам. Несли почти бегом. Дыхание, запах пота. Вдруг замерли. Посыпались камни. Сыпались и летели в темноту.

– Когда поднялись, там уже были люди. Десять, может, больше. Кажется, женщины тоже. Дальше помню плохо. Поднесли пиалу с чем-то горячим, сказали, чтобы выпил.

– Заставили?

– Нет. Обращались вежливо. На земле стояло блюдо с коконами шелкопряда. Каждый подходил и брал один. Меня подпустили первым. Возле блюда на корточках сидел старик. Заставлял открыть рот и вкладывал туда кокон. Когда все взяли, блюдо облили чем-то и подожгли. Стал виден огромный камень. Ну, тот самый, Трон Соломона, по которому днем съезжали женщины. Над ним держали горящее блюдо.

– А на самом Троне сидел...

– Мальчик.

Нос Казадупова покрылся каплями пота. Пенсне съехало, оголились серые, с болотным ободком глаза.

– Вы уверены?

– Да. Возле камня на коленях стояли двое. Один старик, кажется, тот, который

сидел возле блюда. Думаю, это и был Курпа. Меня втолкнули между ними.

– Вы что-нибудь чувствовали?

– Да. Радость... – Помолчал. – Наверное, от той пиалы. Не знаю, что там было. Но не кукнар[20].

Отец Кирилл поглядел на ветку вишни.

Дерево еще не отцвело. Пчелы.

Спустили его тем же способом. Проскрипела по пустым лабиринтам арба. Чуть пошатываясь, прошел по спящему дому. По ошибке ткнул дверь хозяйской спальни; отец Василий открыл глаза: “Отец Кирилл, там горшок у кровати, нечего во двор в такую темень...” Прикрыл дверь, нашел свою комнату. Икона Богородицы в грубом казацком окладе. Ватными губами молился. Так на коленях и заснул. Проснулся поздно, вышел; отец Василий уже за чаем, свежий, седой, умытый. Отец Кирилл тоже привел себя в порядок; в голове была тяжесть, но за чаем и разговором прошла. А потом тот вой, и стук в окно, и деревянная птица в руках отца Василия.

– Вы никак не связывали того мальчика, которого видели на горе, с тем, из-за которого... – спросил Казадупов.

– Нет. Я ведь и не знал, из-за чего там началось. А на следующий день уехал.

Вечером он ходил по еврейским домам, подвергшимся погрому. В одних не открывали, боялись. В других впускали, косились на его рясу, молчали. В третьих брали за руку, подводили к выбитым окнам, камням, задирали рукава, показывали ушибы. Выходили старики с синими ладонями – красильщики, выходили их жены в тяжелых платьях. Местные, туземные евреи; иранская речь, всхлипы. Он оставлял

деньги, небольшие суммы из полученных в Верном, и быстро уходил. Только в одном доме задержался. Не то чтобы дом этот сильно пострадал; никто не вышел к нему, под ноги бросилась тощая коза. Было темно и бедно; некрасивая женщина качала ребенка; обхватив голову, сидел мужчина. Отца Кирилла они словно не увидели. Женщина продолжала качать, только улыбнулась, обнаружив отсутствие переднего зуба, а мужчина так и сидел и дергал слегка ногою. Отец Кирилл положил рядом с лампой деньги и вышел.

Зеленое небо, окаменевшие слезы царя Соломона. Бездетные женщины с кровавыми стопами. “Папаня сказал, чтобы дома сидели, непорядок в городе!”

Они в комнате. Казадупов – поджав ноги по-турецки, отец Кирилл – возле “арапчат”.

– Неужели вы, батюшка, не побоялись подняться на гору? Могли ведь и убить.

– После одного случая у меня почти исчез страх смерти, – отвечает отец Кирилл. – Осталось только детское любопытство.

Парк Уэно. Дует ветер. Он прячет револьвер и бежит за своей шляпой.

– Да и служба у священника такая – возле смерти отираться. Привыкаешь. К тому же я надеялся, что наконец узнаю...

– Что?

– Курпа написал, что ему известно... Известно, где находится Николай Триярский.

– Ваш дядя, тот самый? Попавший в плен к киргизам и проданный в Бухару?

– Да.

Бухара, 26 апреля 1861 года

Раб человек в Бухаре уважаемый. Особенно перед продажей которая для раба как свадьба только гостей не зовут и песен не запевают а вместо муллы приходит маклер тряся бородой и сделку благословляет. Уважение же к рабу происходит оттого что раб имеет цену и его можно продать а что можно продать то священо. Вот видишь пошел человек нет не этот а вот тот маленький серый как мышь тюбетейкой накрыть можно водоноша или сиделец в лавке или еще какое-нибудь мелкое базарное насекомое какая ему цена? правильно нет ему цены накроет его судьба своей свинцовой тюбетейкой и омин! бегите за мастером из квартала обмывальщиков трупов жизнь такого человека дымок от светильника фу! и где он? как дым не имел стоимости и рассеялся едва пощекотав ноздри.

Абдулла-Живот отошел от окна и уселся на ковер в пальцах защелкали четки. Даже четки Абдулла перебирает как счетные кости деловито и с прищуром. Торговый человек Абдулла умный человек Абдулла истинный бухарец. Раннее утро шевелится за стеной караван-сарая наполняя улицы всхлипами веников плевками водоношей и скрежетом городских ворот. Абдулла слушает эту музыку и гладит себя по крепкому как арбуз животу признаку здоровья и благосостояния. За формой своего живота Абдулла тщательно следит и в бане в особой комнатке для сбривания волос строго осматривает его в зеркальце не нарушилась ли его приятная форма не начал ли свисать или набок как курдюк заваливаться? ухаживать за таким красивым животом в его годы дело хлопотное.

Впрочем кому как не Абдулле знать цену человеческому телу приятному на

ощупь и отдохновительному для глаз? скольким рабам он смог придать товарный вид творя цветущие розы из пыли и рахат-лукумы из нечистот а уж какие безнадежные случаи бывали такой товар завезут что аппетит теряешь и даже музыка эта утешительница разбитого торговыми неудачами сердца не помогает. Или окажется раб с болезнью он раб существо хитрое чуть что не по нему тут же болеет тратся на разные лекарства и амулеты или даже болеть ленится и сразу умирает негодяй знает что Абдулла человек добрый похороны устроит с плакальщицами муллою и другими непредвиденными расходами. Опять Абдулла ночи не спит кальяна не курит переживает что от этих забот живот усохнет или дряблым сделается или набок как курдюк завалится. Бежит в баню вытирает от пара зеркальце и нитью окружность живота измеряет трижды хвала! сияет живот Абдуллы полной луной в сумерках бани и плещет на него Абдулла воду из ковшика. А там и амулеты и заговоры помогут и раб идет на поправку томный сонный готовый к продаже. Но сегодня Абдулла чувствует что пройдут торги как песня как свадьба даром что гостей не позовут и карнаи под самые небеса не взлетят чтобы даже самым глухим ангелам удовольствие было.

Как в каждом истинном работоторговце в Абдулле жил поэт. Нравились Абдулле беловолосые рабы с северного десятого климата со светлыми как лезвие клинка глазами в самую грудь Абдуллы входил такой клинок и будь у Абдуллы сердце но как у истинного работоторговца сердца у Абдуллы не было вот живот был виден а сердце нет. Оттого вся поэзия помещалась у Абдуллы не в сердце а в животе нежном и отзывчивом к поглаживанию веточкой райхона и если водить веточкой по животу то перед взором начинают возникать разные локоны родинки и шайтан знает что.

Поэтому ценил и уважал Абдулла тех рабов которые умели с его животом обращаться и превращать таким образом его Абдулла в поэта а если поступал товар с северного климата то Абдулла даже без этих упражнений в поэта превращался потому что ценится северный раб в Бухаре как товар толковый и образованный.

Раб за стеной разлепил глаз. Темная, как внутренность протухшего яйца, худжра. Руки связаны, пошевелил затекшими пальцами.

Это его третья продажа. Дважды он бежал, дважды ловили и возвращали. Ему прожигали подушечку большого пальца на левой руке, его кормили солью, он провел ночь в зиндане в живом саване из клопов. Ему грозились отсечь язык, его лечили, за ним ухаживали; его хотели женить, даже показали издали будущую жену; будущая жена читала книжку, а потом стала подбрасывать и ловить два граната; книжка означала тонкость души, а летающие гранаты – ловкость и веселость нрава. Но он бежал; его ловили, секли, продавали новым хозяевам; никто не мог понять, что же ему еще нужно.

Десять лет рабства, побегов, пыток почти не отразились на нем. Все то же молодое тело, только слегка выгорели брови, осунулись щеки, голубые глаза стали казаться еще больше и синей. Самым удивительным был голос – чистый, как ручей, останавливавший не раз руку с поднятой плетью и язык, изрекающий смертный приговор...

Пленник повернулся на другой бок. В ушах забившейся мухой жужжала речь Абдуллы-Живота, который ходил по худжре и разговаривал сам с собой.

Если покупаешь раба то будь внимателен ибо покупать людей наука трудная. Много хороших рабов а если посмотреть на них ученым глазом то выйдет наоборот. Многие полагают что покупать рабов дело торговое но знай что покупка рабов это наука и относится она к философии. Ибо познать человека при покупке можно только наукой проницательности а наука проницательности целиком входит в философию.

Первое условие проницательности таково когда покупаешь раба хорошенько все обдумай ибо покупатели на рабов бывают различные бывают такие что смотрят на лицо а на тело и остальное не смотрят бывают и такие что не смотрят на лицо а смотрят на тело и остальное хотят тонкого и изящного или жирного и мясистого. Смотри однако на лицо лишь затем на тело ибо лицо его всегда придется видеть а тело только по временам. Прежде всего смотри на глаза и брови потом на нос и губы и зубы потом смотри на волосы ибо Господь великий и славный всем людям красоту вложил в глаза и брови а изящество в нос а сладость в губы и зубы а свежесть в кожу лица а волосы на голове сотворил украшающими все это.

Раб которого покупаешь для личных покоев и общения должен быть в меру высок и низок с мягким мясом и тонкой кожей с длинными ресницами и прямым носом тонкой талией и жирным задом и должен он быть с округлым подбородком и красными губами и белыми и ровными зубами. А признаки раба годного для наук таковы он должен быть стройный с умеренными волосами и умеренным мясом белый розоватый с широкой ладонью большим промежутком между пальцами широким лбом темно-серыми глазами безгранично склонным к смеху. А признаки раба годного для музыки таковы с мягким мясом и сухощавый и с тонкими пальцами

подошва ног ровная но остерегайся раба у которого мясистое лицо ничему болван не научится. А признаки раба годного для охраны гарема таковы темнокожий с кислым лицом сухошавый с тонкими волосами и жидким голосом тощими ногами и толстыми губами приплюснутым носом короткими пальцами но берегись рыжих и чтобы в глазах у него влажность такие любят женщин и сводничают.

Раб пошевелил затекшими пальцами. Медленно, медленно прорастала в нем, как болезнь, сквозь звук ветра и дыхание его музыка.

Пять ладов-макамов из двенадцати.

Макамат ушшак, Солнце в башне Овна. Гаспар рождается в десятом климате, где властвует северный ветер, солнце в летние дни не заходит и похоже на перезрелый плод хурмы, люди там с белой кожей, характер холодный и влажный, мужчины не бреют головы, не обрезают крайней плоти и любят разные приспособления, а женщины оголяют себя и мало едят. Как и положено младенцам десятого климата, его опускают в воду и поют над ним молитву в макамате ушшак, рядом стоят его родители с поднятыми руками, на траве резвится овен, на яшмовом столбе вьет гнездо голубка. Солнце в башне Овна, макамат ушшак.

Макамат хусейни, Солнце в башне Тельца. По оговору его заточают в тюрьму в десятом, северном, климате, рядом с ним кувшин, к краю зиндана приходит его сестра, которая тайно принесла ему хлеб и финики; она отрезает от своих волос локон и протягивает ему. Рядом с зинданом на троне сидит Великий Белый царь, властитель десятого климата, с головой тельца, перед ним огромный кумган с вином, не имеющим цвета, но имеющим великую пьянящую силу, и юноши-

музыканты, исполняющие макама́т хусейни, в то время как взгляд Белого царя устремлен на лицо сестры. (“Бедная Варенька, что ей пришлось претерпеть... Бесчестье, исчезновение Левушки, беременность, роды в монастыре, потеря Ионы, побег...”) Солнце в башне Тельца, макама́т хусейни.

Макама́т раст, Солнце в башне Близнецов. Благодаря заступничеству сестры, он помилован и сослан в крепость Нау-Юрт[21], что в восьмом климате, где властвуют северный и западный ветры, земля плоская, люди ленивы, мужчины то обрезают крайнюю плоть, то не обрезают. В крепости он встречается своего Близнеца, владетеля двух звезд, посвященного. Из-за козней местного лекаря Близнеца казнят под макама́т раст, он падает на землю и умирает. Гаспар оплакивает его и срезает локон. (“Павлуша Волохов, обитатель гошпиталя. Простите, прогуливаюсь вот, знаете. Господин Казадупов, фельдшер, прогнали меня гулять, делай, говорят, моцион, а то сидишь и сидишь, а сидеть вредно. Вот и брожу, пока они по мне не соскучатся и обратно в помещение не пригласят...”) Солнце в башне Близнецов, макама́т раст.

Макама́т буселик, Солнце в башне Рака. Он, беглец из крепости Нау-Юрт, плененный Беком Темиром, продан в рабство в седьмой, благословенный, климат. Характер людей здесь сухой и горячий, они склонны к мздоимству и тайным учениям, их женщины стыдливы, однако те, кто отбрасывают стыд, ведут себя подобно самкам джейрана. Он пытается бежать, его ловят, бросают в зиндан. Вторая продажа, его покупает старик купец, оказавшийся тайным сводником. Целый день его не кормят, под вечер дают возбуждающие кушанья и сдают ради утех одной вдове, чье имя он так и не узнал, знал только, что она родилась под созвездием Рака

и потому самым чувствительным ее местом является грудь. Он долго занимался ее грудью, доводя вдову до исступления без прикосновения к другим местам, а вдова, проведая, что он родился под знаком Овна, уделяла внимание его голове, лаская языком, смоченным гранатовым соком, за его ушами и покусывая бритый затылок. Когда он уже был без сил, она забиралась на него и не спускалась до самой утренней звезды, которая поднималась над ее разметанными волосами. Слепой старик музыкант, которого вдова держала для украшения их свиданий музыкой и пением, исполнял, в макамае буселик, песню о соловье, обращавшемся со словами любви к розе, и потом отвечал голосом розы. На рассвете они, соловей и роза, от изнеможения лишались чувств; старик оборачивал музыкальный инструмент куском материи и уходил с мальчиком-поводырем. Прожив так в башне Рака, пленник почувствовал усталость, и жизнь в седьмом климате стала для него безрадостна. Подслушав разговор старика с поводырем, он узнал, что силу вдове сообщает макамаат буселик, который вместе с макаматами ушшак и наво дает силу и удовольствие. Он подговаривает старика переменить макамаат во время своего пребывания с вдовой. Старик, испытывая приязнь к пленнику и предчувствуя скорый конец своих дней, соглашается. Когда вдова изнемогала от ласк и ее эфирное тело, поднимаясь все выше в стихии огня, дошло до сферы белого пламени, музыкант неожиданно заиграл макамаат рахави, по телу вдовы прошла судорога и она испустила дух. (“Я с трудом поднялся; ледяной сок затекал в глаза и рот. Она лежала, раскинув тяжелые некрасивые ноги. Я не хотел ее смерти, но жизни ее – такой – я не хотел еще больше. Наклонившись, я поцеловал ее в левую грудь, грудь была еще теплой и ответила легким вздрогом; правая грудь словно смотрела на меня с укором.

Я отрезал локон от волос вдовы. Нужно было бежать”). Солнце в башне Рака, макама́т буселик...

Теперь он в макама́т рахави, Солнце в башне Льва. После бегства он странствовал с артелью бродячих строителей, возводил купола и арки. Был опознан как беглый раб, брошен в ров с львами, ему является ангел, львы отходят. Ангел отрезает от гривы льва локон, дает ему. Через три дня он поднят на солнце. Слух о его чудесном спасении разносится по всему седьмому климату, его считают святым, поклоняются ему и снова продают в рабство. Абдулла-Живот готовит его к продаже: покрывает его тело розовым маслом, отбеливает зубы древесным углем с солью, подкрашивает губы соком граната...

Место называется Пойостона караван-сарай Пойостона любого спросите где все укажут известное всей Бухаре место караван-сарай Пойостона если просто Пойостона скажете тоже поймут это как если идти к Самаркандским воротам можно любого посреди улицы спросить мир вам как здоровье как настроение как идут дела здоровы ли ваши родственники мир ли в вашем доме а где у вас тут Пойостона? И все объяснят и даже проводят и по дороге расспросами развлекут мол откуда вы из каких краев будете потому что понятно что вы нездешний здешние Пойостону прекрасно знают с молоком матери Пойостону впитывают матери Пойостоной детей вразумляют будущь вот так и так себя вести отдам в Пойостону негодника. И дети сразу становятся мягкие как курдючное сало. Потому что много историй про эту Пойостону о том как детей крадут в неверных обращают а потом в Пойостону. В самой Бухаре не крадут это туркмены или киргизы этим ремеслом

занимаются и не только детей но и взрослыми не брезгают а чем еще им в пустыне заниматься? ни зверя благородного ни птицы вот и охотятся на человека это у них потомственное их от этой привычки уже не отучишь. Персов-шиитов нам сюда сбывают а наших наоборот в Персию потому что мы шиитов неверными считаем и они нас той же монетой благодарят вроде соседи а друг дружкой понемногу приторговываем хотя от этого и вера укрепляется и торговля цветет вот как Пойостону отстроили.

Так думал Косой Хабиб сам тайный шиит хотя о том что он тайный шиит не знала даже его жена да и он сам об этом иногда забывал. Шиитство перешло Хабибу от отца вместе с торговлей снадобьями и склонностью к частым головным болям и Хабиб воспринял эту тайную веру как самую неприбыльную и хлопотную часть отцовского наследства но наверняка на каких-то небесных торгах и базарах имеющую свою цену. Так иная жемчужина смотрится тусклой но дай ее сглотнуть петуху через три дня зарежь вскрой желудок и извлечешь оттуда жемчужину обновленной и сверкающей. Так и свое тайное шиитство Хабиб считал вроде проглоченной жемчужины.

А почему Косой Хабиб о Пойостоне подумал? А просто подумал и подумал надо же о чем-то думать угли мыслей поворошить чтобы не остыли. Просто приходили в нему сегодня в лавочку за одним снадобьем и еще спросили так ли оно действует на желудок людей из десятого климата как на обычный или нет а потом где Пойостона находится спросили ну и понятно зачем им снадобье и зачем еще сверх цены заплатили за молчание.

Пойостона здание четырехугольное с двором внутри как ароматный плов кипит

и булькает торговля. Комнаток тридцать или тридцать пять и держат все это хозяйство три торговца знатоки своего ремесла рабы у них на всю Бухару славятся бессловесностью, покорностью и другими похвальными свойствами только очень уж глупы и тупоумны ум у них от побоев из головы вытек как желток из яйца а ведь иногда с рабом хочется и по душам поговорить обсудить последние новости и поразмышлять о тщете сущего ну не с женой же об этом разговаривать и так сидит целый день и новости языком как мельницей для перца перемалывает или начнет вдруг о бренности сущего рассуждать думает раз у нее больная печень значит ей уже можно сравнивать этот мир со струйкой пыли а прояви с ней еще немного мягкости глядишь стихи сочинять начнет семью опозорит!

Обмывальщик трупов Курпа.

Бежит по улицам полным весенней грязью. Живой может подождать а мертвый никогда. Быстрее в тот же день схоронить надо. Пока у умершего не затвердел язык а то не сможет гладко ответить на вопросы ангелов на Мосту разлук поэтому быстрее быстрее. А то удержишься заболтаешься с продавцом голубей или заглазеешься на казнь и скажут люди этот Курпа хотя молодой совсем медленный стал наверное заболел ригу в пятках завел умом ослаб костью размяк скоро сам обмывальщика потребует! Или скажут этот Курпа хотя молодой совсем медленный стал наверное цену набивает живых не уважает так хотя бы мертвых постеснялся! Ну да живой подождет а мертвый ждать не будет особенно летом которое и для живых обременительно не говоря об остальных. Подумают так люди поцокают языком и перестанут посылать за Курпой а другого ремесла у Курпы нет отец его был

обмывальщиком трупов и дед и прадед тоже и если у Курпы родятся дети тоже дай бог будут обмывальщиками продолжают семейное ремесло. Поэтому быстрее Курпа! умершие народ капризный все вокруг них бегают суетятся слезы исторгают поминальное угощение варят и тебе тоже перепадет быстрее Курпа!

Несется Курпа по улицам поболтает немного с торговцем голубей погладит птицу и дальше побежит или постоит подпрыгивая чтобы увидеть из-за леса спин и тюбетеек как какого-то старца казнят а за что казнят не разобрать глазеть дальше не будет просто постоит не очень долго полюбуется как палач свое искусство показывает и дальше побежит. Хлопает по ноге привязанный к поясу ковш вечный товарищ обмывальщика орудие его искусства и болтаются рукавицы. Уступайте мне дорогу о живущие ибо живой может подождать а мертвый нет пусть даже раб потому что бежит Курпа в Пойостону что у Самаркандских ворот быстрее быстрее.

Тело лежало в узкой комнате. У изголовья сидели старухи главная читала молитву и перебирала четки остальные подпевали вместо четок перебирая косточки джиды. Курпа вспомнил как мать объясняла на каждой косточке десять белых бороздок каждая бороздка буква “алиф” с которой начинается имя Аллаха милостивого и милосердного оттого от каждой косточки прочитанная молитва умножается в десять раз понятно сынок? Образованной женщиной была мать сама до последнего дня честно плакальщицей трудилась такая искусница даже луковицу под чадру не подкладывала сама в нужное время могла слезы исторгнуть. Сейчас конечно молодежь уже так не плачет ленится.

Увидев сквозь сеточку своих чучунов входящего Курпу женщины заторопились

стали передавать косточки джиды главной плакальщице та на косточки подула и в платок положила. Потом косточки положат в могилу потому что на них следы молитвы чтобы душа выходя из тела посмотрела на них и вспомнила что она мусульманка а то души в этот важный момент память теряют а тут косточки джиды подсказка все-таки.

Женщины вышли. Курпа стал натягивать рукавицы.

Посмотрел наконец на того, кого предстояло обмыть.

– Во-ой, – пробормотал Курпа, наклоняясь над умершим, – кто это?

На плечо Курпы сзади легла рука.

– Тихо... Не кричи. Делай, что скажу.

Так встретился Курпа со знаменитым рабом Гаспаром, от чьего сна был когда-то зачат, когда сам Гаспар сидел в далеком северном зиндане и видел сны приговоренного к смерти, но что такое смерть, если для обмывальщика трупов она есть жизнь, хлеб и мясо? Так встретился Курпа с Гаспаром, непобедимым в красноречии, ненасытным в любви и поиске истины, только что такое истина и для чего она простому обмывальщику трупов, если труп ее нельзя обмыть и получить за это скромную плату?

– Ты не обмывальщик трупов, – сказал ему Гаспар, когда они сидели под огромным шах-тутом и черные ягоды падали на их головы, плечи, ноги. – Ты был сыном Повешенного Дервиша и Горбуни, рожденным среди коконов шелкопряда. Ты помнишь это?

Ташкент, 8 апреля 1912 года

“Шехерезада” переливалась огнями, как крупный, хотя и несколько фальшивый бриллиант. В интерьере заметны перемены. Занавес с одалиской исчез, вместо него вывешена крашеная черная простыня. На ней изображены гусиное перо и профиль поэта, недавнее столетие которого культурная общественность сытно и пьяно отпраздновала. Сверху золотым шрифтом выведено: “Прометэй. Кружок живого слова”.

По сцене разбросаны цветущие ветки, означающие приход весны и обновления.

На саму сцену выходили, выбегали или выпархивали, взмахнув чем-нибудь, поэты. Поэты-мужчины читали в основном по памяти, забывая слова и роясь в карманах в поисках подглядки. Женщины больше читали по книжкам, шитым бисером; поэтесса Ариадна вышла со свитком и прочла по нему “Поэму о коне”, в которой обращалась к демиургу с просьбой сообщить ей какую-то силу.

Публика, заполнявшая “Новую Шехерезаду”, была тоже не та, что обычно. Большинство состояло из родственников и приятелей читавших. Они ели и пили, отвлекаясь от тарелок только на то время, когда выступал “их” поэт. Тогда вилки и ножи застывали и клались на стол, а ладони готовились к овациям. Некоторые, впрочем, и на “своих” поэтах не переставали жевать, хотя и делали это медленнее и как бы задумчивее.

Можно было заметить и несколько случайных зрителей, которые были привлечены афишей с голым юношей, привязанным к скале какими-то лентами. Эти, случайные, либо быстро доедали свои порции и исчезали, либо оставались и

отпускали не совсем уместные замечания. В таких случаях Матильда Петровна, сидевшая на сцене, звонила в колокольчик и бросала огненные взгляды.

Самую малочисленную часть публики составляли те, кому не хватило решительности отклонить приглашение Матильды Петровны. Это были авиатор Анатоль, сидевший с рюмкой абсента и зеленоволосой девушкой; кто-то из железнодорожной конторы и одна из дам-сопроводительниц (“Овна”? “Евна?”), виденная отцом Кириллом в депо. Наконец, в “гроте” поместились сам отец Кирилл, Чайковский-младший, а также Ватутин, который заявил, что ничего читать не собирается. Правда, одет он был с мрачной торжественностью, из петлицы торчала роза серо-коричневого оттенка.

– Где вы взяли такой цветок? – заинтересовался Чайковский.

Он был еще трезв и ко всем обращался на “вы”.

Поэты всё не кончались. Некоторые усаживались за рояль и помогали себе музыкой. Другие приглашали Сороцкую подыграть во время чтения мотивчик из Баха или просто пофантазировать. Сороцкая садилась и фантазировала.

Чайковский-младший чертил на салфетке нотный стан:

– Проклятый князь... Проклятый Гамлет... Не приходит... Ночи не сплю. Не приходит музыка. Пустота в ушах, ничего не слышу. Иногда кажется: вот, поймал. Тема Офелии. Начинает флейта. Будто издали, за горою. Па... Нежно, тихо так. Па... Утром еще раз просмотрел – дерьмо!

На сцену вышел поэт в лаптях. Публика зааплодировала. Ватутин пил лимонад.

Отец Кирилл принялся за свой блин. Потыкав вилкой, оставил. В голове сидел Казадупов. В голове сидела Мутка и ее молчание. В голове сидели декорации и

костюмы к “Гамлету”, голые стены, барочные пузыри, винтовая лестница, по которой течет толпа. NB: толпа – главный персонаж. Двигается, застывает, осыпается лузгой, сопит, мычит. Гамлет, Клавдий, остальные – всего лишь куклы, всплывающие над головами массы и снова исчезающие – в топот, сопение, лузгу, пивную отрывку. Толпа несется по пустоте Эльсинора; снег; королева прижимается к Клавдию не от похоти – какая похоть у куклы? – “согреться бы”. На одре кровосмешения – “тепло...” Толпа влечет Офелию: “Но, но, моя карета!” Песни Офелии – песни толпы, пропетые кукольным голосом.

Чайковский-младший комкает салфетку с нотами:

– Вчера проснулся – тема Призрака. Так близко звучала, пощупать можно. В хоральном исполнении. Без слов, на одном “м-м-м”... Долгое. А потом вдруг марш, виваче, ударные, духовые, ба-бах в тарелки. И снова, тихо “м-м-м”... Гениально. Подошел к зеркалу, сам себя поцеловал. Утром перечитываю...

– Дерьмо! – подсказывает Ватутин.

Поэт дочитал про русские березы, которые “принимают застенчивые позы”, и, шаркая лаптями, удалился.

– Могу посоветовать. – Ватутин вращает стакан с лимонадом. – Твой однофамилец уже сочинил музыку к Гамлету, ты бы ее...

Чайковский побагровел и задел рюмку:

– Да что вам этот Петр Ильич всем дался! Ненатуральный, слащавый, тьфу! Английский рожок!

Скатерть украсилась пятном.

Отец Кирилл не участвовал в споре; взгляд застыл на двух фигурах, зашедших

недавно. Обе были в рясах. Карту, которую протянул официант, отклонили, сидели за пустым столом, переглядываясь.

Одной фигурой был отец Иулиан, тот самый, с брошюрами; отец Кирилл открыл дома одну и почти сразу закрыл: Сергей Александрович Нилус... “И вспомнилось мне тогда же, что в том же Киеве, вскоре после появления кометы, на улицах киевского “гетто”, в местах наибольшего скопления жителей черты оседлости, появился какой-то странный юноша, мальчик лет пятнадцати. Юноша этот, как бы одержимый какой-то нездешней силой, бродил по улицам еврейским и вещал Израилю: “Великий пророк родился Израилю...”” и т.д.

Отец Иулиан послал легкий конспиративный поклон. Спутника его, с красноватым, выгоревшим лицом, отец Кирилл не знал. Надо бы подняться и подойти к братьям...

Мадам Левергер трясла колокольчиком:

– Нас часто упрекают... Господа!.. Прошу тишины! Нас часто упрекают, что в наших вечерах не берут участия люди духовного сана...

Батюшки двинулись на эстраду. Впереди плыл отец Иулиан, за ним деловитой крестьянской походкой следовал второй, которого Матильда Петровна представила как отца Порфирия из Кагана. Было заметно, что отец Порфирий несколько ошалел от “Новой Шахерезады”. Он вообще казался случайным лицом, приехавшим в Ташкент, видимо, по своим делам; тут его и уловил отец Иулиан, которому всегда было нужно свежее ухо.

Начал отец Иулиан. Как бывший музыкант, на эстраде ощущал себя как дома; окинул хозяйским взглядом рояль, пощупал занавес. Отец Порфирий, высокий, с

длинными бестолковыми руками, переминался с ноги на ногу.

– Поэзии я читать не буду, – сказал отец Иулиан. – Я скажу коротенькое слово.

Публика перестала жевать, началось “коротенькое слово”. Отец Иулиан, поглаживая бородку, сказал, что Библия – основа всякой поэзии, что Пушкин – великий поэт и раскаявшийся грешник и что нужно отличать подлинно русскую поэзию от той, которая хоть и пишется русскими буквами, но по своему тактическому назначению совсем не русская, а другая, враждебная и с чесночным духом.

– Правильно! – выкрикнул поэт в лаптях и закинул ногу на ногу, чтобы лапти были лучше видны.

Отец Кирилл хмурился в тарелку и постукивал пальцем по скатерти.

– Так же, как вы определяете, не поддельна ли банкнота, глядя ее на свет, чтобы найти водяные знаки, – учил отец Иулиан, – так же вот нужно обращаться и со стихами. Проглядывать поэзию на свет.

Отец Порфирий вздохнул и отер платком лоб. Отец Иулиан обернулся и вспомнил о нем:

– Почитай им, отец Порфирий!

– Может, не буду?..

– Ты им это, про Антихриста, которое сегодня после обеда сочинил, прочти!

– Это точно не буду... Мрачное. А тут люди кушают.

– Читай, какое хочешь.

– Да-да, пожалуйста, батюшка, – улыбнулась Матильда Петровна и зазвонила в колокольчик.

Публика притихла. Отец Порфирий сложил руки на груди:

– Стихотворение о положении сельского дьячка.

– Прелестно, – сказала Матильда Петровна. – Это свежая струя. Читайте.

Отец Порфирий откашлялся в крупную ладонь и забасил:

Много, много в жизни горя,

В жизни каждого дьячка:

Но особенно премного

В жизни сельского дьячка.

У него нужда из хаты,

Как ни думай, ни хитри,

Не пойдет к счастливым мира

И не станет им в пути.

И бедняк дьячок смиренно,

Уж привыкший к нищете,

Лишь молил Царя вселенной

От невзгод и бед спасти.

Но душа людей жестока,

Всяких выдумок полна,

И его порою гонят

И стесняют как дьячка.

Все счастливики на свете,
И мужик, и поп большой,
“Властелины полувека”
Помыкают им порой.

Заставляют знать уставы,
Без ошибок петь, читать;
Изучать весь катехизис
И документы писать.

Пред начальством быть в почтенье,
Всем услуживать подчас,
У священника благословенье
Против воли брать всегда-с!

Кто-то захлопал. Кто-то прыснул. Чайковский закричал: “Бис!” Матильда Петровна теребила бант на колокольчике.

Отец Кирилл, не зная, куда во время “дьячка” деть глаза, поглядывал на Ватутина. Тот делался все бледнее; выступил пот, и стал заметен тонкий слой пудры, хотя раньше фотограф к подобной ретуши вроде не прибегал.

— Я, пожалуй, пойду. — Отец Кирилл поднялся и тут же был придавлен рукой

Чайковского-младшего.

– Отец Кирилл! Не бросай! Не обижай! Ты ж в Германии учился!

При чем тут Германия, было неясно, но отклеить от себя лапу композитора было нелегко. Матильда Петровна звонила уже непрерывно и даже топнула ножкой:

– Господа! Атансьён, атансьён! Тишина! У нас по списку еще один чтец!

Стол пред отцом Кириллом дрогнул – Ватутин поднялся и оправил кислотную розу.

– Эту личность мы все до сих пор знали, как корифея фотографической карточки... – Матильда Петровна перешла на лирическое контральто.

– Жулик! – выкрикнул Чайковский-младший и попытался обнять Ватутина за талию. Но Ватутин успел вылететь из-за стола, еще раз тряхнув его, и устремился на сцену.

– Он же сказал, что не будет... – Отец Кирилл поднимал попадавшие рюмки.

– ...сейчас мы его все узнаем и как поэта! – закончила Матильда Петровна и приняла позу усиленного внимания.

Ватутин достиг сцены, нервным шагом вошел в луч света:

– Я прочту две пиэсы. Первая – чужого сочинения. – Уловив шорох недоумения, пояснил: – Я выбрал ее прочесть, поскольку... поймете сами. Или не поймете.

Публика обиделась и стала внимательно слушать.

Надменный небосвод скорбел о позднем часе,
за желтизной ворот дышал тревожно дом.

В пионовом венке на каменной террасе

стояла женщина, овитая хмелем.

Смеялось проседью сиреневое платье,
шуршал язычески избалованный рот,
но платье прятало комедию Распятъя,
чело – двусмысленные отсветы забот...

– Что за чушь... – Отец Кирилл пытался встать, но снова был придавлен ладонью Чайковского:

– Отец... потерпите “комедию Распятъя”! Это ж не хуже вашего “дьячка”, а?

Фотограф, взяв высокую хриплую ноту, закончил. Зал неуверенно захлопал. Матильда Петровна сменила позу внимания на позу глубокой задумчивости. Отец Кирилл все же поднялся и подозвал официанта, расплатиться и уйти.

– Следующая пиэса, – поглядел на него из луча Ватутин, – моего сочинения. Посвящается отцу Кириллу. Называется... Называется “Поклонение Волхва”.

Отец Кирилл застыл. Подошедший официант, вопросительно помолчав, отошел.

– Я попрошу для звукового сопровождения подняться сюда маэстро Чайковского...

– Я здесь! – заорал “маэстро” и двинулся по параболе к роялю.

Споткнувшись о край сцены, рухнул.

Публика загоготала. Матильда Петровна наклонилась корпусом к Чайковскому, словно хотела ринуться поднимать, но не ринулась. Ватутин тоже застыл в луче и играл губами.

Добравшись с этими приключениями до рояля, Чайковский долго пытался за ним.

– Ну, чего тебе наиграть?.. – Показалась над крышкой его красная голова.

– Марш, как договаривались, – пошевелил губами Ватутин.

Чайковский замузичировал. Ватутин, раскачиваясь, начал:

– Я. Царь. Волхв. Корабль. О! О! Тонет! Мой ма-а-льчик! Звезда. Нечистоты. Плевки! Корабль! Оп-оп. Ни-ни-ни. Черное небо! Холерное небо! Белая звезда! О! Мой ма-а-льчик! Оп-оп. Тонет...

Выкрикивал и брал фальцетом невероятные ноты, извиваясь. Чайковский, поддавшись, тоже уже не “маршировал”, а выстукивал кулаками какую-то дичь.

Внезапно Ватутин покачнулся и осел на сцену.

Чайковский еще несколько секунд прогвоздил по клавишам. Ватутин валялся на сцене, изо рта текла кровь; со всех сторон шли, бежали, стояли люди.

День окончили у Чайковского.

Ватутин вскоре пришел в себя, но был слаб; его отнесли к Чайковскому, жившему поблизости. В переносе участвовали отец Кирилл и отец Порфирий; отец Иулиан куда-то растворился. Квартира Чайковского выглядела запущенно, мебель в чехлах пыли; единственной живой вещью был рояль, где громоздились клавираусцуги и горы нотной бумаги. Ватутина с расстегнутою пуговицей опустили на диван, с которого Чайковский смел мусорные окаменелости; сам Чайковский занял кресло, вытащил из-под себя чернильницу и предложил всем чувствовать себя как дома.

– Что за человек! – указал бровью на Ватутина. – Охота же ему демона изображать... Душа ведь у него... Котенка выходил... – Зевнул, сказал еще что-то про котенка и захрапел.

Вскоре к нему присоединился Ватутин, у которого и храп звучал несколько инфернально, так что отец Кирилл поежился.

Прихромала старуха в зеленом платке, поставила перед гостями чайник, две пыльные чашки и вазочку с засохшим вареньем.

– Что не убираетесь? – спросил ее отец Порфирий.

– Не позволяет, – ответила старуха, сердито разливая чай, – приду с веником, а он веник выхватывает и гонит.

Отец Кирилл глядел на ноты, разбросанные по роялю.

“Марш Фортинбраса”. “Тема Призрака”. “Песня Офелии”.

Отец Порфирий рассказывал о жизни в Кагане. Говорил, что скучает по своей деревне Пилино Костромской губернии и видит ее еженощно:

– Васильки там с кулак размером. Проснись здесь – борода от слез мокрая... Только не мог там оставаться. Так бы дьячком и коптел, а там лучше батраком, чем дьячком. Бедность среди простого духовенства невозможная. А тут, хотя и жара и пыль, рясу от пота хоть выжимай, а все ж таки уважение, и возможности. – Отхлебнул чай. – О наперсном кресте уже разговор был.

Отец Кирилл слушал как сквозь сон.

– Не стоило мне с моими творениями на публику выходить, – вздохнул по-детски отец Порфирий. – Мирские люди, что они о нашей жизни понимают? А если хотите, то у меня есть еще стишата, могу прочитать...

Достав тетрадку, отец Порфирий колыбельным голосом читал свои творения. Отец Кирилл склонил голову над чашкой, в которой отмокали катышки варенья. Вечер в “Шахерезаде” и выходка Ватутина совсем разболтали его.

Допив пыльный чай, вышел в темноту. Сердце стучало, идти домой не хотелось. Родилась мысль сходить в подвал к Кондратьичу, которого не видел давно; Кондратьич прислал с сыном записку, в которой просил временную отставку от уроков по причине работ в лаборатории.

Час для визита был поздний – било двенадцать, но Кондратьич сам говорил, что посещать его лабораторию лучше ночью, когда он там есть. Идти было легко, улицы пустовали. Встретились только сторож с колотушкой да пьяный у забора, который вел разговор со своими портками: “Ну, сымайтесь же, черти!” И еще черная кошка, перерезавшая дорогу; отец Кирилл, перешагнув, пошел дальше.

[1] Годы учений (нем..).

[2] Господи, помилуй! (яп..)

[3] Между нами (фр..). Здесь: разговорн.

[4] Страх (др.-евр.).

[5] Так вот чем пудель начинен!! (Из "Фауста".)

[6] "Принц и нищий". Вариант перевода: "Князь и нищий" (фр.).

[7] Японец (яп.).

[8] Господин Накаи.... Принесите, пожалуйста (яп.).

[9] Здесь: врач (яп.).

[10] В начале (греч.).

[11] Ты любишь своего папу? ... Да, я люблю тебя... А куда мы едем? (фр.)

[12] Особо приготовленный табак, закладывается под язык.

[13] Ангелы, допрашивающие душу умершего.

[14] Отче наш (греч.).

[15] Итак (нем.).

[16] Спасибо! (узб.)

[17] Для разумеющих - достаточно (лат.).

[18] Итак, в Англию! Прощайте, дорогая матушка ("Гамлет", акт IV, действие

III).

[19] "Герр Бальтазар будет справа парить, Герр Гаспар - посредине, Герр Мельхиор - слева. Как жили они, Никто не знает доныне" (нем.; Гейне, "Зимняя сказка").

[20] Отвар из мака.

[21] Новоюртинск.

Ташкент, 9 апреля 1912 года

– Выращивание самого камня, таким образом, охватывает три стадии, или мутации. Первая – черная, свинец; вторая – белая, серебро; третья – желтая, она же – красная...

– Золото? – спросил отец Кирилл.

Они шли по небольшому проходу; все было в сосудах разных форм, стеклянных, металлических, закопченных. От химического духа кусалось в носу, давил потолок, по углам, стопками и врассыпную, валялись книги, в одном желтела гитара с

бантом.

– Для определения тона.

Фигуры Кондратьича и отца Кирилла выгибались, вытягивались и сужались в ретортах, мимо которых они шли. В ретортах булькало и воняло.

– На второй мутации требуется дать музыкальный тон. Музыка очищает металлы.

Кондратьич напоминал черную птицу; экскурсия продолжалась.

– Про философский камень вы, конечно, слышали, а?

– Который обращает все в золото?

Лицо Кондратьича, заслоненное огромной колбой, изогнулось и проговорило:

– Обычный предрассудок об алхимии... Обычный предрассудок!

Взял отца Кирилла за локоть:

– Простого золота на земле и так достаточно. Даже слишком много, а? Здесь речь об ином золоте, «захав» по-еврейски, что состоит из трех букв, «заин», «хей» и «бет». В трактате «Сэфер ха-бахир» это трактуется так: в имени золота, в этих буквах, из которых оно состоит, три принципа. Мужской – «захар», женский – душа, на что указывает буква «хей», и буква бытия «бет», с которой начинается Тора – «берешит...».

Отец Кирилл тарашил глаза; Кондратьич же то замолкал и поправлял колбы и горелки, то снова начинал бурлить терминами, от которых у отца Кирилла ломило в затылке.

– В Талмуде семь родов золота. «Сказал Ребе Хисда: “Есть семь родов золота: просто золото, золото хорошее, золото офир, золото муфаз, золото шахут, золото

закрытое и золото парваим”». Золото и хорошее золото – это о котором сказано во второй главе Книги Берешит, вашей Книги Бытия: «И золото страны той хорошо». Золото офир – это которое из страны Офирской. О нем в Книге Царств, потом волхвы преподнесли его младенцу Христу, а? Ну, один из них преподнес, по имени Мельхиор, «мельх», «малх» – это ведь по-еврейски «царь», и последняя из сфирот носит имя Малхут, что значит «царство», ибо хранит и отражает в себе все образы, не имея ничего своего. Поэтому эту сфиру, Малхут, зовут еще Тмуна, «рисунок», и Диакана, что значит «портрет». Малхут-Мельхиор светит отраженным светом, он при всей царственности беден, лежит на границы тьмы...

Отец Кирилл поглядел на гитару в углу:

– Так что же тут против того, что философский камень обращает все в золото? Видов его, конечно, много...

– Погодите, я еще не пояснил остальные. Золото муфаз, похожее на серу, горящую в огне. Золото закрытое: когда открывается его продажа, закрываются все лавки. Золото парваим, подобно крови «парим», быков, о нем сказано в Мишне, «во все другие дни золото желтое, а в судный день – красное»... Вы видите – видите? – что речь не об обычном золоте, но о символах? Наконец, золото шахут, которое тянется подобно нити, «хут», как вытягивают из кокона шелковую нить...

– Из кокона? – Отец Кирилл заинтересовался.

– Да! Речь не о превращении в золото. Богатство – деньги и прочее – подлинных алхимиков не увлекает. Речь об очищении от грубой материи, о превращении неблагородного в благородное и чистое. Вот что есть главное, это духовное очищение. Солнце миллионами своих оборотов прядет золото в земле, отпечатывает

образ в земле, и этот образ есть золото. Но золото невещественное, а?

В длинной колбе, на которой было награвировано какое-то изречение, вскипело. Кондратьич задул огарок сухого спирта, пощурился на колбу. Остывавшая жидкость приняла изумрудный оттенок, по лицу Кондратьича побежали зеленые блики.

– Как же вы смогли закупить все эти приборы, колбы? – спросил отец Кирилл.

– Частью на свои сбережения... Увы, малой частью; семья, у жены здоровье уже не то, жалуется на боли в груди... А вы знаете, что такое пойти к врачу? Заходишь туда прилично одетым, а выходишь так, что нечем прикрыть срам, кроме стопки рецептов, и нужно в аптеку, а там все стоит денег. А дети? Один заболел, другому обидно, тоже начинает, знаете, как добросовестно болят еврейские дети? Если б не его императорское высочество...

– Великий князь?

– Меценат! Я его между собой называю «меценат». Очень интересуются, дважды побывали. Вот прямо на этом месте стояли и задавали разные вопросы. Мы ведь с князем как духовные братья в каком-то смысле... Вообще, скажу, если бы не его покровительство, меня бы давно вышвырнули из Ташкента. Прямо с семьей, двадцать четыре часа на сборы. Я же не отношусь к разрешенным евреям: в армии не служил, университет не окончил, купцом первой и второй гильдий не бывал.

– Ну а ваши статьи по истории алхимии в журналах...

– В очень специальных журналах. А начальство таких не читает, начальство читает «Новое время». А ваш Казадунов и «Время» не читает, совсем безбуквенный человек. Так что если бы не князь...

Отец Кирилл поблагодарил за показ и стал прощаться.

Кондратьич молча смотрел на него:

– Не стоит благодарности. Это ведь так, декорации...

Отец Кирилл остановился.

В реторте рядом с ним закипело, но Кондратьич стоял недвижно, как восковая фигура. Жидкость, выкипев, заплевала огонь.

– Декорации? – переспросил отец Кирилл.

– Ну да. Небольшой театр для непосвященных. Хотя нет, проверяю разные иногда рецепты из алхимических трактатов. Но главное, конечно, не здесь...

Отец Кирилл почувствовал сухие пальцы алхимика на своей ладони.

– Только не смейтесь. За мной усилили слежку, батюшка. На волоске вишу. А времени – времени! – ой как мало. Так что вынужден вам показать...

Направился в угол, где стояла гитара. Взял ее, словно собираясь заиграть. Щипнул пару струн, покрутил колки.

Часть стены стала медленно подниматься.

– Запомните, батюшка, струна «ля» и... впрочем, потом еще покажу, – шепнул у самого уха, пока отец Кирилл глядел на подъем стены.

Кондратьич пролезал в проем; из глубины выпросталась его рука, приглашая следовать.

– Двое людей, кому теперь довериться могу... – говорил Кондратьич, расхаживая по довольно просторному помещению, особенно после тесноты того, откуда они сюда залезли.

В центре стояла современного вида конструкция, похожая на фабричный станок

по выработке неизвестно чего.

– Двое людей, – остановился подле него Кондратьич, – вы и великий князь. Поэтому хочу, чтобы и вы знали, на случай, если они меня все-таки...

– Что это?

– Алхимический аппарат нового века, доставлен по частям из Англии благодаря щедрости великого князя... А вы-то думали, что мы до сих пор ретортами и BalneumMariæ, ванночкой Марии Еврейки, пользуемся, а? Нет, со средних веков алхимия скакнула далеко вперед, страшно далеко! Только алхимики держат это в тайне и сами же первыми окрестили ее лженаукой и шарлатанством. А загляните внимательнее в подвалы Лондона, Берлина, Киева, и вы найдете такие сюрпризы...

– Вы хотите сказать, что люди уже умеют получать алхимическим путем золото?

– Опять вы о золоте, ужас какой-то... Вам нужно золото? Золото, а?

– Нет.

Отец Кирилл и сам не знал, отчего спрашивает о золоте, и смутился.

– И мне оно не нужно. Как говорил Зосима Панополицанский, если ты познаешь свой разум, оставь золото тем, кто хочет разрушить себя. Тут вещи более тонкие, тут дар власти, дар слова, чудотворения...

Отец Кирилл разглядывал «машину». В никелированной поверхности имелось окошко, Кондратьич подвел его к нему.

Два лица почти прижались к стеклу.

Внутри что-то горело. По прозрачным трубкам бежали пузыри.

– «Кокцио», или нагревание на медленном огне, – пояснил Кондратьич. – Самая

сложная и опасная стадия, требует наблюдения. Оставь без присмотра – и взрыв...

– А если все пройдет гладко? – Отец Кирилл, закрыв левый глаз, глядел в окошко.

– Тогда через несколько стадий можно будет получить философский камень. Вы никогда не интересовались историей Вифлеемской звезды?

Отец Кирилл отступил от окошка, вспотел и кивнул.

– Это я к тому, – продолжал Кондратьич, словно наслаждаясь его смущением, – что звезда эта, по сути, и была тем камнем, а? Посудите сами, небесное тело, метеорит или болид, влетает в атмосферу, но не сгорает и не падает, а – плывет... Зависает над Иудеей, над Вифлеемом, затем гаснет и падает то ли на гору Фавор, то ли в Иордан. Скорее, в Иордан, там и выловили осколки, об этом еще в сирийской хронике... Так вот, философский камень и есть как бы та звезда, но в более очищенном виде. Ту ведь звезду как ждали в Иудее, ох, как ждали! Были сведения: будет звезда, придет мессия, прогонит проклятых греков и римлян с их мраморными идолами, акведуками, философией и лесбийской любовью... Восстание поднимали, предводитель назвал себя Бар-Кохбой – Сын Звезды. Все напрасно. Снова римляне, метательные машины, легионы, потом опять проклятые мраморные скульптуры, бани и философия. И тут – над Вифлеемом зарево. А? – Помолчал. – Отец Кирилл, боюсь, меня скоро арестуют. Тогда нужно будет как-то сюда зайти и остановить кокцию. Вот этот рычажок... Нет, пока трогать не нужно. Идемте, я вам еще покажу, что нужно нажать на гитаре... – Наклонился, чтобы вылезти, прислушался. – Опять... Батюшка, только не смейтесь. У меня стали возникать слуховые галлюцинации. Когда я нахожусь в этом подвале. Может, это связано как-то с кокцией и

философским камнем. Но я слышу, понимаете, детские голоса.

– Детские?

– Да. И детское пение. Вот сейчас...

Тишина.

В аппарате что-то булькало. Кондратьич, склонившись у проема, хрипло дышал.

Где-то рядом запели дети. Очень тихо, словно из-под земли.

Отряхивая рясу, отец Кирилл вышел во двор. Скрипнула за спиной дверь. Светало, по двору ходили куры. Посреди двора чернел водопроводный кран. «Однако князь... – подумал отец Кирилл, обходя кур. – Для чего князю вся эта алхимия?»

Ташкент, 12 апреля 1912 года

Хотя о смерти брата Гамлета кручина
покуда зелена, и все сердца полнит
лютую горе, и все королевство
застыло плакальщицей...

Клавдий расхаживает по сцене, поправляя корону (привыкает), охорашивается возле зеркал. Королева сидит на троне и машет веером. Мелькают придворные.

Великий князь складывает ладони и поднимается со своего места:

– Прелестно! Где вы набрали этих... (пауза) актеров? Они даже не представляют, как нужно вести себя при дворе! Король стоит как торговец сбитнем. Где ваш

сбитень, король?

Клавдий на сцене сопит и поправляет корону. Она ему велика; чтобы не болталась, подоткнули ваты.

– Где вы нашли эту королеву? – продолжает великий князь.

К уху великого князя быстро склоняются губы антрепренера и что-то шепчут.

– Хорошо... – кивает великий князь. – Но она хотя бы может говорить?

Антрепренер поднимает брови. Кожа его настолько подвижна, что брови уезжают куда-то на затылок.

– Произнесите что-нибудь, – говорит великий князь. – Оставьте в покое свой веер и произнесите.

Королева кладет веер:

– Что я должна произнести?

– Что хотите. Монолог.

– У меня нет монолога. У меня одни реплики.

– Произнесите реплику.

Королева выходит на середину сцены. Взмах рукой.

– «Сбрось, добрый Гамлет, этот цвет ночной! Пусть зрак твой на Датчанина с приязнью...» Нет, не могу. Не могу!

Бросается на кресло, прикрывает лицо веером; веер вздрагивает.

Великий князь с брезгливостью наблюдает.

Клавдий снова поправляет корону, оттуда выпадает на сцену кусок ваты.

Великий князь объявляет перерыв.

– Зря его императорское высочество решил попробовать себя режиссером, –

говорит Чайковский-младший, разбулькивая по рюмкам коньяк. – Уже третий состав. Так никогда и не сыграем. Еще?

Горлышко вопросительно наклоняется к рюмке фотографа. Ватутин помотал головой.

Буфет «Зимней Хивы», за столиком Чайковский-младший, Ватутин и Кошкин-Его.

– «Быть или не быть, вот в чем вопрос», – декламирует Егои выпивает.

За соседними столиками сидят Офелия, Тень отца Гамлета, еще пара актеров и скрипач Делоне в розовом пиджаке; атмосфера подавленная.

– А вы уверены, – произносит на полузевке Ватутин, – что нашему князю вообще нужна эта постановка, с премьерой и... прочим?

Егобыстро закусывает и глядит на Ватутина:

– А что же ему тогда нужно? Для чего тогда все эти подготовки, репетиции?

– А ни для чего. Сами для себя.

– «Искусство для искусства», что ли? – говорит Чайковский-младший. – «Искусство для искусства»?

Выражение это ему нравится.

– Почему же только «для искусства». – Ватутин слегка отодвигается от стола и закидывает ногу на ногу. – Скорее, тщеславие. Семейное соперничество. Слышали, братец его, великий князь Константин Константинович...

– Который к нам в прошлом году...

– Да, он самый.

– Красавец!

– Красавец, – соглашается Ватутин и качает ногой. – Печатает свои литературные опусы под именем «К.Р.». А недавно написал пьесу...

– Да-да, я где-то читал, – вставляет Его. – Что-то евангельское, собираются играть в театре.

– «Царь Иудейский». Ну и наш князь тоже в грязь лицом, значит, не ударил – вот вам, мол, «Гамлет»; в Петербург наверняка доложено. У вас «Царь Иудейский» – у нас «Гамлет»... – Ватутин замолк, поймав знаки, которые посылал ему Чайковский.

Обернулся. За спиной, беседуя с антрепренером, проходил великий князь. Троица приподнялась. Великий князь удостоил их легким поклоном; Ватутину даже тонко улыбнулся.

– Наверное, не услышал, – сказал Его, когда князь удалился.

Услышал. Чуть заметно сжал губы.

Вышел из «Хивы», солнце обожгло глаза. Зрение с годами слабо, слух, напротив, возростал. Скоро, как у Пушкина, начнет слышать дольней лозы прозябанье. И гад морских подводный ход.

Экипаж ждал его.

Он ехал по серым солнечным улицам. Правил, как обычно, сам. Проехал Кауфмановский сквер. Проехал мужскую гимназию; гимназисты высыпали на улицу, наслаждаясь весной.

Да, он знал, что брат написал пьесу «Царь Иудейский».

Брат был в октябре с инспекцией, остановился у него. Сказал: «Я написал пьесу». Помолчав, сообщил название: «Царь Иудейский». И поехал в кадетский

корпус Наследника Цесаревича, задавать кадетикам вопросы, проверять спальню, столовую и ватерклозет. Каждому изволил сказать ласковое слово, с преподавателями иностранных языков вел разговоры на их языках, как сообщила пресса.

При чем здесь «Гамлет» и его родня?

Что он Гекубе?

Ежемесячно он получал от них субсидию.

Двенадцать тысяч шестьсот двадцать рублей. Ежемесячно гофмейстер брата, Роберт Юльевич Минкельде, «Робинька», как называл его брат, пересылал их в Ташкент в особое управление при генерал-губернаторе. В конце месяца на имя гофмейстера посылался отчет о расходах. Кондитерской Генсля за разный кондитерский товар; кондитерской Слоним за покупку пряников и конфет на благотворительный сеанс синематографа для бедных детей Бурджара; Гиге за разборку и установку китайской кровати; Павлову за саксауловые дрова для дворца; Арсеньеву за упряжь для пони; Шершаковой за ленты и букеты для артисток; магазину Ларкина за подтяжки; Мухитдин Хан Хасым Ханову за медведя; парикмахеру Аветову за шлифовку и правку бритв; ветеринарной лечебнице за осмотр и содержание цапли, собаки и лошади; художнику Искра за написание занавеса для зрительного зала «Хивы»; Смолякову за очистку выгребной ямы при том же здании; Магненштейну за форменную фуражку для заведующего пожарной частью при том же здании; Касыму Мирзабаеву за урюк, фисташки и проч. корм для обезьяны... Достаточно, господа актеры.

Подачка, откуп за молчание.

Остальные великие князья получали ежемесячно сумму в два раза большую.

Он подъезжает к своему дворцу. Купол Георгиевского собора. Лужа. Привычный филер на своем месте. Даже двое. Совершенно привык к слежке.

Вся жизнь его, с того самого дня, протекла как на сцене, под наблюдением. С того самого дня, как его вышвырнули из Петербурга и объявили сумасшедшим. Глаза, следящие за ним из тьмы партера. Друзья, предающие его. Милый Розенкранц... Любезный Гильденстерн... «Мои друзья слишком хорошо шпионят за мной».

Он мог бы написать пьесу о своей жизни. Но такая пьеса уже была написана, давно шла в театрах и давала неплохие сборы.

Полночь, Эльсинор, дозорная башня. Ветер раздувает плащи. Смена караула, болтовня ни о чем. Обертон страха. «Не появлялся еще?» – «Нет».

«Смотрите, вот он!»

Великий князь посмотрел вверх.

Солнце исчезало за длинным облаком. Потемнели деревья, потемнели стены; из вольера закричал павлин. Ветер смахнул с чинары несколько сухих листьев.

«“Гамлет”, – говорил он актерам, – пьеса о самоубийстве династии. О том же и “Король Лир”. Но в “Лире” самоубийство династии происходит оттого, что младшие восстают против старшего. Старший, Лир, проявляя слабость, дает слишком большую власть младшим (детям, daughters). В “Гамлете” царствующая династия гибнет от обратного: старшие не допускают к власти младшего – Гамлета. Идут на изменение порядка наследования, на кровосмешение, на высылку принца. В итоге гибнет царствующий дом, страна захвачена. Слабость Гамлета – не безволие, но осознание невозможности бороться; остается притвориться безумным. Его скипетр

– балаганная дудка, держава – череп шута, оружие – театральная пьеса, актеры, сцена».

Актеры не понимали. Актеры ничего не понимали.

Он вошел в кабинет. На улице потемнело, дул ветер; здесь не слышно: окна закрыты. Бесшумно качаются деревья. Бесшумно летят остатки сухой листвы.

Темный свет из окна падал на портрет Государя Императора Николая Первого. Государь стоял в форме Преображенского полка. Лицо мужественно, но печально. На матовой поверхности картины шевелятся тени от деревьев за окном.

«A countenance more in sorrow than in anger»[1].

Он помнил его похороны. Ему было пять лет, первое сильное воспоминание.

Или нет, не первое. Вспоминалось, но смутно, что его ведут, ведут долго, одного, без родителей, очень долго по разным комнатам, где никого, только зеркала и часы. Наконец вводят в небольшую комнату, где тоже зеркала и часы, картины; в пятне желтого света умирает человек. Он накрыт одеялом, пахнет горьким, сладким и страшным. Лицо приближается, вокруг него темная подушка. Мальчик боится идти ближе, боится заплакать, боится запаха, зеркала, головы на подушке. На голове открываются глаза. Смотрят на него. Оживает рот. «Держи... Держи всё». Или не было?

Похороны; голос родителей; он стоит возле окна, на стекле нарастают белые цветы. Пальба из всех орудий, костры и дым.

«Хотя о смерти брата Гамлета кручина...»

Дальше обычное великокняжеское детство. Прогулки, легкие болезни, кегли, газоны, книги; воспитатель капитан Посъет, преподаватель математики Эвальд 1-й.

Мать — холодная, мудрая. Отец — где-то вдали, на том конце лужайки; поворачивается, уходит.

Родители ускользали от него. «Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать». Искал и не находил. Иногда находил мать, она сидела за солнечным роялем и сочиняла марши. Он стоял и слушал. Потом начинал маршировать. «Иди, — тихо говорила мать. — Ну, иди». Его уводили; в спину стреляли такты марша. Иногда она пыталась быть к нему доброй. Попытки были редки и неудачны.

Отца видел все реже. Семья распадалась, как гнилая рыба. Но это — там, за кулисами; на сцене родители стояли рядом и улыбались одинаковыми улыбками. На сцене сверкали люстры, топтались актеры, производилось освобождение крестьян и готовилась война с Турцией. «Иди. Ну, иди»...

Он шел. Останавливался возле портрета Государя Николая Первого. Вот как сейчас. Портрет притягивал его. Он упросил списать с него копию, повесил у себя. Детство продолжалось, великие князья играют с цесаревичем в кегли. Мать, Александра Иосифовна, сидит за роялем, кусая губы; отец, Константин Николаевич, душит в объятьях балерину Императорского Мариинского театра Анну Васильевну Кузнецову, та, освободившись от ласк, пролетает сцену в партии Жизели, зал рукоплещет.

И он, Никола, тоже аплодирует ей ледяными ладонями. Ему шестнадцать лет, он в ложе. Лоб, подбородок, осанка. Бокал в пальцах. Ночью — после па-де-де — отлепляет от подушки голову. Приподнимается на локтях.

Портрет смотрит на него.

За окном ливень, вода рубит по стеклу. Портрет смотрит на него, он, похолодев,

приподнимается на локтях, на улице ливень. Портрет смотрит на него. Государь Император Николай Первый, лицо мужественно и печально. Слышишь ли ты меня?

Голос откуда-то из-за картины. Или из-за окна, где льет. Или в голове. Слышишь ли ты меня? Он кивает: «Слышу». А голос продолжает, глухо, торопливо. Ты мой сын. Не удивляйся.

«Нет... Не может быть!»

Может. Ты мой сын. В детстве тебя подменили, по моему приказу. Да, ты не мой внук, ты мой сын. Те, кого ты считаешь своими родителями, твои родственники, не более. С них взята клятва молчать; ее они исполнили, но – увы! – не исполнили другой. Государь поправляет ворот мундира. Душно... Как душно! В детстве тебя подменили. Теперь ты должен прийти к власти. Забрать ее у этого...

«Мой дядя?!»

Твой брат. И, увы, мой старший сын, не выполнивший... превративший Россию... Голос то делается тише, то звучит в самое ухо. Ты должен прийти к власти. Есть те, кто тебе помогут. Иначе – не пройдет и полувека и династия погибнет, а Россия... Ты один можешь спасти. Но опасайся матери. И опасайся дяди. Они знают...

«Кто же моя настоящая мать?»

Государь ослабляет воротник; снимает эмалевый медальон. Из темноты глядит женское лицо. Она жива. Но она очень далеко. Очень далеко.

Сверкнула молния; Никола схватил медальон, тянет к себе, пытаюсь вырвать; гремит гром... И он очнулся.

Постель была ледяной, голова пылала; в сжатой ладони находилось что-то твердое и круглое; с усилием приподнял голову, разжал. Выпал медальон – лицо,

глаза, старомодная прическа. На обороте награвировано имя. Прочитав, снова впал в беспамятство; к нему заходили, его трогали, переворачивали, вливали в рот горькое, горячее; уходили. Прошел кризис – медальона уже не было. Исчез и портрет Государя. «Вы на него все показывали в бреду, мы сочли за лучшее...» Они сочли за лучшее.

«Прощай, прощай и помни обо мне...»

Так началась его борьба за престол. За спасение династии. За спасение России. Последнюю фразу прошу произносить без пафоса, господа актеры.

Призрак больше не являлся. Вместо этого он обнаружил через несколько месяцев под подушкой письмо. Письмо содержало выписки из воспоминаний некого графа N, недавно почившего. Этот N выполнял особо деликатные поручения при государе Николае Павловиче; при Александре Николаевиче был отстранен, заперся в имении, писал воспоминания; после его смерти, сообщалось в письме, они были по Высочайшему Повелению преданы огню.

В письме приводилась выписка, сделанная из них до сожжения: N сообщал, что в декабре 1849 года к покойному государю обратилась с просьбой о помиловании брата некая особа, имя которой не сообщалось. Государь внял ее мольбе и отменил смертный приговор не только ее брату, но и всем его сообщникам, так называемым петрашевцам; неожиданно государь страстно полюбил эту особу, плодом этой любви стало дитя мужского пола, родившееся в монастыре г. Лютинска и нареченное Ионой. Государь оказывал заботу о малютке и строил относительно Ионы широкие замыслы, которые держал в тайне. Положение осложнило внезапное бегство матери из монастыря; через некоторое время она была захвачена в форте Ново-Юртинске во

время набега киргизцами и продана в рабство в Хиву. За год до смерти государь принял решение: совершить тайный обмен болезненного внука, отпрыска своего среднего сына, на вышеназванного Иону...

Здесь поток воспоминаний обрывался. Автор письма сообщал, что через некоторое время ему представят более подробные сведения о его рождении и постараются помочь. Подпись: «Гораций».

Он еще раз перечитал письмо и еще. К утру уже знал его наизусть; поднес к свече, сдул пепел.

«О, любезный Горацио, тысячу золотых за слова Призрака!»

Он стал готовиться. Прежние дурачества были оставлены; дисциплина, обливание водой, книги. В восемнадцать лет по собственному желанию поступил в Академию Генштаба. Стал первым из Романовых, окончившим высшее учебное заведение, с серебряной медалью. Увлёкся живописью, стал собирать картины. Настоял, чтобы вернули портрет «деда» (про себя давно называл его отцом); долго стоял перед ним, водя пальцами по темному золоту рамы. Волновало только отсутствие обещанных писем: «Гораций» не торопился обнаруживать себя.

Перерождение Николы не осталось незамеченным; слишком стал выделяться на тусклом фоне династии. Мать, великая княгиня Александра Иосифовна, захлопнула крышку рояля и задумалась. Нимб честолубия, зазолотившийся над кудрями Николы, стал слишком заметен, требовалось что-то предпринять. Для начала – хотя бы женить.

Ночью под подушкой его ждал конверт. Друг Гораций советовал уехать путешествовать. Совет казался разумным, ему давно хотелось в Европу, подальше от

семейного льда и от слежки, которую он чувствовал кожей, затылком, спиной.

Да, чуть не забыл о главном, господа актеры. В письме называлось имя тайной возлюбленной государя.

Варвара Петровна Маринелли, урожденная Триярская.

Свеча, пепел.

В путешествии произошли две важные встречи. Первая: Фанни Лир, милая Фанни, его Офелия. Офелия уже была, правда, с дочерью и упоминалась в светских хрониках не иначе как «авантюристка из Америки». Дочь и Америка были правдой, что касается авантюризма, разумеется, ложь. Но давайте не будем об этом, господа... Поговорим лучше о второй встрече.

Вильям Стэд (Stead), тогда – молодой редактор дарлингтонского «Северного эха», более известный в узком кругу способностью брать интервью у духов умерших. Общение происходит посредством автоматического движения карандаша в руке медиума. Даже почерк совершенно совпадает с почерком покойных, он может показать образцы. Были показаны образцы. Ночью князь не спал, слушал лондонский дождь. Фанни лежала рядом, более старая во сне, чем днем; знала об этом, старалась спать раздельно, ускользать к себе после любовных битв; он удерживал ее рядом, она смирялась, засыпала, старела. Ему нравилось следить, как маска светской львицы исчезает с ее лица, как проступает на нем что-то материнское и одновременно детское, незащитное. Иногда в такие мгновения он будил ее и их любовная битва закипала снова... В ту ночь он не стал ее будить. Он слушал дождь. На следующий день было назначено собеседование с духом Czar Nicolas the First, Emperor of Russia[2].

Карандаш, дрогнув, начал: «Mon fils!»[3] Почерк был похож. Ему стало не по себе.

Adieu, adieu, adieu! remember me[4].

Было, разумеется, много тумана. Кто представил ему этого молодого, напористого духовидца? Он уже не помнил. Теперь это знакомство казалось ему неслучайным, подстроенным. А может, просто фатальным – он верил в силы судьбы. В любом случае письма от «друга Горация» иссякли, зато началась многолетняя тайная переписка с Вильямом Стэдом; по его просьбе Стэд еще несколько раз интервьюировал царственную тень, великий князь щедро оплачивал эти интервью – пока был в состоянии.

Когда призрак сообщил ему о Рождественской звезде? Кажется, уже в то, первое собеседование. «Звезда Рождества», – вывел карандаш. «Ты должен овладеть ею. Тогда ты сможешь овладеть престолом». Где она находится? Карандаш задумался. Великий князь отер платком лицо. На улице снова зашумел дождь. Карандаш ожил: «Звезда расколота на семь частей. Одна часть в иконе, которой я благословил...» Карандаш снова замер, потом вдруг начал дергаться, чиркать, сломался. «Theobjectisobviouslytired»[5], – пояснил Стэд. И еще раз, с англосаксонской улыбкой: «Tired!»

Дальше было возвращение в Россию, участие в Хивинском походе с целью узнать что-то о Варваре Триярской-Маринелли, очарование Востоком, новое послание из царства мертвых, история с иконой Владимирской Божией Матери, предательство, объявление его сумасшедшим, изгнание. Все это, господа актеры, представляет интерес для будущих господ историков; вам знать все эти частности ни

к чему. Играйте свои роли, господа. Королева, не торопитесь припадать к кубку: жемчужина еще не растворена. Клавдий, можете не поправлять ежеминутно корону, ей пока ничего не угрожает. Вы не стали дважды наступать царственными стопами на те же грабли: на сей раз Гамлет официально объявлен сумасшедшим (медицинское освидетельствование прилагается) и отправлен на гибель... Нет, разумеется, не в Англию. Россия – не Дания, хватает своих пространств, чтобы удалять лишних претендентов на престол.

Как видите, он не погиб, господа. Но на борьбу за жизнь ушла вся жизнь. Почти сорок лет. Эти сорок лет он наблюдал раскол династии. Наблюдал деяния Александра Второго Освободителя, «освободившего» Россию от порядка, его второй брак, расколовший Романовых на два лагеря; «Учреждение об императорской фамилии» Александра Третьего, которое лишало всех потомков императора, кроме детей и внуков, обеспечения имуществом... Наконец, полное игнорирование последним императором, этим венценосным подкаблучником, мнения великих князей; зависимость от жены, перессорившей его со всеми Романовыми. И теперь вот – Распутин... Наследник, страдающий гемофилией... Поражение в войне, слабое правительство, брожение, разложение, вывихнувший суставы век...

Век вывихнул суставы. Он был рожден, чтобы срастить их; его объявили вором, развратником и сумасшедшим; хотели разжаловать в солдаты, лучше бы разжаловали. Жизнь разлетелась на частности. Морганатические браки (первый, второй, третий), книги о древней дельте Амударьи и планы поворота рек, хлопкоочистительные мануфактуры, электротheater «Зимняя Хива», постановка «Гамлета».

Он подошел к окну. Погода окончательно испортилась, но на дождь пока не решалась. Ударил колокол; князь обернулся.

За спиной в живописных позах расположились актеры.

Клавдий дремал, Гертруда, скрестив руки, что-то жевала. Гамлет распластался на паркете, подложив вместо подушки череп Йорика.

– Вам все понятно, господа? Go, make you ready[6]...

Приподнялся Гораций в костюме алхимика. С легким малороссийским выговором произнес:

– Любезный принц, хотелось бы еще узнать о журналисте Вильяме Томасе Стэде. Насколько я понял, он был все эти годы после того сеанса вашим Горацио?

Великий князь снова посмотрел в окно. Ветер смял кусты, прокрутил перед окном птицу, унес ее куда-то.

– Horatio, thou art e'en as just a man[7]... Впрочем, о нем вы лучше узнаете из газет. За эти сорок лет Горацио стал гораздо более известен, чем забытый Гамлет. Что в наш век журнализма, право, неудивительно. Мистер Стэд стал редактором влиятельной «Pall Mall Gazette», основал «Review of Review» и бюро по общению с духами. Публиковал статьи о зверствах турков в Болгарии, о детской проституции, о контактах с потусторонним миром. Пацифист, вегетарианец, борец за мир и создание Соединенных Штатов Европы. Сейчас, кстати, собирается на Конгресс мира в Нью-Йорк, по личному приглашению президента Тафта...

Лондон, 13 апреля 1912 года

Вильям Томас Стэд чувствовал, что закончит свои дни в кораблекрушении.

Десять лет назад он описал гибель гигантского корабля «Majestic». Когда писал, задыхался, ловил воздух ртом; волны рушились на него со всех сторон. Три года назад, выступая перед членами «Cosmos Club», – говорил в защиту себя от Общества физического исследования, которое объявило против него крестовый поход, – снова увидел эти волны. Оборвал чтение, побледнел, воздел руки. «Предположим, происходит кораблекрушение, я тону и умоляю спасателей об одном – бросить мне веревку. Но вместо веревки они кричат мне: “Кто вы? Как вас зовут?” “Я – Стэд! Дабл-ю Ти Стэд! Я тону здесь в море. Бросьте мне веревку, быстрее!” Но вместо того, чтобы бросить веревку, они все продолжают кричать: “Как нам узнать, что вы действительно Стэд? Когда вы родились? Как звали вашу бабушку?”».

Он – действительно В.Т. Стэд, появившийся на свет 5 июня 1849 года. Ему шестьдесят два года. Он сидит в просторном кресле, рядом – стакан кипяченой воды.

– Я рад, мистер Sery, вы делаете большие успехи в автоматическом письме.

На диване сидит русский – смесь обезьяны и ангела. Серая тройка, мягкие губы, глаза навывкате. Выразительная форма ушей.

– You can call me «Mr. Gray», – говорит русский. – «Sery» in Russian means grey colour[8].

Английский его, конечно, слабоват. Немецкий акцент, палатализация. Впрочем, и у покойной Блаватской английский был не блестящим.

– Я предпочитаю называть моих русских друзей их русскими именами, – говорит В.Т. Стэд. – К тому же Грей... Но если хотите, могу называть вас Грей. Я слышал, что Дориан Грей... что книга моего бедного друга Оскара очень известна в

России.

– You know vehr gut the situation in our Russian literature[9], – гость заерзал на диване.

– Я стараюсь следить за всем, что происходит в России. Не желаете ли сигару?

Mr. Sery желал. Жадно закурил.

Этот русский ему не нравился; пожалуй, не стоило тратить на него время перед отъездом. Русские вообще его не сильно интересовали, его интересовала Россия. Двадцать пять лет назад он опубликовал свою книгу «Правда о России», она принесла ему больше успеха, чем даже следующая, которая имела более широкую рекламу, – «Христос пришел в Чикаго!». Впрочем, один русский был исключением: великий князь Nicolas, так щедро оплачивавший его услуги и поддерживавший его, тогда еще зеленого журналиста.

– Так чем могу быть вам полезен?

Mr. Sery отряхнул пепел и вздохнул:

– You see, I am writing a Roman... a novel. A sort of historical novel... It hab began in the mitte of the last century[10].

– О чем он? Да, кстати, вы можете говорить по-русски, мне так легче будет вас понять.

Гость улыбнулся – улыбкой человека, который хотел всем нравиться, особенно тем, кого тайно презирал.

– About the star, мистерСтэд. О звезде. Рождественской звезде. Мне казалось, что вам эта тема тоже небезынтересна.

– По роду своей деятельности я интересуюсь очень многим.

– Я читал вашу статью «The Star of Nativity: the Secret of the Russian Middle East Diplomacy»[11] в «Review of Review».

– Да, несколько лет назад я опубликовал что-то на эту тему.

– Там вы связываете исчезновение Серебряной звезды из Храма Рождества в Вифлееме с началом Крымской войны, когда европейские державы поддержали Турцию против России.

– Припоминаю... – Взял двумя пальцами стакан с водой, сделал несколько осторожных глотков. – Видите ли, Mr. Sery, это только гипотеза. Как вам, возможно, известно, покойные российские монархи иногда удостоивают мое Бюро своим посещением. Екатерина Великая, например, надиктовала одному из моих медиумов целый манифест, «Воззвание к славянам», я его тоже публиковал...

Мистер Серый кивнул:

– Yes.

– Даже не знаю, чему был обязан такой честью. Хотя... Мертвые не менее словоохотливы, чем живые. Особенно политики и царствующие особы. Возможно, поэтому ваши покойные монархи выбирают нашу Англию с ее традициями свободы слова... У вас в России даже мертвых умеют заставить молчать.

– В той статье вы ссылались на дух Николая Первого.

– Возможно.

Мистер Серый глядел на него фосфоресцирующим глазом; в боку что-то заныло. Не хватало, чтобы на дорогу его еще намагнетизировал этот русский. Начертил перед собой мысленную пентаграмму. Пора заканчивать.

– Видите ли, мистер Серый, под моим началом трудятся четырнадцать

медиумов, за три года мы имели более тысячи посещений от представителей потустороннего мира... Я же только публикую в своих изданиях наиболее любопытные случаи. Но не более того. Вы явно преувеличиваете мой интерес к русской теме.

– Хорошо. – После пентаграммы мистер Серый, кажется, скис. – Но я все-таки кратко расскажу, что мне удалось выяснить, когда я писал этот роман... этот почти документальный роман. Возможно, это вас все-таки заинтересует и вы...

– Только, если можно, кратко. Мне предстоит дорога в Саутгемптон.

– Этой историей меня заинтересовал мой друг. Мой очень близкий, интимный друг... Почему вы так смотрите? У нас были самые чистые отношения.

«Ну-ну, – подумал Стэд, глядя на ужимки своего посетителя. – Можешь рассказывать это своей бабушке».

– К тому же его жена...

– Если можно, ближе к делу, господин Sery.

– Да... Так вот, дед моего друга, некто Николай Триярский, был схвачен по делу так называемых петрашевцев, по имени господина Петрашевского, их предводителя. Было это при Николае Первом, и как раз через два года после похищения серебряной Вифлеемской звезды.

– Не вижу связи.

– Неожиданно государь заменяет казнь ссылкой в киргизскую степь, форт Новоюртинск. И там этот социалист, Триярский, знакомится с местным врачом по фамилии Казадунов. Так вот, мне удалось найти воспоминания этого врача, где он упоминает о звезде Рождества...

– И что же? – Стэд придал своему голосу как можно менее заинтересованное звучание.

Глаза гостя снова зажглись. Стэд потер занывший бок. Пентаграмму чертить не стал. На всякий случай сомкнул ладони:

– Припоминаю, я слышал об этом человеке, господин Серу. Он погиб при невыясненных обстоятельствах... Кажется, утонул.

– Как выяснилось, нет! Его столкнули с крепостной стены форта, после того как отобрали ту часть звезды, которой он обладал.

– А он сообщает, кто его столкнул? Тот самый... Триярский, или как вы сказали?

– Нет. Николай Триярский как раз в ту ночь бежал из крепости... Звездой завладел некто Маринелли, шурин Триярского.

– Шу-рин? Кто это?

– Муж жены. Простите, муж сестры. Но это другая история, сейчас о Казадупове; в своих записках он утверждает, что утром его, Казадупова, обнаружили под крепостной стеной без чувств, решили, что мертв, похоронили. При этом он, как утверждает, был почти в сознании. Довольно забавно описывает, как его отпевали и несли. Хоронили вечером, вскоре он пришел в себя и, конечно бы, задохнулся, но, к счастью, в этот момент могилу стал раскапывать вор, надеясь поживиться хоть какой-то мелочью со свежего покойника...

– Простите, мистер Серый, не могли бы вы говорить медленнее, я не все понимаю.

– Да... И вот, когда вор, это был киргизец или татарин, разрывает, открывает, и тут... От такого сюрприза у бедняги вора не выдержало сердце; Казадупов кладет его

вместо себя, зарывает и начинает размышлять, что же делать дальше. Для начала он уходит с этого кладбища...

– Разумное решение.

– Но в крепость вернуться он не может! В крепости – Маринелли, завладевший той частью звезды, которая дает могущество. И он уходит совсем. От потрясений в Казадупове возгораются религиозные чувства, он делается странником, ходит по разным святым местам, последний год жизни проводит в монастыре, там и пишет свои воспоминания. Перед самой смертью просит сжечь, но рукопись почему-то не сжигают, она исчезает из монастыря, через какое-то время списки с нее начинают обнаруживаться у некоторых раскольных сект... я имею в виду... Russianschismatic...

– Я понял. Raskolniki.

– Да. Я одно время очень любил народ, целую библиотеку о нем прочел, собирался даже издавать международный журнал, «LeMujikRusse». Церковь полюбил очень, все эти дымки и целования. А особенно раскольников. Ну и – хлысты, радения, шептания... Простите, отвлекся. От них список казадуповский и получил. Забрать, правда, не дали – только глазами, при них. Любопытно! Писал Казадупов, что еще в Новоюртинске от скуки выдумал из своей головы секту, сочинил им учение, ритуал, историю...

– От скуки?

– Ну да, вроде игры такой, когда выдумываешь от скуки и нерастраченной фантазии страну, географию ей сочиняешь, закладываешь ей в недра разные ископаемые, населяешь народом, потом половину его уничтожаешь, чтобы у народа была хоть какая-то история... Вот так и Казадупов скуки ради изобрел секту, назвал

рождественцами, заставил поклоняться Рождественской звезде; одного своего пациента, умственно отсталого, произвел в их святые... А потом в Новоуртинск прибыл этот самый Николай Триярский и все пошло вверх дном... Что я говорю? Наоборот, начало сбываться. И рождественцы в городе завелись, на Рождество свою службу в разрушенной церкви провели, и у Павла, этого их святого, открылись вдруг реликвии, частицы Вифлеемской звезды – той самой, похищенной до того...

– А вы верите, что этот доктор, что он действительно вначале все это выдумал?

– Вы-ду-мал! От скуки, зеленой скуки. А скука, особенно у русского человека, есть источник самого глубокого вдохновения, это я вам как специалист по русской душе заявляю. Скука – это выпадение из мира истории, в котором все что-то делают и все куда-то бегут, совершают и борются... Скука – впадение в космос, в котором ничего, одно вялотекущее время едва теплится, пространство и ветер, который ходит туда-сюда, как остроумно заметил один еврейчик. Зевок, а не жизнь, одним словом. Сколько от этого зевка, до хруста в челюстях, идей зародилось, сколько в нем же успело материализоваться! Потому что зевок – это космос, ночь; «хаос» у греков первоначально зевание, зевок означал: «Прежде всего во Вселенной Хаос зародился...» Но в то же время хаос – он и есть космос; Дионис, привстав на цыпочки, выглядывает из-за плеча Аполлона, бога гармонии, и строит рожи...

Стэд привстал:

– Мистер Sery, все это, разумеется, заслуживает интереса. Россия – вообще интересная страна. Я давно мечтал совершить путешествие по вашей Сибири, познакомиться с шаманами. В последнее время меня интересует и господин Распутин, еще одна русская тайна. Но сейчас у меня мало времени, а дел еще много.

Я внимательно выслушал вас, хотя, признаюсь, цель вашего визита так и осталась для меня неясной.

– Цель визита была предупредить вас, мистер Стэд. У меня было видение... Отчетливое видение...

Лицо Серого с закрытыми глазами приблизилось. Рот полуоткрылся, под глазами, носом, нижней губой шевелились тени.

Берег отплывал, вдали квакал духовой оркестр, мягко дрожали перегородки. Вильям Томас Стэд покинул палубу первого класса и заперся в купе.

Еще раз проверил дверь, опустил шторы.

Достал два черных футляра.

Раскрыл. Осмотрел.

Футляры были снова закрыты и спрятаны.

Оглядел свои руки. Легкая дрожь, не более. Плохой сон. Снотворное, которое долго не желало отыскиваться и еще дольше не желало действовать.

Он не хотел плыть в Нью-Йорк. Дело даже не в этом русском, которого он с трудом выпроводил. Он получал и другие знаки, ему снились сны.

Но духи молчали. Духи – молчали. Его сотрудники сидели с карандашами наизготовку, ожидая хоть какого-то сигнала; у медиумов были лица идиотов и глаза, похожие на пуговицы камзолов гвардии ее величества. Наконец дрогнул один карандаш: русский, имя Афанасий, фамилия Казадупов, врач. Послание было коротким, почерк, как у всех врачей, отвратительным. Удалось разобрать: «Ничего не опасайтесь, кроме белой звезды».

Белой звезды у него не было. В двух футлярах лежали синяя и желтая.

Белая, по сведениям, была у этого Распутина; год назад Распутину даже предложили за нее некую сумму, но аппетиты этого человека росли, и сделка не состоялась.

Как выяснилось, к лучшему. Каким образом сибирский мужик мог угрожать ему здесь, среди просторов Атлантики, он не мог представить.

Он не хотел плыть в Нью-Йорк, но отказаться от участия в Конгрессе мира он не мог. Политики, финансисты, дипломаты, корифеи оккультных наук, суфражистки и религиозные лидеры – все будут слушать его выступление в Карнеги-холле. Он откроет им, что Великая Война неизбежна. Он опишет – так, что они будут прямо видеть, слышать, осязать, – жертвы, кровь, стоны раненых, рокот аэропланов и конвульсии городов. Он покажет, как избежать этой Войны. И то, что хранится в двух бархатных футлярах, поможет ему в этом. Он всех убедит, внушит, обратит в свою веру. Правда, одну звезду, вот эту, придется все же передать президенту; у Америки, этой молодой страны, далеко идущие планы, «долларовая дипломатия», всемирное правительство; им нужна эта звезда. Сделка совершена, филиалы его Бюро откроются в самых крупных городах Нового Света, он уже объявил курсы для медиумов по изучению индейских наречий – на случай явления доколониальных духов. Нужно только вывезти остальные звезды из России, белую и красную, но это вопрос времени...

«А что, – вдруг подумал, – если под белой звездой Казадулов имел в виду звезды на американском флаге?»

Нет, разумеется, нет. У Казадулова было «белая звезда». Одна. Единственное

число, singular.

Жаль, не было времени до конца выяснить, кем при жизни был мистер Казадупов. Среди прежних посетителей Бюро такой не значился. Обычно, когда на интервью являлся новый дух, секретарь Бюро связывался с людьми в Национальной библиотеке, те рано или поздно что-то откапывали. Но до отплытия оставалось четыре дня, и в русских газетах успели обнаружить только двух Казадуповых: одного купца, спалившего в пьяном виде свой дом, и одного следователя, раскрывшего в Новгороде дело о похищении детей – имена не совпадали. И тут является мистер Серый, с глазами навывкате и с Казадуповым на устах. «Цель моего визита предупредить вас, мистер Стэд. У меня было видение...»

Перепрятав футляры, Стэд вышел из каюты. Коридор, лестница, палуба. Они вышли из Дублина, следующим портом будет уже Нью-Йорк. На палубе, как обычно, не протолкнешься; лица, на которые достаточно посмотреть один раз, чтобы от них устать. Несколько приятных, скорее всего, американцы. Смеются, кормят чаек. Наглые птицы летают совсем низко. Играет оркестр, его перекрикивают чайки. Четыре пароводные трубы уходят куда-то в небо. Наднимивьетсядым.

«How do we know you are Stead? Where were you born? Tell us the name of your grandmother»[12].

Он остановился рядом с желтой табличкой. Он уже проходил несколько раз мимо нее, но теперь внимательно читал каждое слово, шевеля побелевшими губами. Слов было немного. Название компании, эмблема, название судна.

На название компании он прежде не обращал внимания.

«White Star»[13].

Компания «White Star».

Корабль «Titanic» компании «White Star».

Невысокие волны мягко огибали борт; где-то уже звонили к обеду.

Ташкент, 21 мая 1912 года

Крики, головы, головы...

«Милый Кирус! Твое молчание переходит все границы. Я все еще в Питере, одурела от дождей и сырости, сижу в квартире больная, замотанная шарфом, от шарфа пахнет кошачьей мочой. Все время кашляю, это уже не оригинально. Всё мои легкие, которые пора бы уже переименовать в “тяжелые”. Смотрел врач, запретил мне заниматься живописью, попросил показать ему язык, что я с удовольствием и сделала. Прописал солнце и прогулки по воздуху. Мечтаю вырваться из этой болотной столицы, но в нынешнем состоянии это невозможно. Вчера ночью был жар, я глотала какие-то порошки и думала о тебе. Думала плохо, Кирус, очень плохо, прости меня. Винула тебя во всех своих делах, ты не должен был отпускать меня, должен был крепко схватить и держать, я бы только вначале вырывалась и царапалась, а потом бы все поняла и возблагодарила. Тебе нужно было сжечь все мои картины, так же как ты сжег свои, может, только “Синего рабочего” оставить и еще парочку эскизов, а остальное все сжечь, прямо на моих глазах, можно было бы еще пригласить Серафима, Петрова-Водкина и Ларионова, но без жены. Серафим, кстати, мне написал, что заразился сифилисом: полон новыми ощущениями. Сидит в Лондоне и совершенно несчастен, пишет роман, который хор его мэнад (Вострюкова

etc) уже провозгласил откровением о сущем. В романе что-то про волхвов, он мне изложил идею, но, когда я читала, у меня был жар, в памяти остались только сифилис и Вострюкова (некромантка с Мясницкой, теперь в Лондоне на конференции по метэмпсихозу). А перечитывать его письмо не хочу, потому что сегодня утром, после ночи и кошачьего пледа, у меня в голове снова возник ты, но теперь по-другому, светло, очень светло. Целый час думала о твоих руках. Помнишь, я их рисовала углем с сангиной? А потом ты меня обнял ими, а я все продолжала мысленно сверять с рисунком. А ты вспомнил про ребенка, я обиделась, но почему-то на твои руки обида не распространялась, я растворялась в них...»

Крики, головы, головы. «Тащишки» с грузами; «Пошт! Пошт!»[14]Ослы, верблюды, овощи, фрукты, мясо, мухи.

Отец Кирилл и следователь Казадупов прогуливаются по базару.

– Лучшее место в Ташкенте, – говорит Казадупов.

Отец Кирилл молчит. Головные боли посещают его все чаще.

– Ах, мадам де Дюбуша, это что за антраша, – напевает Казадупов. – Заявляю антре-ну: от любви я весь тону...

Старогородской базар покрыт сверху циновками – тень, приятная для посетителей и выгодная для торговцев.

– Лучшее место в Ташкенте, где можно незаметно поговорить, – продолжает Казадупов.

Отец Кирилл снова молчит. Он уже устал от казадуповских незаметных разговоров. На глазу отца Кирилла зреет ячмень. Базар его восторгов не вызывает.

Особенно мясной ряд, где воздух запружен мухами. Хотя мясную торговлю и предписывалось содержать в чистоте, деревянные полы мыть горячей водой с мылом, а земляные и кирпичные заливать известковым молоком. Шумно, грязно, нищие, лабиринты, от которых устаёт голова. И земля под ногами играет – то ступенька, то яма, то «сюрприз».

По дороге сюда они – главной частью Казадупов – как раз рассуждали о запутанной душе туземного Ташкента. Фальшивые повороты, чреватые глухой стеной или оврагом, тупики, прячущие в себе нежданную лазейку, кратчайшие пути, которые вдруг уводили за тридевять земель и оставляли в дураках. Европейец привык жить в удобном и прямолинейном пространстве, изобретенном для него Ньютоном, привык мыслить прямыми улицами, проспектами, где тело может двигаться прямолинейно и равномерно, прерывая движение лишь на заход в кофейню или магазин готового платья. Попав в туземный Ташкент, европейский человек сворачивал не там, тыкался в тупик, пытался форсировать невинные овраги, где сразу проваливался в глину и мусор и, даже перебравшись, оказывался совсем не там, где рассчитывал... Конечно, мыслить города по линейке европейец и сам научился не так давно и до Ньютона обитал в таких же кривоколенных закоулках, в каком-нибудь Gasse[15], где не то что две повозки – два почтенных бургера едва разойдутся, не стукнувшись задами. Да и прямые широкие улицы первоначально появлялись для удобства не жителей, а войск: новая Европа непрерывно воевала и улучшала свои армии – для маршей и требовались проспекты и площади. А что касается жизни, то жизнь в кривых и кособоких лабиринтах была куда уютнее, теплее, чем на продутых ветрами проспектах. Люди, живущие на проспектах, –

полые, неинтимные люди, мысль их не знает тех затейливых переходов и изломов, какие знает мысль укротника, уютника из тупика, из проезда, где вкусно пахнет огородом и детской пеленкой.

Казадупов при всей любви к прогрессу был на стороне лабиринтов, считая их, так сказать, естественным продолжением человеческого тела, а тело Казадупов, хотя и с легкой брезгливостью, но уважал. Тело не знает прямых линий, оно все из переплетений. Таков должен быть и город: построен как тело, а не как гроб. Оттого Казадупов не принимал Петербурга, который был весь по линеечке, и любил Москву, где какой-нибудь переулочек-выюнок мог закружить и запутать не хуже костромского лешего.

— Оттого москвичи теплее питерцев, — шурился Казадупов. — Уничтожьте в Москве всю эту лапшу, прорубите проспекты, и останется от москвича одна голая машина.

Отец Кирилл не спорил. Вспомнил, как плутали с Муткой по этим московским «кривоколенам», залучались в проходные дворики, где под ногами разбегались яблоки-паданцы.

Казадупов словно хотел что-то спросить, но разговор постоянно уезжал влево. То о лабиринтах, то о детях. Отец Кирилл надеялся, что следователь просто заводит разговор издалека, но Казадупов, поговорив, так тему вдалеке и бросал и начинал другую.

Казадупов говорил о детях.

Начал с туземных, которые бегали вокруг по базару, глядели глазками из лавок или тряслись мимо на осликах. Пробежал мальчик-водоноша с розой за ухом;

Казадупов спросил кружку воды; пока тот наливал, поглядел каменным взглядом на его розу, похвалил: «Чиройли»[16]. Звякнула тия[17]; роза, мелькнув в толпе, исчезла. Казадупов вылил воду: «Из арыков берут, шайтаны, а там зараза на заразе».

– Отец Кирилл, я у вас давно хотел насчет избиения младенцев разузнать.

Они уже сели в чайхану; отец Кирилл вспотел и отдыхал.

– Какого избиения?

– При Ироде.

– А... Ну это вам лучше у Иван Кондратьича спросить, он иудейские древности как свои пять пальцев...

– До вашего ребе мы еще доберемся. Меня сейчас православное мнение интересует: было избиение или не было?

– Было.

– То есть прямо всех-всех «от двух лет и ниже» умертвили?

– Было, – повторил отец Кирилл.

– А что же в других Евангелиях же об этом нет, а только от Матфея? И другие, так сказать исторические, документы об этом умалчивают?

Отец Кирилл улыбнулся:

– Мартын Евграфович, так Евангелие не для следователей писалось... И не для историков. Апостолы люди некнижные были.

– Апостолы – положим. Но евангелисты – у Матфея вон сколько цитат разных...

– Но не цитаты у него главное. – Отец Кирилл отпил чай; у чая был вкус дыма и глины. – Тут ведь что у него... Зарождение человека. Вначале перечисляются предки,

целое древо. Это как у здешних сартовских ходжей, которые утверждают, что потомки самого Пророка, – у любого из них свиток с родословной, возле каждого имени – печати, мне показывали. Так же и в начале Матфея. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова»... Потом все волнения до родов: тут и сомнение отца, что ребенок его, и выборы имени для сына. Роды не описаны, можно догадаться, как они в ту эпоху происходили, как сейчас женщины у сартов, – сидя на корточках, в закутке, дезинфекция одним пеплом. Потом подарки новорожденному – те самые волхвы с золотом, смирной и ладаном и, наконец, те болезни и опасности, которые... Ирод, избиение младенцев, глас в Раме, плач и рыдание.

– Выходит, самого избиения не было, а только иносказание, так? – Казадупов стал вдруг серым, или показалось.

– Ну, если жизнь человеческая, особенно детство его, – это иносказание, то да... иносказание.

– А я думаю, что избиение все же было! – вдруг сказал Казадупов. – И именно вот так, как описано. Может, даже всего остального не было, а это было! Потому что главная война в этом мире, главная битва всех народов, она – против них.

– Кого?

– Них... Детей. «Младенцев» по-вашему. – Глотнул из пиалы. – Вот они только зарождаются, а против них уже разрабатываются боевые действия. В пятидесяти из ста случаев детки не нужны. Их не хотят. «Ты уверена?» – и ледяное лицо. Лицо мужчины, узнавшего о беременности! Репина бы сюда с кистью; тоже в своем роде картина «Не ждали». Какая гамма чувств: страх, досада, вся палитра мужского малодушия. Лица женщин в таких случаях честнее, физиологичнее. Их лицо это уже

просто... добавка к животу, где помимо ее воли завелась новая человеческая дрянь и будет сосать из нее соки. Вы, отец Кирилл, даже не в самой игривой фантазии не представите, какие они способы применяют, чтобы аннулировать, так сказать... Какое уж тут «Авраам родил Исаака»! Тут жертвоприношение Авраама, даже не Авраама, наш Авраам давно стушевался, в лучшем случае радужную сунет, чтоб все в медицинских условиях. Тут Сарра – так, кажется, мамашу звали? – она и жертва, и жертвоприноситец... Кто из баб понервнее, те просто травятся: карболовой кислотой, нашатырем, уксусной, кокаином. «Причина самоубийства на любовной подкладке», как пишут в наших отчетах. Ну а те, которые хотят пожить, на солнышке еще погреться... Каких только боевых действий против детей, которые еще внутри, не предпринимают! Ну, самое любимое народом средство – это... – Казадупов вдруг рассмеялся. – Да вы не смотрите так, отец Кирилл. Настроение у меня сегодня веселое. Ладно, не буду перечислять. Да и вам на исповеди кое-что шепнут, ну, без художественных подробностей, конечно. Но у вас же в одно ухо влетает, в другое... «Иди, дочь моя, впредь не грешь». И она идет. Ох, как она идет!

– Многие все же рожают, – заметил отец Кирилл.

– Рожают. Ну, не сработал там какой-нибудь кипятильник с горчицей, а может, и побоялись, махнули: «Рожу, а там...» И – рожают, как вы, батюшка, остроумно заметили. А дальше – дальше чистая статистика, вот... – Извлек блокнот, пролистал. – «Подкинутые младенцев», до десяти случаев каждый месяц в городе... Вот, к примеру: «В гор. Ташкенте 31 июля по Соболевской улице к дому номер шестнадцать подкинут младенец женского пола, при котором оказалась записка “О примите добрые люди девочку”». Младенец отправлен в детский Кауфмановский

приют. Дознание производится». Проводится и ничего не дает... Или вот – они все с записками: «Брошен, не крещен, рожден от бедной женщины». Хорошо, а? Поэма в одной строке. Или: «Этот ребенок крещен, поляк, зовут его Владислав, 7 месяцев, больше не в состоянии его воспитывать». И его в Кауфмановский приют; бывали, там? А я бывал, поучительное место. Так-то вот. Это уже, батюшка, не жертвоприношение Авраама, а нахождение Моисея, которого мать в корзине из тростника на реке оставила, а дочь фараона нашла; интересно, кстати, где папаша Моисея в это время был и что подделывал, не помните?

– Сказано, что был он из племени Левина...

– Из племени Левина? Все, что известно? Да, видно, дознание тогда производилось так же глубоко, как и сегодня. Так что плывут эти тростниковые корзины флотилией в Кауфмановский приют с орущими младенцами и «помогите, люди добрые». Многие и до приюта не доплывают: или уже мертвым находят, от голода или замерз, или после того, как нашли... Но и это еще не вся история о младенце. Предположим, никто не покушался на его жизнь в утробе и не сплавлял в корзинах; проходят первые годы, все эти «уа-уа!», младенец, так сказать, возрастает, и вот тут... Тут наступает еще одна библейская картина, скупо отображенная в наших отчетах. – Полистал блокнот. – «17 декабря бухарско-подданным Мурад Али Хали Юсуфом совершено мужеложство над 6-летним мальчиком Каримкулом. Юсуф по приговору чрезвычайного схода осужден на 14 месяцев тюремного заключения». Еще примерчик. «В гор. Аулиеата 28 декабря мещанином гор. Верного Егором Дрыгиным изнасилована с полным растлением 8-летняя девочка Дарья Сурова. Дознание препровождено мировому судье». Еще, пожалуйста. «В Чимкентском уезде

25 июня житель Хантагской волости Абдурахим Сарым Саков изнасиловал Достая Таева 12 лет», в том же уезде «сарт Казак Ильясов изнасиловал 3-летнюю девочку дочь сарта Магомеда Нарбаева»... И такие вот украшают каждый отчет. А сколько утекает мимо отчетов! Властям не доверяют, боятся разговоров, славы; часто родителям сунут и те как рыба... Не сталкивались с такими случаями?

Отец Кирилл отчего-то вспомнил теплые дни на Монпарнасе, синие каштаны и эксперименты Такеды, который водил к себе натурщиц, вначале писал, потом быстро и немногословно спал с ними и снова писал. Часто были совсем маленькие, только с наметками на грудь; Такеда кормил их булками и молоком, как папаша; они пищали и просили вина.

— А я вот сталкивался. — Казадупов достал новую папку. — Первое известное дело, еще при государе Николае Павловиче, год тысяча восемьсот пятьдесят второй, до суда не дошло, поскольку подрывало весь образ его России, где кроме самодержавия, народности и, прошу прощения, православия ничего не было и быть не могло. А дело намечалось громким, очень громким. Выкрадывание детей, детская проституция; много крупных имен было замешано... Не сталкивались? Василий Никитин, семи лет; Мошка Песахович, пяти лет; Василий Вуглов, десяти лет; Сергей Баранов, Алексей Меликов, арап Федя Цыган, все девяти лет; Лев Маринелли, восьми лет...

От резкого движения отца Кирилла чашка опрокинулась, остатки чая поползли по столу.

— Да, отец Кирилл, ваш покойный родитель, Лев Алексеевич Триярский, бывший до того Маринелли. С вами, конечно, он этими детскими впечатлениями не

делился.

Отец Кирилл понимал, что нужно что-то сказать. Обрезать разговор, который теперь дошел до главного. Сидело уже на краю языка: «Не смейте говорить о моем отце в таком тоне» или «Вероятно, г-н Казадулов, здесь какая-то ошибка»...

Казадулов поставил чашку и стал ласковым:

– Отец Кирилл, я понимаю, каково вам слышать. Но, голубчик, идет расследование... Даже не о покушении на вас, другое расследование, расследование в высшем, так сказать, смысле. Тут уже не одна ваша жизнь, батюшка, и «искренних ваших»... Тут масштабы, о которых легче говорить какому-нибудь философу или дельфийскому пифии, чем простому следователю... В пользу вашего отца могу сказать, что в том печальном состоянии пробыл не слишком долго. Да, его проиграл в карты отец его, ваш, стало быть, гран-пэр. Как проиграл? Ну, как проигрывают... Тройка, семерка, туз! Попал на сборище детишников, это которые по детям работают, многие сами из бывших «деток». У их братства тоже свои праздники, с музыкой, на такой и попал, ну и проиграл нечаянно. Так вот батюшке вашему еще повезло, что он недолго «деткой» был и даже в одной утонченной семье... Вы, конечно, губы кривите, и я губу кривлю, но ведь мог он и к извергам попасть. А тут вначале к французскому дипломату, потом, когда того отозвали, то к купцу одному, греку; тот вообще держал его, кажется, больше для забавы, выпиливал с ним из дерева разные штучки и рассчитывал, когда тот вырастет, женить на своей умственно недостаточной дочери... Можете ознакомиться, вот выписка есть.

Отец Кирилл помотал головой.

– Понимаю... – сказал Казадулов. Обернувшись: – Эй, еще чаю! Особенного.

– Особенный закончился, – отозвался откуда-то русский голос.

– Ну, тогда этот... Как прошлый раз. И вытри тут, сидим как в луже. – Поглядел на отца Кирилла. – Они горные травы в чай кладут. Мятую разную... Узнали мяту? Отец Кирилл!..

– Первый приступ у него случился, когда мне лет шесть было. – Губы отца Кирилла быстро двигались. – Да, шесть лет, вечером. Мы ужинали. Он увидел что-то в окне. Увидел и закричал, не помню что. Схватил меня и стал куда-то запихивать, я даже стукнулся локтем. Мама испугалась, пыталась забрать меня, но он не отпускал. Одной рукой прижимал к себе, другой выбрасывал все из шкапа, у нас был шкап, я там сам иногда прятался. Туда хотел меня укрыть, крикнул: «Что стоишь!», маме: «Скорей помогай прятать, они по лестнице поднимаются!» Мама вдруг посмотрела на него и как-то все поняла и стала помогать ему, а мне шепнула, когда я уже был внутри: «Сиди тихо, это – игра. Папа шпильт, папа шпаст...[18]»; когда волновалась, у нее начинал вылетать немецкий, родной ее. Я слышал, как снаружи позвонили. Потом его голос: «У нас нет никакого ребенка. Никакого ребенка», и мамы: «Лео, это мсье Боровцев». Студент, из консерватории, бывал у нас до этого. И снова его голос: «Нет, скажи, что ребенка нет»... Потом что-то упало, стало тихо, где-то вдалеке мама объясняла Боровцеву, тот мычал, потом створки открылись, стояла мама и разрешила мне выйти, но я не захотел. Только ночью во сне меня отнесли в кровать. Об этом случае никто не вспоминал до самой его последней болезни.

– Он строил тогда церковь...

– Да. Он никогда не строил до этого церквей. Один только раз, в молодости,

поучаствовал в конкурсе на строительство Храма на Крови, говорили, у него был сильный проект, но победил Парланд со своей «чешуйчатой жабой»... Потом отцу предлагали, он отказывал. Помню, заказов уже почти не было и тут снова предложение, кажется, в Нижнем; мама спросила: «Почему ты опять отказался?», а он, мы сидели за столом, спокойно ответил: «Потому что Великий Пан умер» – и ушел, а мама... А потом первые боли, и тут предложение, Церковь во имя Рождества Христова в Плоском, отец согласился, но... Что-то не удавалось ему в чертеже, дважды уничтожал, стал отказываться от еды. В итоге – этот чертеж... Заказчики тоже были какие-то странные, купцы не купцы... Я жил отдельно, только раз видел, как они выходили... Были сложности со строительным комитетом Синода, который не одобрил, потом одобрил; папа жаловался, что все очень медленно, плохо спал, а когда началось строительство, – что торопятся, что гонятся как за зайцем. Тогда мама сообщила, что он начал спать в шкапе, закрывается в нем и засыпает, иначе никак, только так его оставляют боли. И эта церковь, Рождественская... Она так и осталась недостроенной, после того как отец... – Отец Кирилл поднял голову.

Подошел подросток лет двенадцати, с чайником и закуской. Был он в халате, на бритой голове ловко сидела тубетейка-дуппи, но лицо и глаза были не сартские.

– Особенный, – сообщил подросток, – кайтаря[19]. Для вас приготовили.

– Ну что, Джура, – спросил Казадупов, – обрезали они тебя уже?

Подросток дернул головой, тихо:

– Не дамся.

– Что ж ты не хочешь? Или не веришь в их бога?

– Не верю, – еще тише сказал Джура.

- А в нашего?
- И в нашего не верю.
- А во что веришь?
- Будете чай еще?
- Нет, иди.

Джура забрал с соседнего стола пустые чашки и убежал.

– Ну что, батюшка, ожидали встретить в чайхане юного нигилиста? – Казадупов протер пенсне. – Георгий он.

– Русский?

– Из переселенцев. Распродали все домашество – и сюда. Пятеро детей, муж, как приехали, помер. Земли не дали. Ну, мамаша и распорядилась детьми. А что делать? Милостыньку не просят, не воруют, и то спасибо... – Тронул ладонь отца Кирилла. – Простите, что оборвал ваш рассказ...

Появился Георгий-Джура с длинной метлой, побрызгал на пыль и стал мести ее длинными музыкальными движениями.

Город Прокаженных, без даты

Гаспар сидел на седой от соли земле. Ветер дул в сторону, противоположную пришедшим новостям. Значит, новостей можно не ждать. Он и не ждал.

Рядом сидел тот, кто был его другом и учеником. Тот, кто на рассвете его предал. Тот, кто предает его каждые шесть лет.

Но для чего заводить ученика, который тебя не предаст? Какая польза от друга, который никогда не попытается переломить тебе хребет? Безопасная дружба – удел

слабых. Когда-то он сам был слабым.

«На чем мы остановились?» – посмотрел он на предателя.

«Я записал, как вы были заключены русским падишахом в тюрьму. Как вас должны были казнить, но падишах смиловался и отправил в крепость Нау-Юрт. Как вы встретились там с хранителем звезды. Как потом сбежали и попали в плен. Как вас стали продавать в рабство».

Ветер подул сильнее. Нет, новостей точно не будет. Сафед шуд чу дирахти шикуфадор сарам... Вазин дирахт хамин мевайи гхамаст барам...[20]Медленно, медленно прорастала в нем, как болезнь, сквозь звук ветра и дыхание его, музыка.

Одиннадцать ладов-макамов из двенадцати.

Макамат ушшак, Солнце в башне Овна.

Макамат хусейни, Солнце в башне Тельца. Локон сестры.

Макамат буселик, Солнце в башне Рака. Локон вдовы.

Макамат рахави, Солнце в башне Льва. Локон льва. Слух о его чудесном спасении изо рва со львами разносится по всему седьмому климату, его считают святым, поклоняются ему и снова продают в рабство. Абдулла-Живот готовит его к продаже. Его почитатели складываются, чтобы выкупить его, собранных денег все равно не хватает, тогда они покупают временно действующий яд, передают его ему, и в день продажи его находят мертвым. К нему приходит обмывальщик трупов по имени Курпа – так он встречается с Сыном, рожденным благодаря его сну, когда он еще пребывал в зиндане десятого климата. («Тихо... Не кричи. Делай, что скажу». – «А кто это?..» – «Святой. Что вылупился, святых не видел?» – «А он может совершить для меня чудо?» – «Он сейчас такое чудо совершит, что твой болтливый

язык превратится в кусок риштанской глины и вывалится изо рта! Делай, не задавай вопросов»).) Солнце в башне Льва, маканат рахави.

Маканат наво, Солнце в башне Девы. Созерцание, успокоение; листья тала, падающие на осеннюю воду хауза[21]. Курпа наклоняется, зачерпывает из хауза осень, круги на воде. Путешествие с Курпой на Тахти Сулаймон, шелкопряды, исцеление прокаженного, мысли о сестре, сон, дева, любовная сила. В «земле прокаженных» он начинает строить город, для себя и Курпы. Зарывает локон сестры, на этом месте строит первую крепостную башню, башню Сестры; Курпа играет на рубабе. Солнце в башне Девы, маканат наво.

Маканат бозорг, Солнце в башне Весов. Он и Курпа покидают седьмой климат и направляются в восьмой, где земля плоская и властвуют северный и восточный ветры, от которых халаты на нем и Курпе надуваются подобно парусам. Вместе с караваном они направляются в крепость Нау-Юрт, но перед самым Нау-Юртом караван сворачивает: в крепости чума, горят костры, ветер несет обрывки огня и дыма. Во время вечернего намаза они тайно проходят в крепость. Она почти пуста, жители переселились из нее, кто в другую крепость, кто в другой мир. Они проходят дом возле узкой реки, где он жил раньше. (Дом был пуст... Только старый пес Шайтан поглядел белыми глазами, не в силах поднять голодное тело и залаять.) Они проходят церковь, где быстро и привычно идет отпевание. (Из церкви вышел постаревший отец Геннадий, не узнал, пошевелил губами.) Они подходят к дому правителя крепости, дорогу преградил стражник, Курпа заиграл маканат бозорг, стражник исчезает, дверь открывается. Дом оказывается пустым, только за столом правителя сидит существо с головой обезьяны и телом дракона, читает бумаги и

взвешивает на весах души. Весы старые, души рассыпаются и стучат по полу, как горох. (Маринелли нигде не было... Первая, вторая комната. Еще дверь. Стон шел откуда-то снизу.) Курпа заиграл макама́т бозорг, тайная дверь открывается. (Подвальные комнаты, заставленные мебелью. Шелк, ковры, паутина, вонь. В самой большой комнате на полу четыре женщины, с зеленоватыми лицами, неприбранные; одна, глядя в потолок и по-кошачьи распахивая рот, стонет. Посреди комнаты стоит ложе, обставленное со всех сторон горящими и погасшими свечами. На нем лежит тот, кто когда-то был Алексисом Маринелли. Он поднимает зеленоватое веко: «Я знал, что ты придешь». «Ты хорошо подготовился к моему приходу». Худая женская рука дергает меня за халат: «Прикажите Анетте, чтобы она не кричала. Она думает, что у нее чума, а она просто переела печенья». «Приказываю». Анетта перестает стонать и начинает смеяться. «Звезда не принесет тебе счастья», – шевелит губами Маринелли. «Мне не нужно счастье. Счастье делает слабым. Я строю город, мне нужна звезда». Маринелли роется под ковром, которым накрыт, быстро вкладывает что-то в мою руку, сжимает ее. «Прошу, Расскажи сыну Левушке...» – начинает Маринелли. «Левушке...» Я отрезаю седой локон с его головы.) Они выходят из дома правителя крепости. Дом исчезает за их спиной в языках пламени. («Пожар! Пожар!») Они возвращаются в седьмой климат. Солнце в башне Весов, макама́т бозорг.

Макама́т сефахон, Солнце в башне Скорпиона. Он строит город для прокаженных, многие из строителей исцелились. У них все общее: хлеб, вода, женщины. Уже возведены три башни. Башня Сестры на месте, где он зарыл локон сестры, башня Близнеца, где зарыл локон близнеца, и башня Вдовы, где локон вдовы.

Когда возвели башню Сестры, в крепости появилась еда. Когда возвели башню Близнеца, в крепости появились зеркала. Когда возвели башню Вдовы, в крепости появились музыкальные инструменты. Нужно успеть построить четвертую башню, башню Льва. Тогда в крепости появятся воины. Он закопал локон льва, насыпал сверху горку из песка. Вокруг стояли строители с изуродованными лицами, одни держали строительные инструменты, другие – музыкальные, третьи – зеркала. Курпа начинает маканат сефахон... «Идут!» – крикнули с башни Сестры. «Их много!» – закричали с башни Близнеца. На башне Вдовы поднялась труба и заиграла тревогу. Войско людей десятого климата, где властвует северный ветер и солнце в летние дни не заходит и похоже на перезрелый плод хурмы, шло на его крепость. (Это были русские войска. Ташкент был взят еще весной, теперь они шли по степи, завоеывая все больше и больше пустоты. Моя крепость была недостроена, воинов в ней еще не было, они легко вошли и остановились. Я приветствовал их в городе прокаженных. Я говорил через толмача. Для чего открывать им, кем я был в прошлой жизни? Этой жизни уже давно нет, и меня того тоже давно нет. Но я ловлю русскую речь, вглядываюсь в русские военные лица, хотя и потемневшие от здешнего мусульманского солнца, чувствую русский дух серых от пыли кителей, и это отвлекает меня, не дает собраться. И еще – ненависть. Я ненавижу их, я ненавижу всех, кто помешает мне построить Город. «Какие странные башни, мы думали это мираж, – говорят они, – такие невысокие и причудливые...» Да, они совсем невысокие, но для чего прокаженным высокие башни? «Какие странные башни», – снова говорят они, обещают прислать врача, много врачей и исчезают в облаке пыли. «Учитель, – подходит Курпа, – волосы у них были слишком короткими, и я не успел

срезать локон». «Они еще придут сюда, Курпа. Не только их волос, но и их крови и костей будет здесь вдоволь. – Я подошел к Курпе и снял скорпиона, ползущего по его халату. – Ты еще не на той ступени, когда укус этих тварей становится безвреднее поцелуя ребенка». Курпа улыбнулся. Тогда я первый раз понял, что он предаст меня.) Солнце в башне Скорпиона, макамат сефахон.

Макамат арок, Солнце в башне Стрельца. Башня Льва еще недостроена, недалеко, ближе к Амударье, происходит схватка русских с хивинцами. Выстрелы и стоны раненых разносятся по прозрачному зимнему воздуху далеко над степью. Он стоит на башне Сестры и наблюдает за битвой. Сыны восьмого климата теснят сынов десятого, обрезанные бьют необрезанных. Его Город обе армии обошли стороной: воины не боятся смерти, но боятся проказы. Над полем схватки висит солнце, отражаясь в штыках и саблях. Гаспар спускается вниз. Курпа быстро поднимается с земли, опять, наверное, думал. Апории и силлогизмы, силлогизмы и апории... Курпа приветствует его поцелуем в левое плечо. О чем ты думал, о Курпа? «Я думал о том, чтобы испросить вашего благословения, учитель». На что? «На предательство. Я решил предать вас, учитель. Я должен вас предать. Мне нельзя больше оставаться в том мире, который создали вы. Благословите меня на предательство, учитель!» Ничего не ответив, Гаспар поднимается на башню Близнеца. Схватка завершилась ничем, обе армии отступили. Вечер, время собирать урожай мертвых и раненых, солнце отражается в ленте Амударьи. Он спускается вниз. Курпа быстро убирает калам и чернильницу, опять, наверное, стихи: розы и соловьи, соловьи и розы... Что ты написал, о Курпа? «Я написал прошение в стихах, учитель». О чем? Курпа читает. Стихотворение в форме кыта, с парной рифмой в

первом бейте. Описывается жизнь молодого шелкопряда и его превращения на пути к истине. Заканчивается словами: «В одном коконе не могут жить две бабочки. Курпа должен разорвать его скорлупу и вылететь, мотылек Курпа должен придумать свой мир. Так благословите меня на предательство, о учитель!» Ничего не ответив, он поднимается на башню Вдовы. Наступают сумерки, две армии расположились на расстоянии, похоронили мертвых, перевязали раненых и варят похлебку. Он спускается вниз. Курпа быстро убирает рубаб, опять, наверное, песни: кравчие и красавицы, красавицы и кравчие... Что ты сложил, о Курпа? «Я сложил песню-мольбу, учитель». О чем она? Курпа играет маканат арок. В песне расписываются выгоды шелководства и торговли шелком. Занятие шелком, поет Курпа, приносит не только богатство, но и сокровенное знание. Средства, вырученные на торговле шелком, можно использовать на расширение тайного учения, на вербовку новых сторонников. Заканчивалась песня словами: «Заниматься шелком – легким, блестящим – насколько это лучше, чем сидеть на одном месте среди прокаженных и возводить никому не нужные башни! Так благословите меня на предательство, о учитель!» «Хорошо, Курпа, – медленно сказал он, – ты убедил меня. Видимо, звезда, которую тебе вместе с даром стихосложения передал умирающий поэт, которую ты положил за щеку, а потом проглотил, она уже растворилась в твоём теле, вошла в кровь, желчь и лимфу. И теперь эта звезда, чьи частицы движутся в тебе и тревожат твой мозг, требует этого ухода. Да будет так. Но прежде, чем я тебя благословлю на предательство, я должен испытать, способен ли ты на него. Слушай: ты должен отправиться сейчас в войско русских...» Он наклонился к уху Курпы, в котором белела серебряная серьга, и зашептал. Курпа поднялся, кивнул и исчез в сумерках.

«Благословляю тебя на предательство, – сказал Гаспар, стоя на недостроенной башне Льва. – И проклиная тебя верностью, страшной верностью, на которую только способен ученик, вставший на свой путь. Раз в двенадцать лет ты будешь приходить ко мне и умолять сказать, как тебе жить и что тебе делать дальше. Ты так и останешься обмывальщиком трупов, и каждый раз, когда ты будешь создавать новые учения и новые миры, они будут холодеть и деревенеть под твоими руками, желтеть и издавать запах...» Он так и не узнал, совершил ли Курпа то двойное предательство, на которое он его благословил. Курпа исчез. Оба войска на следующий день выполнили странные маневры и почти полностью истребили друг друга, и лишь подоспевшее подкрепление русских решило судьбу схватки в их пользу. Он разрыл основание недостроенной башни Льва и положил туда, рядом с отрезанным локоном льва, пучок волос, срезанный с мертвого русского воина. Строительство башни сразу пошло быстрее, скоро она была достроена. Солнце в башне Стрельца, макаMAT арок.

МакаMAT зангуле, Солнце в башне Козерога. Крепостные стены завершены. Башня Сестры, башня Близнеца, башня Вдовы, башня Льва, башня Врага. И еще одна башня, Трех Царей, единственная, в основании которой не погребен локон, единственная, в которой есть ворота. Через них Город Прокаженных общается с миром, через них прокаженные со всех климатов приходят в Город и становятся его жителями. Некоторые со временем исцеляются. Одни исцеленные уходят через ворота Трех Царей обратно в мир, другие остаются и помогают в строительстве. Город имеет форму круга. У каждой башни свой оттенок, благодаря особой кладке кирпича и составу глины. Глина здесь особая, певчая. Когда дует ветер, каждая из

башен издает свой тон. В середине Города вырыт широкий и глубокий колодец-сардоба, покрытый куполом. Со дна его черпают воду для питья. В колодец спускаются веревочные лестницы, они ведут в норы, которыми изрыта верхняя, самая широкая часть колодца. В этих норах прячутся от зноя, от стужи и от русских. Но русские бывают здесь редко, за все годы один отряд, один топограф и один врач в пенсне. Отряд, покружив под башнями и напылив, ускакал дальше; врач умер от солнечного удара, топограф долго чертил, измерял да и сошел под вечер с ума. Гаспару жаль их. Иногда из черных вод его памяти всплывают то русский романс, то церковное пение, то причитание матери. Раз в год, в декабре, в Городе Прокаженных устраивают праздник. На башнях загораются костры, ворота Трех Царей распахиваются. Звучит маканат зангуле, на трех верблюдах в Город въезжают три великих царя. Из подземного храма выносят звезду в серебряной оправе. Солнце в башне Козерога, маканат зангуле.

Маканат хиджаз, Солнце в башне Водолея. Прискакал молодой всадник, рожденный под знаком Водолея, из сынов десятого климата. Сказал, что он – великий князь Николай Константинович Романов, и спросил воды. Гаспар сам поднес ему воды. «Хорошая вода, давно такой здесь не пил. Переведите ему», – сказал великий князь. Гаспар молчал – перед ним стоял человек звезды. Ночью князь пришел к нему снова, уже один, бледный, с дрожащими губами. «Твоя звезда сильнее. Кто ты?» – «Я – строитель этого Города по кличке Гаспар. Я родился сорок семь лет назад, в той же стране, что и ты, жил в той же столице ее, что и ты. По оговору меня вначале заковали, хотели казнить, потом заменили смертный приговор ссылкой в киргизские степи». «Моя история похожа на твою, – ответил князь. – Я

родился двадцать семь лет назад в той же стране, что и ты, жил в том же городе, что и ты. По оговору меня вначале заковали, хотели тайно убить, потом заменили смерть ссылкой в киргизские степи. Я живу в Оренбурге, тоска... Но скажи, как твое настоящее имя?» «Своего настоящего имени человек не знает, его он слышит только в момент смерти. Когда меня первый раз продавали в рабство, то называли Джура, так они называли всех русских рабов. Когда я бежал и примкнул к артели строителей, они дали мне имя Гаспар, так называют всех русских строителей. Это имя мне понравилось. Когда меня снова продавали в рабство, я попросил и Абдулла-Живот сохранил мне это имя. А раньше, давно, меня звали так же, как и тебя – Николаем... Николаем Петровичем Триярским, если это бессмысленное сочетание звуков способно что-то сказать». Где-то пискнула летучая мышь. «Это сочетание звуков мне говорит очень много, – проговорил молодой князь. – Говорят, в раннем детстве меня подменили, и на самом деле я сын Николая Первого и женщины, которую он любил. Варвары Петровны Маринелли. Урожденной Триярской. Если это так, то вы – мой дядя, а я – ваш племянник». Гаспар посмотрел на него: «Если бы я не разучился плакать, то этот колодец переполнился бы сейчас от моих слез. Если бы я не разучился радоваться, то на каждой башне сейчас запылал бы костер. Но к чему мешать пресную воду с солью и тратить понапрасну дрова? Я разучился и плакать, и радоваться, и твои слова для меня почти такое же бессмысленное сочетание звуков, как и мое бывшее имя, как и то, что я сейчас говорю. – Помолчав, добавил: – Расскажи лучше, как ты завладел звездой. Только подожди, я позову музыканта. Маканат хиджаз способен придать смысл любому самому бессмысленному сочетанию слов». Пришел музыкант с повязкой на лице, тронул струны. Молодой

князь начал: «В Англии меня познакомили с одним журналистом, который мог вызывать души умерших и получать от них ответы. Он вызвал для меня дух покойного государя. Дух написал, что единственный способ доказать мое право на престол и получить дар власти – завладеть звездой. Он указал, что она находится в иконе, которой он благословил на брак своего сына Константина, моего предполагаемого отца». «Безумец! – прервал его Гаспар, – никогда ничего не нужно выпытывать у мертвых. Все, что нужно, они сообщают сами. Когда у них что-то выпытывают, вместо них говорят бесы с зеленой кожей». Молодой князь продолжал: «Вернувшись в Петербург, я разыскал эту икону. Это была икона Владимирской Божией Матери, хранилась она в Мраморном дворце. Вся риза ее была украшена драгоценными камнями. Как узнать, который из них звезда? Я долго стоял перед ней, делая вид, что молюсь. Взгляд мой все больше привлекали три бриллианта, светившиеся в полумраке. Я сказал своему адъютанту, которому доверял, как самому себе, тайно вытащить эти бриллианты из ризы, вставив временно вместо них стекляшки, и отнести к ювелиру, чтобы тот определил... Я не собирался воровать эти камни, если бы одним из них оказалась звезда, я бы только заменил на более ценный, у меня уже была собрана нужная сумма». – «Безумец! Нельзя похищать звезду, она должна прийти сама. Тот, кто пытается ее похитить, теряет рассудок». – «Я не хотел похищать... Только заменить более ценным камнем. Но во сне я услышал женский голос, просивший меня не делать этого. Утром я первым делом кликнул своего адъютанта, чтобы остановить. Его нигде не было. Дальше началось что-то дикое. Моя мать почему-то именно в то утро решила приложиться к этой иконе. На месте бриллиантов темнели дырки, он почему-то не вставил туда стекляшки, забыл

или торопился. Отец вызвал полицию, бриллианты быстро нашлись, но почему-то заложенные в ломбард. Установили, что их отнес туда мой адъютант. На допросе он сказал, что отнес их туда по моему приказу. Обыскали мой кабинет – нашли в столе ту сумму, которую я подготовил для покупки бриллианта для замены. Решили, что это те деньги, которые были получены за заложенные камни, хотя в ломбарде называли сумму гораздо меньшую. Дело быстро раздули, мать сама сообщила государю, создали особую комиссию. Они считали, что я просто нуждался в деньгах и эти деньги собирался отослать женщине, американке, с которой был близок. Я клялся, что не похищал их для того, чтобы заложить; это ведь было правдой. Мне не верили, все было против меня. Мать сказала: “Ты – не наш сын”. Произнесла она это так, что было ясно, что сказано это не в переносном значении, а в прямом. Что все эти годы она словно ждала повода, чтобы произнести эту фразу. И добавила: “А нашего сына, нашего первенца, уже нет”. Что мне было делать? Я рассказал им о звезде. Меня внимательно выслушали и объявили сумасшедшим. Заперли, стали пичкать лекарствами. Били, подсовывали игрушки. Я пытался покончить с собой, на меня натягивали смирительную рубашку. В одну из таких минут я стал молиться Божией Матери, прося простить меня, что поднял руку на икону, и дать мне умереть. В это время мне выкручивали руки и лили на затылок холодную воду. Я уже почти лишился сознания и тут увидел свет. И тот же женский голос, который обращался ко мне той ночью, сказал: “Простить не могу, могу только молить, чтобы тебя простили. Но пожалеть могу. Не те камни ты за звезду принял. Вот она”. В мою ладонь лег маленький невзрачный камень. Никогда бы не подумал... Как только лег, сверкнул необыкновенным светом и снова погас. С того дня отношение ко мне стало

лучше. Почти не били, прекратились лекарства. Звезду прятал во рту, потом случайно проглотил ее. Ну, думал... выйдет... со временем...» – «Безумец! Войдя в уста человека, звезда остается в нем до смерти. Впрочем, и я прятал во рту и проглотил, когда первый раз продавали в рабство». – «Что же мне делать, Гаспар?» – «Забыть. Забыть о прежней жизни, о Петербурге, о праве на престол. Создавать свой мир здесь, в пустыне. Свою Империю, свой Город. В Оренбурге, а лучше – в каком-нибудь Ташкенте, с чистого листа. Это и есть путь человека звезды. У него все сбывается, только не там, и не так, и не тогда... Я мечтал быть архитектором, мечтал строить новые города для людей будущего из железа и стекла в России и Европе. И это сбылось. Я строю город для прокаженных, Моховкент[22], Лепроград, из глины и песка, среди азиатской пустыни». Князь поднялся: «Тогда я стану правителем пустыни, Государем Всея Пустыни. Я пророю здесь каналы, насажу деревья, разведу сады. Построю железную дорогу, я уже начал готовить проект. Я выстрою каменные дома, самым величественным будет мой дворец... Готов ли ты помогать мне в этом?» – «Люди звезды могут помогать друг другу только в детстве и юности. У меня был юный ученик, я помогал ему, он помогал мне. Но он был человеком звезды, и, как только голос его загрубел, а лица коснулась бритва, он ушел. Когда звезда Рождества раскололась на части, люди стали...» Но тут музыкант завершил маканат хиджаз, и Гаспар замолчал, чтобы не пачкать речью тишину. Молодой князь уже стоял возле башни Сестры. «Последний вопрос. Что случилось с моей подлинной матерью, вашей сестрой? Можно ли ее повидать?» – «Это не принесет тебе счастья». – «Мне не нужно счастье. Счастье делает слабым». – «Да, это слова человека звезды. Но иногда необходимо быть слабым. Сильный человек, неспособный испытывать слабость,

никогда не познает, что такое сила. Мужчина, не способный чувствовать себя женщиной, никогда не познает, что такое мужество. Взрослый, не способный вести себя как ребенок, никогда не познает, что такое взрослость». Молодой князь вышел через ворота Трех Царей, которые сами распахнулись перед ним. Звякнула упряжь, простучали копыта. Гаспар упал на глину и пролежал неподвижно остаток ночи. Утром оказалось, что вода в колодце за ночь стала соленой, на башнях обнаружили погасшие угли. Солнце в башне Водолея, макамат хиджаз.

Ветер подул еще сильнее.

Курпа спит, уткнув голову в колени. Калам, китайская чернильница и русская тетрадь лежат рядом. Ветер тревожит тетрадь, подсыпает в чернильницу песка. Раз в двенадцать лет Курпа приходит сюда, молча ползет за ним на коленях. Целует его сухие и легкие ладони, работает со всеми на строительстве. Ночью, когда они одни, спрашивает: «Учитель, как жить дальше? Я не успеваю обмывать свои мысли, а мои ученики не успевают их хоронить». Гаспар отвечает медленно, с трудом подыскивая слова, потому что Курпа будет делать ровно противоположное тому, что он ему скажет. Утром он диктует ему свое жизнеописание, с трудом подыскивая слова, потому что Курпа перепишет все сказанное по-своему. Потом Курпа просит благословить на предательство и уезжает. Курпа стал стариком, состарились ученики Курпы, любовницы и жены его учеников, ученики его учеников.

Гаспар сам потерял счет времени. Да и зачем считать то, чего здесь нет?

Когда недалеко пустили железную дорогу, в Город стали наведываться посторонние: врачи, чиновники, женщины. Но, кроме башен, сардобы, нескольких хижин, пыли и песка они не видят здесь ничего. Весь Город он возвел под землей,

превратив прежние норы в большие пещеры. Там – дома, там – храм, театр и лепрозорий. Но пока не прозвучал маканат кучек, соответствующий башне Рыб, город не может быть достроен.

Курпа шевелится во сне, сжимает губы. Как человек звезды, он притягивал женщин, они шли за ним молчаливой, напряженной толпой. Когда Курпа приходил в Город, женщины устраивали неподалеку палатки, варили шурпу, воспитывали детей. Любимицей Курпы была старая горбунья; Курпа признался, что она его бьет. «Оставь их, любовь приносит человеку звезды в пять раз больше мучений, чем обычному», – сказал Гаспар. Курпа каждый раз обещал и каждый раз приходил с новой толпой, еще больше. «Я их не люблю, – говорил он, – они просто часть моего мира. Единственная живая его часть». И снова уходил через ворота Трех Царей, которые сами распахивались перед ним.

Иногда Гаспар выходил из Города, садился на холм и ждал свою смерть. Здесь, за пределами его мира, ей будет легче забрать его. Чтобы привлечь ее, он называл вслух свои годы, восемь по десять, перечислял то, что пережил, и тех, кого пережил. «Голова моя стала белой, как цветущее дерево, но от этого дерева нет иного плода, кроме скорби...» Все это самообман. Пока не прозвучит маканат кучек в башне Рыб, пока город недостроен, он не может умереть. Сколько раз при входе Солнца в башню Рыб он просил наиграть этот маканат... Рвались струны, ломались колки, мелодия звучала фальшиво. Значит, еще не время. Еще не время. Что-то еще должно произойти. Должно. Но когда?

Ветер дул в сторону, противоположную приходившим новостям.

Значит, новостей можно не ждать. Он и не ждал.

Постепенно в его голове сам собой складывался замысел...

Ташкент, 22 июня 1912 года

Выстрелила полуденная пушка.

Отец Кирилл в соломенной шляпе свернул на Головачевскую и пристроился под тень тополей. Шел он крупными шагами, но не торопясь. Заседание назначено на двенадцать, соберутся не ранее полпервого.

С приходом лета город, и без того неспешный, начинал жить по-черепаши. Прятался под панцирь домов, навесов, виноградных шпалер, под тень от общественных деревьев и без нужды оттуда не высывался. Женщины освежали себя китайскими веерами, мужчины – газетами консервативного и умеренно-либерального толка; в туземном городе доставали из сундука елпигич[23] и крутили пред лицом.

В саду у отца Кирилла распустилась магнолия. Вокруг нее гудели пчелы. Запах шел невероятный.

Мимо отца Кирилла неспешно пробежала лошадка, плеснул хвост.

Отец Кирилл обернулся. Пролетка была уже в конце улицы, в ней – дама в белом.

Отец Кирилл глядел на пролетку, на даму. Рот у него раскрылся, глаза, наоборот, сощурились из-за солнца и небольшой близорукости, которой страдал.

– Не может быть... – сказал вслух. – Мутка, здесь... Она бы...

Неловко побежал в сторону пролетки. Почувствовал, что на него смотрят («батюшка бегает»). Махнул рукой. Хотел крикнуть, не крикнул.

«Конечно не Мутка. – Остановился, дыша. – Однако...»

Поправил шляпу.

Отец Кирилл шел, сердце стучало. Пролетка, женщина в белом, Муткины волосы. «Пора уже очки», – думал отец Кирилл. Представил себя в очках.

Фасад, как у многих домов нового Ташкента, был не вынесен, а углублен. Тень отца Кирилла переломилась через четыре ступеньки и застыла. Дверь была завешена марлей, на пороге влажная тряпка.

– Ноги! Ноги! – крикнули изнутри.

Отец Кирилл потоптался на тряпке и нырнул в марлю.

В коридоре домывали пол, было сыро. На отца Кирилла тут же села муха. Старуха водила по полу шваброй.

– Идите уж... Не стойте.

Отец Кирилл обошел поломойку, грозную, аки полки со знаменами, и двинулся по коридору. Заметив над дверью икону Владимирской и рубиновый огонек, сложил троеперстие.

– Ноги! – крикнул голос.

В затылок повеяло – кто-то вошел следом.

– Что, ведьма, озеро Иссыкульское тут напрудила? – спросил тенор, тут же опознанный: отец Иулиан Кругер.

Старуха что-то пробормотала и лязгнула ведром.

– Это ты батюшке такое говоришь? – продолжал на такой же веселой ноте отец Иулиан.

– Какой ты батюшка? Вон батюшка прошел, с понятием, это точно батюшка. А

ты – бегемот.

– Отец Кирилл! – Отец Иулиан заметил его. – Отец Кирилл!

Отца Иулиана он не видел с того вечера в «Новой Шахерезаде», про который Его напечатал, что «священник отец Иулиан открыл публике много горьких истин». Самого Его на том вечере не было; кто ему сообщил? Вероятно, сам открыватель истин.

– Как вам это хождение по водам? – Отец Иулиан соскочил с тенора на конспиративный шепот.

Открылась небольшая комнатка, половину которой занимал ореховый буфет со сфинксами. На буфете стоял под марлей таз с урючным вареньем; рядом лежала духовная книга без обложки.

– В городе беспокойно, – сообщил отец Иулиан, глядя на таз и марлю.

Отец Кирилл приоткрыл дверь в следующую комнату, где обычно собирался комитет, и вошел.

– Опаздываете, батюшка! Не торопитесь, еще от Городской думы нет и Николай Федоровича.

– Николай Федорович извинился, что занят.

– Всегда занят. А когда собор построят, первым будет.

– Садитесь сюда, батюшка. А вы, отец Иулиан, какими ветрами? (Отец Иулиан не входил в комитет).

– Я от общественности, – сказал отец Иулиан и склонил голову набок.

Представителя общественности тоже усадили, было еще четыре свободных стула, на одном спал котенок.

Разговор в комнате, прерванный их приходом, продолжился. Сквозь неплотно закрытую дверь пахло вареньем.

Отец Кирилл отер платком лоб и прикрыл глаза.

В голове снова возникла одна мысль.

Мысль была не новая. Иногда она приходила ему дома, при взгляде на иконы, привычные иконы в привычном своем углу. Иногда приходила в церкви, когда разгружали антрацит или разлепляли свечи, от жары слипшиеся в пучок. Или на церковном заседании вроде этого. Вдруг казалось, что чувство полета, сладости, которое пришло к нему десять лет назад с воцерковлением, что все это обмелело, помутнело от рутины, ежедневства, от вот этого котенка, марли и отца Иулиана с его шепотком. Что даже молится он теперь как машина, без слезной волны, какую знал прежде, когда только учил эти молитвы, только приучал себя не начинать дня без «Боже, милостив буди мне, грешному!» Бывало, яркость возвращалась, словно кто-то проводил губкой по его чувствам; старался молиться больше, усерднее, проще. Но рядом — чувствовал спиной — стоял, сонно копаясь в зубах ковырялкой, бесобыденности, привычки, «изыди, изыди...»

— А благочинный и говорит: жалуйтесь протопресвитеру, тут вам не жалобная лавочка. И на дверь перстом...

Вошел чиновник из Думы с каплями пота на лбу, сел рядом с отцом Кириллом и энергично заработал газетой; стул под отцом Кириллом затрясся. Помахав, развернул и стал читать, шевеля губами.

«Европейский магазин готового платья Х. Исакович, Романовская ул., против церкви, получил громадный выбор зимнего мужского, дамского и детского готового

платья. Непромокаемые гражданские и офицерские пальто и плащи, котиковые и касторовые шляпы, обувь варшавская и резиновые галоши. Все товары получены непосредственно из лучших фабрик».

Теперь в голову залезло пальто.

Давно собирался купить новое. Романовская ул., против церкви.

– Еще все богослужение собираются с церковнославянского на русский, – говорил густым, как труба, голосом отец Сергей. – Народ, мол, не понимает. Какая глупость, просто смеяться хочется. Тот народ, который с детства в церковь ходит, лучше любого их филолога всю службу понимает. А тем, которые в церковь раз в год заглядывают, как в театр, им хоть на самый рассовременный язык переведи, ничего не поймут, постоят болванами и уйдут. А хотите сделать понятнее, так в гимназиях введите старославянский. Не только богослужение понятней станет, но и летописи наши, литература богатая...

– Господа, предлагаю начинать!

Председатель зачитал отчет о поступлении средств. «О непоступлении», – протрубил шепотом в ухо отцу Кириллу отец Сергей.

Замечание было справедливым. Дело о строительстве Софийского кафедрального собора тянулось уже десять лет.

– Как известно присутствующим, двадцатого августа тысяча девятьсот второго года государь император дал все милостивейшее соизволение на открытие повсеместного по империи сбора пожертвований на сооружение православного кафедрального собора в Ташкенте.

Присутствующим было это известно. Полковник Мациевский из Областного

управления вытянул ноги в пыльных сапогах и отерся платком.

– Согласно пожеланию прежнего генерал-губернатора, проект должен был быть составлен применительно к уже построенному в Астрахани Владимирскому собору по проектным чертежам г-на профессора Косякова в византийском стиле. Храм должен иметь величественный вид и представлять собой памятник созидателям края.

Отец Кирилл был привлечен в комитет по распоряжению владыки – как священнослужитель и как сын покойного архитектора, профессора Триярского. Первые комитетские заседания отец Кирилл посещал с интересом неопита. Вникал в цифры, разглядывал чертежи. Правда, уже тогда от чертежей веяло зеленой скукой. Это был один из раздутых, страдавших византийским ожирением храмов, какие отец звал «слонами» и «православными мечетями». «Отчего-то идея, что мы – третий Рим, – говорил отец (уже больной, в кровати, с чаем), – преобразовалась незаметно в веру, что мы – второй Константинополь. Арифметически оно верно, а с архитектурной точки свелось к тому, что стали заниматься слоноводством». Молодой Кирилл (сидит рядом с кроватью, из училища забежал) улыбается, отец смотрит на его улыбку: «В Византии-то все небольших размеров было. Ну, только храм Святой Софии, и тот не так уж по современным меркам велик, не подавляет массой, даже со всеми контрфорсами, которые к нему потом достроили. Это турки потом взяли его за образец и стали раздувать в своих мечетях. Голубая мечеть напротив Софии – это что? Раздутая Византия. Раскормленная, как гаремная жена. Теперь и у нас так строят. Когда были третий Рим, строили Кремль, не стеснялись звать итальянцев-архитекторов... А теперь – второй Константинополь, а по правде –

второй Стамбул». Отец лежал, пол был завален эскизами Рождественской церкви, Кирилл поднимал и глядел. «Брось!» – кричал отец. Он бросал, листок летел вниз...

– К сожалению, на сегодняшний день через пожертвования собрана лишь пятая часть необходимой суммы – сто тридцать семь тысяч четыреста двенадцать рублей. Поэтому еще на прошлом заседании комитет постановил обратиться к господину Бурмейстеру с просьбой внести в проект некоторые изменения, которые бы поспособствовали удешевлению.

Отец в последний свой год отчего-то невзлюбил Турцию. Правда, Турцию тогда не любили все. И газеты, и Святейший синод, и дамы, устраивавшие базары в пользу сербов, и художник Репин, изобразивший запорожцев, пишущих турецкому султану едкое письмо. Но отец невзлюбил Турцию совсем не так, как того требовала мода и сочувствие к славянам. Его Турция не имела четких границ, возникала иногда совсем рядом, проносилась по его кабинету и пряталась в чашке с чаем.

– Предложено было также отказаться от мозаичных икон снаружи храма, которые предполагалось заказать в Петербурге, в мозаичной мастерской Фролова...

Туркестан отец тоже считал Турцией. «Туран», – говорил он и по его лицу пробегал тик. Он читал Владимира Соловьева и Анну Шмидт. «На нас надвигается Средняя Азия стихийною силою своей пустыни», – писал Соловьев, отец подчеркивал это место и брел к столу, опрокидывал стул, что-то переделывал в проекте. Его церковь должна была побороть «Туран» и спасти мир. «Последствия сифилиса, перенесенного в отрочестве», – объяснял врач, вытирая руки вафельным полотенцем. Мать молчала. Она высохла и пожелтела. Она боялась умереть раньше отца, он не простил бы ей этого.

– Кроме того, в первоначальном проекте для устойчивости сооружения с северной и южной его стороны предусматривались контрфорсы в виде киота с нишами. В нишах предполагалось установить белые мраморные доски в форме креста, увенчанные круглыми образами. На досках должны были быть высечены имена завоевателей и устроителей Туркестанского края с кратким перечнем их подвигов. От этого тоже предлагается ради экономии отказаться.

– На героях экономим...

– Отказаться от контрфорсов? – спросил отец Иулиан, который делал записи бисерным почерком.

– Нет, от украшений. Контрфорсы никуда не денутся.

– Но ведь даже так не укладываемся? – протрубил с места отец Сергей. – Без украшений тоже?

Докладчик согласился, что даже так.

Публика запеклась на своих стульях; стаканы с киселем, которые были налиты в начале заседания, стояли пустыми и липкими.

Отец Иулиан подложил отцу Кириллу вырезку:

– Из «Кавказского благовестника» заметочка. «Как евреи издеваются над православием».

Отец Кирилл от нечего делать пробежал глазами. Прощение на имя архиепископа Иннокентия, экзарха Грузии, от 8 февраля 1910 г., принять обряд крещения от некого Иосифа Рубинштейна. Второе прошение от него же, 17 февраля 1912 года: «По моей просьбе я был просвещен таинством св. крещения, однако, несмотря на крещение, я не смог проникнуться в должной степени верованиями

православной церкви и стать глубоко верующим христианином, в глубине души продолжая исповедовать ту же иудейскую религию, к которой принадлежали мои предки».

Отец Иулиан ткнул пальцем и шепотком прочел окончание:

– «Исповедуя в глубине души иудейскую религию», Ицка Рубинштейн не задумался просить св. крещение, а когда, очевидно, устроил тот гешефт, ради которого продавал свою веру.. – Палец у отца Иулиана был тонким и беспокойным. – Ну как? – Палец исчез, появился серый зрачок отца Иулиана, наклонившего свою мохнатую голову. – Хочу отослать в наш «Епархиальный вестник». Владыка такие сведения ценит.

– «Ицка», – сказал отец Кирилл, – это уменьшительное от «Ицхак», «Исаак». А тут «Иосиф».

– Зря вы евреев защищаете. Думаете, нам неизвестно?

– Кому «вам»?

Отец Иулиан нахохлился и стал похож на лесного гнома.

Отец Кирилл подумал о Кондратьиче.

Проголосовали за резолюцию.

Отец Сергей выступил с умной, дельной речью. Для чего Ташкенту кафедральный собор, если кафедру сюда переносить никто пока не собирается? Не лучше ли потратить собранные средства на что-то живое, на библиотеку, общество трезвости и т.д.?

Общества трезвости были любимой темой отца Сергея, много сил им отдавал.

Председательствующий развел руками:

– Вы же сами понимаете...

Котенок на стуле проснулся, прыгнул и пошел меж ногами заседавших, вякая. Слово взял отец Иулиан.

Отец Кирилл вышел во двор облегчиться. Двор был укрыт виноградником, зеленые кисти обещали хороший урожай.

Жара звенящая.

Вошел в «домик», опустил крючок. Мухи при входе его загудели как орган.

Вышел, потерял умывальник. Теплые капли стучали по раковине. Рядом полное ведро, в нем плавал вишневый лист. По куску желтого мыла ходили муравьи.

Возвращаться сразу не хотелось, пусть без него отец Иулиан договорит речь и обличит мировой заговор. Возле умывальника вымахала мальва, залюбовался.

К «домику» решительно шел отец Сергей.

– Мальва, – объяснил отец Кирилл, указывая головой.

Отец Сергей улыбнулся.

Вышел, намылил ладони, заглянул в осколок зеркала на умывальнике и смочил лицо.

– Что отец Иулиан там? – спросил отец Кирилл.

Отец Сергей соорудил в зеркале мину. Он был из тех батюшек, в которых всегда остается нечто от семинаристов, прячущих карты под матрац и совершающих набеги на ближние огороды.

– Разговаривает, – сказал отец Сергей, отершись полотенцем. – Не в настроении вы сегодня, отец Кирилл?

У отца Сергея богатые брови, черная борода, в которой вспыхивают капли.

Армейская выправка: трудился раньше в Туркестанской стрелковой бригаде.

– Тщета мирская засасывает, – подобрал формулировку отец Кирилл.

Отец Сергей вернул полотенце на гвоздь и поглядел на отца Кирилла:

– А вы Владимирской помолитесь, завтра ее день как раз... А кстати, отец благочинный хотел вас видеть. – Отец Сергей достал гребень, на котором было оттиснуто что-то сакраментальное, провел пару раз, снял с зубцов волосы.

– Не говорил зачем?

– От владыки для вас что-то.

Недоговаривает. Пошли вдвоем обратно.

Сквозь стены звенел тенор отца Иулиана.

Отец Кирилл остановился, но, услышав фамилию «Казадупов», вошел и сел у двери.

Отец Иулиан говорил быстро, запинаясь на «эм» и жестикулировал:

– ...покойного Казадупова... м-м... постриженного незадолго до смерти в мантию под именем Макария. Записки старца Макария... эм-м... – это великий духовный документ. В нем все... м-м... о судьбе России. О том, как в России сперва господствовал туранский элемент в лице м-монголо-татар и вообще татар, из которых произошла половина русских дворянских родов. Туран, пишет старец Макарий, – это... м-м... Сатурн, «Туран» – это по-иному написанное «Сатурн», планета м-медленная, огромная и косная. Когда сила Турана пошла на убыль, против Турана началась война, вначале против Орды, потом... эм-м... против татарских ханств, потом против Турции, наконец здесь. В пламени этой войны против вчерашнего господина проник в Россию германский элемент, а Германия – это

Гермес, торговля, науки, железные дороги и герметизм, то есть... м-м... тайные общества. Но эра германства-гермесианства скоро придет к концу. Так же как Россия освобождалась от Турана, воюя с ним везде... эм-м... начнет она войну с Германией. И вот тут и случится то, что предрекает старец: восторжествует иудейский элемент.

– А евреи – это какая планета? – спросил чиновник из Думы, который все время обмахивался газетой с объявлением про пальто.

– Никакая. Это – м-м... блуждающая комета. Вроде Галлея. «Звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы». Сверкнет в небе, посеет плевелы и умчится в... м-м... бесконечность.

– Ну, наши-то, положим, никуда не умчатся...

– Отец Иулиан, – подал голос председатель, который перешептывался с Мациевским. – Отец Иулиан, это все весьма познавательно, но мы тут собрались по вопросу Софийского кафедрального собора и...

– Софийского! – выкрикнул отец Иулиан. – Именно Софийского и именно здесь, в самом центре Турана! Об этом и речь. Собор – это шанс, великий... м-м... У Казадупова, то есть старца Макария, как раз об этом. Если не может в ближайшее время быть возвращена праматерь, то есть... м-м... София в Константинополе, то следует соорудить Софию на той же широте, в кавказских или туркестанских владениях, копию Константинопольской...

– А где средства на это брать, ваш старец не сообщает? – спросил полковник Мациевский, разглядывая свои сапоги.

– Средства?! Средства можно найти, было бы желание. А если сидеть тут, как

вареный арбуз...

Публика проснулась, захмыкала и закрипела стульями.

– Средства есть, – продолжал отец Иулиан. – Они под носом. Расследуйте еврейских коммерсантов, заставьте их раскошелиться, вернуть то, что они заимели благодаря эксплуатации... Уверяю, хватит на несколько соборов! – Сел и стал обмахиваться тетрадой.

– Господа, этак мы совсем договоримся до погромов, – мял в руках газету чиновник из Думы.

– Один погромчик бы не повредил, – проговорил кто-то. – Другого языка это племя не понимает.

– Мысль насчет еврейского капитала неплохая, но его можно привлечь и мирными средствами...

– Это незаконно. Что тут обсуждать, когда незаконно? Пожертвования на храм должны делаться совершенно добровольно, иначе нельзя.

– Ничего, не обеднеют. Меньше своих эсеров и эсдэков оплачивать будут...

– Стыдно, господа! И вам, отец Иулиан...

– Глас вопиющего в пустыне! – вскочил отец Иулиан и снова сел на место.

Заседание закрыли, но просили не расходиться, ожидался обед.

– Надоело слушать про евреев, будто другой темы нет, – прошли мимо отца Кирилла чиновник с газеткой и Мациевский.

– Не скажите, Виктор Петрович. Не исключаю, конечно, что через лет сто еврей в России станет привычной, отработанной темой и само это слово будет вызывать такой же зевок, как сегодня «немец» или «татарин». Но пока что...

На обед была предложена постная окрошка на квасу. Отец Кирилл жевал на левой стороне, так как на правой недавно развалился зуб. Наискосок с аппетитом ел отец Иулиан и беседовал с соседом, учителем женской гимназии о брошюре Вольфинга.

— Шикарная окрошка! — говорил отец Иулиан.

На сладкое был вишневый пирог. Его тоже все одобрили.

Благочинный отец Алексей продержал его долго, спрашивал о жизни, о приходе, поил чаем. Мягко тикали напольные часы, на стене висела картина «Христос благословляет детей».

Благочинный передал приказ владыки явится в Верный, на аудиенцию:

— Не ожидали? — Остальной разговор вертелся вокруг владыки и Верного. Спросил и про занятия древнееврейским, о которых знал: — Хочу предостеречь, что этот деятель сейчас на большом подозрении у полиции.

Отец Кирилл открыл было рот, чтобы защитить Кондратьича; отец Алексей мягко остановил:

— Да, я сам имел удовольствие с ним общаться... Он даже, признаюсь, удивил знанием многих тонкостей православия. Но, посудите сами, какое сейчас время, какие кругом угрозы. Солдаты очень беспокойны, отец Евгений в Троицких лагерях с ног сбился. Чуть ли не каждый день пропагандисты от разных партий против порядка. Листовки, воззвания, песни поют... Очень беспокойно.

Отец Кирилл разглядывал стол и думал, как предупредить Кондратьича. Последнее время уроки их отменялись; Кондратьич посылал извинительные записки

на древнееврейском.

От голоса отца благочинного начинала болеть голова. С картины глядели розовые лица детей, и у всех были одинаковые глаза, уши и рты. Простившись, вышел. Постоял, вспомнил, что забыл шляпу, вернулся. Тащиться в Верный по такой жаре. Смена впечатлений, говорите?

...Огромный пароход в четыре трубы. Задирается нос, ледяная вода шипит в каютах. Толпа у шлюпок, которых не хватает. Старичок капитан обращается к мужчинам-англичанам: «Be English! Be English...» Будьте англичанами, детей и женщин вперед. Дети обнимают отцов. Дети плывут в шлюпках. Дети и женщины. Отцы, мужья и любовники идут под воду. Ледяная вода заполняет нос, уши, глаза. «Что вы думаете о статье про Балканский кризис в воскресной “Таймс”, Томас?» – «Простите, не могу ответить. Меня в некотором смысле уже нет»...

Отец Кирилл идет вдоль стены. С той апрельской ночи пароход иногда всплывает в его сознание, проплывает расстояние от затылка до лба и тонет, оставляя боль в надбровье. Уши залеплены криками о помощи.

Отец Кирилл остановился.

Остановилась стена, дорожка, по которой он шел. Остановилось окно, которое должно было проскочить мимо отца Кирилла, отразив шляпу и лицо.

Из дома, той комнаты, в которой они сидели, доносилась музыка.

Пианино было слегка расстроено и драло ухо, но тема вдруг заполнила его и потянула за своими быстрыми изгибами и прыжками. Может, Скрябин, которым теперь бредят. Звуки летели из окна и гасли в грудях виноградной ливы, осах и мальве.

Он прошел через комнаты и зашел в зал. Спинай, за инструментом, сидел отец Иулиан; публику составляли несколько комитетчиков, слушавших с интересом.

Отец Кирилл прикрыл дверь и вышел.

Отец Кирилл в облачении произносит проповедь:

— Двадцать третьего июня тысяча четыреста восьмидесятого года из Владимира в Москву была торжественно перенесена икона Владимирской Божией Матери. Почти за полвека до того заступничеством ее были остановлены войска того самого Тамерлана, чья великолепная могила находится неподалеку, в Самарканде. Теперь на Русь шел ордынский хан Ахмат, разгневанный, что Иван Третий отказался платить Орде дань и признавать ее владычество. Икона была вынесена перед русским войском, ставшим напротив ордынского на реке Угре. В конце концов Ахмат, как и Тамерлан, увел свои войска. Это было концом ордынского ига. — Отец Кирилл отер платком лоб. — Икона Владимирской Божией Матери трижды останавливала полчища с Востока. Третий раз она охранила Русь от Орды крымского хана Махмет-Гирея. Но есть ли в самой иконе что-либо грозное, изображено ли на ней оружие или воинство небесное?.. Нет, только Мать, припавшая щекой к Младенцу. Божия Мать на Владимирской иконе — это Богоматерь «Елеуса», что значит «Умиление». По преданию, именно так срисовал Божию Матерь с Младенцем первый христианский живописец, святой евангелист Лука. Образом не гнева, но умиления остановлены и повернуты вспять вражеские силы...

Лицо отца Кирилла. Крупные сухие губы. Глаза, морщины, роса на висках.

Андрей, диакон, распахивает еще одно окно, для воздуха.

Спаси, Госпоже, и помилуй и вся рабы Твоя и даруй нам путь земного поприща без порока прейти. Утверди нас в вере Христовой и во усердии ко Православной Церкви, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, в напастех терпение нам подаждь, во благоденствии – воздержание, к ближним любовь, ко врагом всепрощение, в добрых делах преуспеяние. Избави нас от всякого искушения и от окамененного нечувствия...

«От окамененного нечувствия», – повторяют губы отца Кирилла. «От окамененного нечувствия», – повторяют глаза отца Кирилла. «От окамененного нечувствия», – повторяют грудь отца Кирилла, руки, плечи, затекшие ноги.

Отец Кирилл в золотистой шляпе трясется в экипаже.

Колесо с артиллерийским грохотом пляшет по булыжнику. Вдали кирпичное здание вокзала, заставленное повозками, обсиженное торговцами семечками и морсом.

Отец Кирилл уезжает. Отец Кирилл едет в Верный.

Ташкент, 17 июля 1912 года

Показывали акробатический номер. Юноша и девушка, очень гибкие, лезли друг на друга и выгибали ноги.

Следом вышел глотатель шпаг и проглотил две шпаги.

Акомпанировал Делоне, в своей чалме с фальшивым изумрудом. Попурри из оперетты Легара «Летучая мышь»; кашлял в сторону – видимо, простуда. При кашле

с лица поднималось облако пудры и витало в луче искусственного света.

В «гроте» сидели отец Кирилл, вчера вернувшийся из Верного, Чайковский-младший и Его-Кошкин. Ватутина не было, болел – «желчь в голову ударила», говорил Чайковский, которого Ватутин допек своей музыкальной критикой.

Троица изучала карту блюд; блюда они знали наизусть, но таков был ритуал. Рядом стоял официант Рахматулла в шароварах и хлопал ресницами.

Отец Кирилл прочел все разновидности шашлыков, убедился, что салат «Тамерлан» – баранина-делонез, соус пикантный, цукаты, – который он никогда не пробовал, стоит на своем месте, и заказал блинчики.

Чайковский спросил себе ростбиф «Влюбленный хивинец».

Его сказал, что неголоден, поразмышляв, заказал салатик «Лейли и Меджнун».

Настроения не было. Аппетита не было. Музыка раздражала.

Отец Кирилл вернулся вчера словно в другой город. Всё было напряженным, дул ветер, на въезде долго разглядывали его документы. Еще в Верном услышал, что в Троицких лагерях восстали саперы и шли с «Марсельезой», их остановили. Отец Кирилл вспомнил слова благочинного о беспокойствии, картину и часы. Ехал с вокзала, глядел в спину извозчика, все хотел спросить. Город выглядел напуганным и мертвым, даже жара была какой-то холодной. Алибек ковырялся в земле, сообщил, что в отсутствие отца Кирилла приходили, сказали, что из полиции, узнав, что хозяина нет, попили воды и ушли. Еще приходил мальчик, назвался Исааком, тоже постоял и ушел. «Сын Кондратьича», – понял отец Кирилл. От Мутки ничего не было. Отец Кирилл постелил во дворе, спал вполсна; Алибек вскрыл арбуз и поставил кусок перед спящим...

– Больше двухсот арестовали, – говорит Его и смотрит на эстраду.

Из-за кулис выплывает квадратная женщина, из головы торчит большое перо.

– Новая звезда, – сообщает Его.

Приносят запотевшую бутылочку муската.

– С возвращением, Кирилл Львович, и днем вашего появления на свет, – говорит Чайковский и поднимает бокал.

У Чайковского tremolo в пальцах. Чтобы не расплескать, быстро пьет и ставит. По дороге в «Шахерезаду» зашли к нему, Чайковскому, сметя с рояля пепел и колбасные ошметки, показал несколько вещей к «Гамлету». Отец Кирилл открыл рот: музыка была совершенно неожиданной, темной; хорал переходил в марш-фунебр и вдруг рассыпался вальсиком; голоса, всхлипы, диссонансы. Чайковский, разойдясь, стал молотить по клавишам кулаками – оттащили, усадили на грязный диван, успокоили. «Простите, господа». – Чайковский отер лицо краем занавески; пошли в «Шахерезаду».

– А что князь? – спрашивает отец Кирилл.

– С князем-то как раз все прекрасно, получил разрешение покинуть Ташкент...

– Как?

– Не навсегда, разумеется. На месяц, поправить здоровье морским воздухом. Сухум, пляжи, боржоми.

Его зажмурился, словно сам сидел на пляже. Рахматулла принес салат.

– Так... – заглянул Его в тарелку. – А кто тут Лейли и кто тут Меджнун?

Женщина на эстраде, качнув страусовым пером, запела:

Не пылкий молодой повеса
Сумел пленить мой робкий взор –
В горах я встретила черкеса
И отдалась ему с тех пор!

Слова сопровождались чем-то вроде танца живота.

– Бурбонскому с его политическими шутками сказали не высовываться, если не хочет себе гран-неприятностей. – Его запустил вилку в рот и задумался, дегустируя.

– Ходил сегодня к Кондратьичу, – сказал отец Кирилл. – Говорят, съехали.

– Сбежали! – прервал дегустацию Его. – А лабораторию его, в подвале, соседи стали громить, вовремя полиция подросла... Опечатали все.

Лицо Его с майонезом на губе приблизилось.

– Говорят, вашего ребе разыскивают. И вообще, отец Кирилл, будьте осмотрительнее...

– Блинчики «Поцелуй пери»! – водрузил тарелку Рахматулла, взмахнул ресницами и вылетел из «грота».

– Раньше они были безымянные, – сказал отец Кирилл. – И стоили дешевле...

– А в Верном что, расскажите, – спросил Чайковский, которому все не несли его «Хивинца».

– В Верном... – Отец Кирилл разглядывал блинчики. – Сам городок небольшой, незамечательный. С преосвященным встречался, в консистории был. Ну, так это вам, наверное, не так интересно.

– Нет, почему. – Его поцеловал салфетку и отложил в сторону. – Церковь нас

очень интересуется. Со всех сторон слышно о недовольстве низшего духовенства против высшего.

– Прошу простить, мне что-то не по себе. Непокойно.

Его и Чайковский смотрят на него.

В зал входит пара в белых кителях.

Один остается у выхода, оглядывает интерьер, сидящих и женщину с пером. Второй, усатый, крадется вдоль стены, стараясь не привлекать внимания, и, конечно же, привлекает. Разговоры и шум делаются тише.

Останавливает Рахматуллу, тот шевелит губами и кивает на один из «гrotов».

– Отец Кирилл Триярский? – Усатое лицо заглядывает в «гrot»; позади хлопает ресницами Рахматулла.

Отец Кирилл поднимается.

– Простите, что обеспокоил, – приближаются усы.

Тихо, почти шепотом:

– Дело срочное, нужно исповедать одного заключенного, при смерти...
Сожалею, что отвлекаю вас от такой интересной трапезы.

– Да, разумеется... Но почему не отец Филипп, он же при тюрьме?

– Не имею чести знать-с. Меня только отправили за вами. Причину на месте скажут.

Отец Кирилл простился с товарищами.

– Так и не вкусили поцелуев пери, – попробовал шутить Его.

Вышли из зала.

Была я белошвейкой
И шила гладью,
Потом ушла с сапером
Народ освобождать я,

— пела им в спины певица, имя которой отец Кирилл не запомнил, да и зачем? Когда начнется конец света, в «Шахерезаде» так же будут распевать куплеты со смелыми намеками на неких всадников и звезду, которая испортила питьевую воду.

На улице было темно и душно, подъехала пролетка.

Отец Кирилл собирался заехать за епитрахилью и прочим, но ему ответили, что там все есть, а времени нет.

Усталость навалилась на отца Кирилла. Он впал словно в оцепенение, хотя сердце стучало, как барабан.

Зажигались и гасли картины его пребывания в Верном. Одноэтажная гостиница, скрипкие полы. Следов землетрясения, которые видел в том году, уже нет. Короткий разговор с протоиереем, отцом Иннокентием. Итак, владыку переводят... Жалко! Столько он сделал, столько мог еще сделать. Сослужил владыке в Вознесенском. Купил открытку с видом этого собора, деревянного чуда. «Милая Мутка, твой верный – в Верном...» Наконец у владыки. Владыка сразу сказал, что его переводят, вопрос решенный. «Теперь я не могу вас держать. Ваше прошение о переводе в Японию у меня, могу подписать, пока во власти». Отец Кирилл просит время подумать: заявление писалось три года назад... «Да, много воды ушло... Пару раз писали мне из Японии, насчет вас. – Владыка говорит с приятным кавказским

акцентом. – Не отпускал потому, что мало тут, в Туркестане, духовенства, а культурного, образованного – совсем... Беда всей современной России, что церковь здесь, а интеллигенция – здесь, гордая и озлобленная». Владыка садится в кресло. Говорит о молодежи, что она уходит от церкви. «Нужно этот исход остановить, только как? Скажу один пример. Лет уже двадцать назад, когда недолго был архимандритом в Тифлисской семинарии... Учеников много, но двое выделялись жаждой образования, широкого и свежего. Одного звали Джугашвили, Иосиф Джугашвили, умен, но самонадеян, несколько раз ловил его на чтении политической литературы, делал внушения. Один раз он у меня прямо из рук вырвал книги, которые я забрал. Что делать? Пришлось отчислить за безобразие. И что думаете? Спутался с социалистами, стал подпольщик, в какой-то партии, имя коим легион, сослан в Сибирь, бежал, статейки печатает, меня в одной помянул, мол, спасибо, что ускорил его вступление на путь борьбы... А ведь надежды подавал, мог бы хорошим миссионером стать...» «А второй?» – спросил отец Кирилл. «Второго не отчислял. Гурджиев Георгий, из армян, очень мыслящий. И тоже ушел из церкви, и куда? В теософию. Написал мне недавно из Москвы, целое общество там собрал. Пишет, много странствовал и размышлял, постигал первоосновы, узрел единство всех учений, теперь хочет их объединить... Я уже передал письмо в наш “Вестник”, пусть напишут, такое оставлять нельзя... Вот куда они идут, одни в социализм, другие в оккультизм, не знаю, что хуже». Отец Кирилл чувствует, что владыка его для чего-то еще держит. Наконец: «Да, была тут посылочка для вас из Японии, уже два месяца дожидается, архиепископ Николай на одре просил передать... – Владыка достает футляр, раскрывает. – Ну, что называется, распишитесь в получении». Владыка

протягивает футляр с камешком. «Владыка, – пересохшим языком начинает отец Кирилл, – может, он лучше здесь, в епархии, останется? Или в оклад иконы...» «Да вы будто его боитесь...», – говорит владыка, прищулив глаз. Отец Кирилл заверяет, что не боится, но с камнем связаны некоторые воспоминания; повторяет желание оставить его в епархии. Владыка, помолчав, говорит, что раз блаженной памяти архиепископ Николай завещал это отцу Кириллу из рук в руки передать, значит, что-то провидел в том, чтобы камень был именно у отца Кирилла и ни у кого другого. «Так что не спешите его оставлять. Сам я уже скоро отбываю, заниматься вашей драгоценностью времени нет, потом прибудет другое начальство... А насчет перехода подумайте...» Отец Кирилл обещает подумать; сердечно простился, вышел. На диване, обтянутом белой материей, сидят еще несколько человек, дожидаясь приема. Остальные дни в Верном проходят пусто и тревожно. Желания его сбылись, его готовы отпустить в Японию; звезда, которую передал ему пред самой смертью отец, а он оставил «до возвращения» отцу Николаю, снова с ним. Оканчивает дела в консистории, ест пирог в уютном семействе Фауст (дальняя родня с материнской стороны), ходит по выставке местных художников: степь, переселенцы, киргизы в юрте, портреты начальства. Футляр носит с собой, не решаясь оставить в номере.

Пролетка дернулась на ухабе, отец Кирилл очнулся.

Темно, не сразу узнал местность:

– А мы разве не в тюрьму?

– Нет, – ответил китель, белевший рядом. – В крепость.

Проехали мимо барачков, окна были открыты, в одном, освещенном, стоял голый по пояс мужчина, курил и смотрел на отца Кирилла. Лаяли ночные собаки, где-то

отчаянно верещал сверчок.

Крепостные ворота возникли впереди, две зубчатые башни. Лучше бы в тюрьму... При солнечном свете ворота выглядели стилизацией и маскарадом; теперь от них было немного не по себе.

Зацокали копыта, пролетку остановил конный разъезд. «Пароль!.. Документы...» Полистали документы, заглянули в лицо отца Кирилла.

– К приговоренному, на исповедь.

«Приговоренному... – отдалось эхом в затылке. – В крепости, значит, приговоренный и будет казнь. Понятно...» Слово «понятно» прибавилось механически – ничего понятно не было. Отец Кирилл сжал саквояж.

На башнях виднелись быстрые силуэты солдат. Перед крепостью и внутри тоже шло движение, но сухая нагретая ночь гасила звуки.

Перед воротами, под фонарем, их снова остановили. Пароль, документы; отцу Кириллу хочется пить. Полукруглая арка, ворота, окованные железом. Все это скрипит, открывается, движется.

Запах политой пыли. Пара унылых кирпичных зданий, пара дуговых фонарей. Отец Кирилл ищет глазами приметы готовящейся казни. Где-то топают сапоги, даже патефон гнусавит, или показалось. Отец Кирилл просит попить.

– Вода – это можно, – отвечают ему после раздумья.

Они входят в здание, душное, с мутно-зелеными панелями. Проскрипели по лестнице на второй этаж. Здесь прохладнее, в открытую дверь видны иконы и собирающийся седой батюшка, отец Владимир из военного собора. Крепостная молельня, к запаху казармы примешиваются воск и вино. Поздоровались.

– Я своих уже всё, – сообщает отец Владимир, выходя. – А вам, видно, специальный случай.

Хочет сказать еще, но, глядя на военных, замолкает. Шаги его гаснут на лестнице. Отбивает двенадцать. Отец Кирилл облачается, берет крест, замечает, как дрожат пальцы, и приказывает себе успокоиться. Останавливается пред иконой Богородицы.

– Вот и вода... – Тот, с усами, держит изящную фарфоровую чашку. Вода горькая, с металлическим запахом.

Спускаются, проходные дворы, коридоры, долго, словно нарочно петляют, чтобы не запомнил.

Наконец по решеткам понял, что у цели. По решеткам и ветру, который вдруг не к месту подул и угостил пригоршней пыли. Внутри снова спросили документы и разглядывали отца Кирилла. «Надо же», как бы говорили эти взгляды, но что означало это «надо же», отец Кирилл не знал. Проводили вниз, в подвал. Коридор-мешок; пригнуть голову, чтобы не чиркнуть ею по потолку. Несколько дверей, из одной слышалась громкая, похожая на декламацию молитва. «Неужели туда?» – подумал отец Кирилл.

Нет, другая открылась.

Вошли в небольшую комнатку, шибавшую, как и все здание, тяжелым запахом затравленного человека.

Посреди комнаты стояла черная кровать, на которой кто-то сидел.

Открывание двери не произвело на сидящего никакого впечатления. Так и сидел со склоненной головой.

- Только не слишком долго, – сказали за спиной отца Кирилла и закрыли дверь. Тень на постели пошевелилась:
- Как я счастлив, батюшка, что вы согласились прийти. Не ожидали, а?
- Отец Кирилл едва не выронил крест.

Ташкент, 18 июля 1912 года

- Не ожидал, но чувствовал. – Отец Кирилл провел языком по пересохшему нёбу. – Не думал только, что решите принять святое крещение...

– Уже принял.

Отец Кирилл посмотрел на Кондратьича.

- Шестьдесят два года назад. Только вот не знаю точно, где. В монастыре города Лютинска или в самом Петербурге. Имею основание полагать, что в Лютинске.

Голос Кондратьича был другим. Говорил сжатыми фразами, какими говорят астматики. Иногда прерывал себя кашлем, глаза его краснели и по седой щеке ползла слеза.

– Рассказывайте... Кондратьич, или как вас правильнее...

- Не знаю. Не знаю, батюшка, как меня правильнее. Может, вам это удастся узнать, а? По документам был Иона Васильев Фиолетов, сын священника, рожденный в одна тысяча восемьсот пятидесятом году от Рождества Христова. Кроме года рождения и, может, имени, все остальное было не слишком удачным враньем... Хотя... какая разница? Йовад йом ивалэд бо вехалайла амар ора гавер![24]

Детство я начал запоминать очень рано. Отца Василия. Знаете, есть такие

батюшки – тихие, как молоко. Сколько я ему делал неприятностей, а он все глотал. Не был я его сыном, совсем не был. Но верил, дети всему верят. Матери, матушки его, я не застал. Умерла, еще когда был младенцем. У отца Василия не было даже портрета, только ее любимое платье. Помню, как хотелось всегда его надеть, отец Василий мне и это позволял. Но вначале помню: большой город и отец Василий держит меня за руку. Он крепко меня держал за руку, пока силы были. Боялся, что упаду и нос разобью. Голубятню помню, голубей отец Василий прикармливал. Их по лысинке пальцем погладит и меня – по вихрам, ты, говорит, тоже голубь, Иона – «голубь» значит. Еще я очень Бога любил и святых. Ложку не мог порядочно до рта донести, а уже свечки ставил, пальчик обжигал. А может, оттого верил сильно, что я много тогда болел. Полдетства под одеялом, и отец Василий рядом сидит.

А потом начал слышать. Вначале уши отверзлись, потом глаза. Добрые люди сообщили: не того сын. Знаете добрых людей? Их очень много, и они всегда готовы открыть вам глаза. Даже обижаются (но не сильно), когда вы не даете им этого сделать... А потом уже и письма в сундуке нашлись, где матушкино платье мошь ела. Письма отцу Василию насчет усыновления, документ о крещении моем в Лютинске, в монастыре. Боже, какой допрос я ему устроил, этому святому человеку... Катался по полу, бился головою о дверь. Кричал, что похую Бога, если мне не доложат немедленно всей правды. Тогда он мне и рассказал, что я сын «кого-то большого», но не знает, кого. Потом проговорился, что возил меня, четырехлетнего, в Петербург на «обмен». Тут я на него совсем набросился: «Какой обмен?! На кого меня сменять хотели?!» А он поглядел на меня кротко, как ребенок, я и застыл. Смотрю, а он, мой отец Василий, отходит, я к нему со слезами, трясущими руками: обменяли меня или нет? Я –

это я? Отец Василий говорить уже не может, кивнул только: «Ты – это ты...» И всё – похороны, дождик, земля. Но это уже после Бога. Потерял я его тогда. Говоря алхимическим языком, хоть он и не для этой исповеди, то была первая стадия, обжига, кальцинации.

Поступил таким «обожженным» в семинарию, в Казань. Любопытный тип: неверующий семинарист. Днем «аллилуйя!» и святые отцы, ночью Дарвин и Михайловский. Двоедушествовал, а что делать? Другого пути для поповского сына не полагалось. Хочешь в люди, иди в семинарию. И все время до тайны своего рождения пытался докопаться. В Лютинский монастырь ездил. После манифеста монастыри стали вольнонаемных брать на разные работы. Я на лето и нанялся, тем более семинарист. Там оказалась пара насельниц, которые еще помнили. Да, говорят, была такая, из благородных, нежная. Родила, мальчик. Звали Варварой. Но это я и так из сундучных писем знал. Бежала, дитя осталось. Документы и письма все уничтожены. Снова мрак: чей я сын, что это был за обмен?

И тут – совпадение... Приезжает в монастырь князь, осколок прежней эпохи, богат как егупецкий чорт. Совершает пред смертью «турне», как сам выразился, по монастырям. Поживет немного, похлебает монастырского кисельку, жертвования сделает. При нем секретарь, князь диктует ему воспоминания. Поселили их в лучшую келью в две комнаты, вот он в одной диктует, а в другой я временно плотничаю, шкаф чиню. Прислушиваюсь и слышу: «Варвара Маринелли... Лютинск... Государь император... незаконнорожденный...» Кровь зашумела, еле дождался, когда князь на вечерню с секретарем спустится. И – в комнаты. Ищу рукописи, они где-то спрятаны, только листок последний на столе. Читаю, что

Варвара Маринелли была захвачена в плен и исчезла в Бухарии, а за полгода до смерти покойный государь Николай Павлович велел доставить своего малолетнего сына от нее, Иону, в Петербург для обмена его со своим внуком великим князем Николаем Константиновичем, оба были ровесники, по четыре года. «Иону в дальнейшем предполагалось объявить наследником. Однако...» На «однако» запись кончалась. Вдруг за спиной: «Что вы здесь делаете?» Так увлекся, что и не слышал, как вошел князь. «Кто вы такой?»

«Я – Иона Фиолетов. – Я волновался, но говорил спокойно. – Это имя вам должно многое говорить. А делаю здесь то, что пришел узнать всю правду».

«Иона...» – Старик задрожал, даже парик съехал.

«Да, Иона, усыновленный отцом Василием Фиолетовым и потому – Фиолетов, а не... а не Романов!»

«О! Остерегайтесь произносить вслух, это может вам дорого обойтись».

«Я не нуждаюсь в советах. Мне нужно знать, был ли совершен обмен, о котором вы пишете? Я знаю, что я – Романов, но который: Иона или Николай?»

«Я не могу вам этого открыть. Идите, я призову вас. Я должен побыть один».

«Иона Николаевич или Николай Константинович?» – наступал я.

Князь стал задыхаться, совать какие-то деньги, а я гнул свое: «Иона или Николай?»

«Ини...» – пискнул он и застыл.

«Ини» – и всё.

Это была вторая смерть, которую вызвал вопрос об истине моего рождения. Наверное, это был знак, чтоб я остановился. Но я не остановился.

Я взял деньги, которые он мне сам давал, уничтожил следы своего присутствия в келье. Потом нашли его уже холодным, врач засвидетельствовал смерть от апоплексического удара. Старичок секретарь, следуя, видно, инструкции из Петербурга, сжег все воспоминания на заднем дворе монастыря, поздно я дым почувствовал...

Итак, я прошел стадию коагуляции, затвердевания жидкого вещества: мысль моя отвердела, денег хватало на дорогу в Петербург и на подготовку в университет. Хотя главной целью был, конечно, мой двойник, тот, кто считался великим князем Николаем Константиновичем, неважно, был ли он им на самом деле или же он был подменщик, носивший мое имя.

Итак, прощай, семинария! Здравствуй, Петербург!

Петербург... Как он мне сразу не понравился. Каким пронизывающим ветром меня встретил. Разумеется, я тотчас заболел. Я и дома часто болел, а Петербург – идеальное место для болезней, кашля и ломоты; нигде я не видел такой армии холеных, самодовольных врачей. Средства мои таяли на лекарства и книги – я, невзирая на болезнь, готовился на восточный факультет. Да, хотел, выучив языки, ехать в Бухарию вызволять Варвару Маринелли, хотя бы она и не оказалась моей кровной матерью.

К счастью, окончилась гнилая зима и я выздоровел. И тут на одном из парадов я увидел великого князя. Выступал его Волынский полк, молодой князь гарцевал на белой лошади. Боже мой, я сразу, за один только его облик, за один победительный взгляд все ему простил. (Хотя в чем он был виновен? Но мне хотелось, чтоб он был виновен.) Мы были и вправду очень похожи – но как? Мои недостатки выпрямлялись

в нем, как в волшебном зеркале. Я был тощ и долговяз, он – строен и высок. Нос мой был хотя и прямой, но длинный, у него... Что перечислять! Даже сейчас, когда от того юноши осталась одна напыщенная, похотливая развалина, даже сейчас... Это была – да, влюбленность. В ней не было ничего плотского – я никогда не «ходил за иной плотью», и мне не в чем каяться. Это была любовь, которую князь тогда возбуждал в мужчинах и женщинах одним своим появлением. И, не забываяте, мы были родней, одной кровью. Мог ли я догадываться, что в этом прекрасном теле уже тлеет огонек люэса, а в этой римской голове столько темного пламени? «Этот человек должен править Россией, – решил я, следя за ним из толпы, – и мой долг ему в этом помочь».

Я должен был обнаружить себя. И испытать его – я все еще сомневался. Внешность, думал я, может солгать. Потом уже я понял, что внешность никогда не лжет, никогда; нужно только хорошо за ней наблюдать... Я набрался смелости и написал ему: бедный бывший семинарист, желающий поступить в университет, но не имеющий средств к жизни. Передать это письмо было сложно, но... Он откликнулся, я получил – чуть меньше, чем просил (это его пожизненная черта, страх перед собственной щедростью), но тогда я был на девятом небе. Следующее письмо я уже писал измененным почерком. Что он сын покойного государя, что рожден в монастыре, что затем была подмена; привел отрывок из сожженных мемуаров князя, который помнил наизусть. Подпись: «Горацио». Я бредил тогда Шекспиром. Как оказалось, он – тоже.

Потом было еще одно письмо. И еще. Он не догадывался, что вчерашний семинарист и таинственный Горацио – одна и та же персона. И пребывает в этом

сладком неведении до сих пор.

– До сих пор? – переспросил отец Кирилл.

– Да... Виделись тогда мы всего раз, я был в маске. Я увлекался социализмом, входил в кружки, для моего поколения это было вроде спорта. Только вместо бега с препятствиями у нас был уход от слежки, а вместо метания снарядов кидались бомбы, и не всегда удачно... В моей голове как-то сочленялся этот вакхический социализм с абсолютным монархом, каким должен стать великий князь. Социалисты своими бомбами должны были устранить конкурентов на его пути; потом они войдут в тот парламент, который он созовет... Такая розовая пена была в моей голове. «Горацио» написал ему с призывом пожертвовать средства на дело борьбы, он снова согласился; я, в маске, забрал у него и отнес нашим. Все складывалось: я посещал вольнослушателем восточный факультет и занимался с профессором Коссовичем, в то же время ходил на тайные сходки и штудировал химию, чтобы самому составлять взрывчатые вещества... Казалось, что все вот-вот сбудется, произойдет, я выйду из тени на свет, князь узнает меня... Это третья стадия алхимического таинства, когда имеешь дело с летучими веществами, сложная, ибо нужно их уловить, чтобы состоялась их *fixatio*, и, кажется, все складывается... Но один неосторожный шаг – и взрыв.

Да, «фиксации» не произошло. Слишком летучими, эфемерными оказались вещества. Князя объявили сумасшедшим, пошли аресты в кружке, пришлось бежать из Питера. Разыскивали меня – мне это точно стало известно от наших друзей в полиции – не столько как подпольщика, сколько... Да. Им все было известно. Уничтожить князя они не могли, слишком видная фигура... Год меня прятали наши в

одном местечке недалеко от австрийской границы, там я и начал приглядываться к иудейству, я ведь в университете семитские языки изучал... Потом Швейцария, Женева, числился студентом, изучал еврейские алхимические манускрипты и мастерил бомбы, бомбы были очень нужны. Они меня и в Женеве нашли; след от пуля долго оставался в торце дома на рю Приерэ... Пришлось и оттуда бежать, под документами Авраама Тартаковера. Да. Моим подпольным именем было Ребе, а когда я со многими нашими, из еврейских семей, заговаривал на их диалекте, они от меня отшатывались. Сами-то еврейства, как проказы, стыдились... Вот так сын государя императора, самодержца Великия, Белья и Малыя (а я думаю, что сыном был все же я, а не князь, имею основания) стал местечковым раввином, малость мешиганер, что значит того... Охота за мной прекратилась, кому могла прийти в голову такая трансмутация – из князи в грязи, а? В конце концов, когда Бог уходит от тебя, какая разница, к какой вере быть приписанным? Иудейство прекрасно скрывает и растворяет, я растворился, стадия *solutio*, растворения... Женился, поселился в Ташкенте, «кто хочет стать мудрым, пусть обратится на юг», да и поближе к князю, заинтересовал его алхимией. Остальное вам известно.

– Но... Но ведь теперь вы приговорены за участие в мятеже...

– Да, слышал эту хохму... Мои старые товарищи несколько раз обращались ко мне с просьбой приготовить взрывчатку. До этого все шло гладко. А тут, с этими солдатскими жожаками, что-то у них не взорвалось, показали на меня.

– А до этого все, значит, взрывалось? Значит, гибли люди...

Кондратьич (отец Кирилл мысленно продолжал звать его «Кондратьичем») сидел с открытым ртом и молчал.

– Вы раскаиваетесь в этом? Сейчас, перед смертью? – спросил отец Кирилл.

– Да. Каюсь. Но не потому что пред смертью. Поверьте, грядут такие времена, когда живые станут мне завидовать. «Ах, он умер в двенадцатом году – какое прекрасное еще было время!» О том, какое мерзкое было время, никто уже не вспомнит. – Помолчал, подвигал желваками. – И потом... Смерть – всего лишь *seratio*, размягчение. Твердое вещество обращается в мягкое, в воск. Воск вытекает. Парафиновые пары поднимаются к небу, сперва синему, затем...

– Вы должны отречься от алхимии. Иначе не смогу исповедать...

– Да, вы правы. Глупо звать батюшку на исповедь, чтобы читать лекцию по алхимии. Пусть даже батюшка – твой ученик и племянник.

Отец Кирилл вздрогнул.

– О двух вещах хотел попросить вас, отец Кирилл. Понимаю, будет сложно, но... И лучше не письмом, а лично. Вы сможете его убедить, чтобы он не делал этого... – Кондратьич склонился к уху отца Кирилла, зашептал... – Обещаете?

– На все воля Божья... – Отец Кирилл вытер пальцем влагу на глазу, оправил епитрахиль и начал читать слова исповеди.

Дверь загремела, в камеру вкатился Казадулов.

– Достаточно, батюшка! Вы прекрасно сыграли свою роль, поздравляю!

– Что это значит? – Отец Кирилл сжал спинку койки. – Вы не дали завершить...

– В этом нет нужды. Казни не будет, исповедуете после.

Кондратьич поднял лицо. Губы были все так же горько сжаты, но в глазах зажегся лучик.

- Слишком крупная рыба наш господин Парацельс, чтобы просто так его «пуф!»
- Казадупов потирал ладони. – Да и не во всех грехах он вам исповедался.
- Я протестую! – закричал вдруг отец Кирилл и побледнел от звука своего голоса, запрыгавшего эхом по подземелью. – Вы подслушивали исповедь!
- Верно. И прошу заметить, в весьма неудобной позиции. Давно уже просил здешнее начальство сделать слуховую щель чуть выше и левее... А делал это потому, что не был уверен...
- В чем же?
- ...что вы сообщите о тех противоправительственных вещах, которые вы здесь слышали. Как то, осмелюсь напомнить, предписывает ваш «Духовный регламент». Впрочем, вас, батюшка, самого неплохо бы еще поисповедовать...
- Если мне понадобится духовник, я имею к кому обратиться.
- Казадупов переговаривался с офицером, подпиравшим стену. Офицер замотал головой:
- Никак не могу, есть приказ. Он в списке на повешенье.
- Казадупов поморщился:
- Бросьте! Я его и внес в список. Это опаснейший государственный преступник, требуется следствие. Понимаете? До-сле-до-вание.
- Никак не знаю, кто внес. Приказ подписан его высокопревосходительством. Уже и приготовлено все, комплект. И ямку приготовили.
- Вас самого в эту ямку закопают, если... Телефонуйте генерал-губернатору!
- Его высокопревосходительству?!
- Да, высоко... Быстрее!

– Господь с вами, Мартын Евграфович, спят они. И не буду телефонировать, не уполномочен в такое время.

– Чорт! – Казадупов вытер пот. – Семь лет расследуешь по высочайшему поручению дело, доходишь наконец до истины, и тут из-за какого-то... Хорошо, вы не уполномочены. Кто уполномочен?

– Сейчас Аристарх Борисович придут, для наблюдения. Может, они...

– Идемте! И вы, отец Кирилл! Что глядите-то?

Отец Кирилл огладил дрожащей ладонью рясу:

– Исповедь не завершена, и моя обязанность ее завершить. Если вы и сейчас мне воспрепятствуете, буду жаловаться по начальству. В соответствии с «Духовным регламентом».

– Исповедуйте! – Казадупов вдруг выкрикнул фальцетом. – Не буду мешать вашей родственной сцене! Только вы, господин алхимик, не забудьте упомянуть, что благодаря вам наш батюшка полгода назад чуть не отправился к праотцам! – Хлопнул дверью.

С потолка посыпалось.

Отец Кирилл смотрел на Кондратьича.

– Да, это так, – сказал Кондратьич, сдув с плеч песок. – Нам была нужна желтая звезда. Князю и мне. От Курпы я знал, что она у вас. Мне она требовалась ненадолго, для философского камня, для стадии умножения, multiplicatio, помните ту комнату и аппарат? Благая сила звезды ушла туда. Потом князь быстро сбыв ее одному англичанину, который за ней охотился, англичанин тут же поплыл с ней в Америку, но не доплыл: кажется, она притянула льдину, мировой лед, третья порода... Еще я

хотел спасти вас.

– Камнем по голове?..

– Да. Я внимательно просмотрел ваш гороскоп. Желтые звезды способны притягивать... Удар камнем, у вас был предначертан удар... Кто мог? Может, ваш садовник, Алибек. Да, скорее всего, он. Он стоит над вашим телом, кровь на сапогах. «Тьмы стало больше, хозяин...»

– За что ему было убивать меня?

– А за что потонул англичанин, прихватив в бездну целый пароход? За что цесаревич исходит кровью? За что сорок лет держат в идиотах бедного князя? За что меня вначале бросили в монастыре, потом пытались обменять (может, все-таки обменяли, а?), за что рос я в темной избе, где всей библиотеки было три книги? За что так ненавидит меня этот Казадупов? Впрочем, я ему приготовил еще один маленький киндер-штрейх[25]... – Кондратьич нервно зевнул, вытянул ноги. – Ни за что. Просто так. От скуки... – Поглядел на отца Кирилла. – Простите меня, отец...

– Бог простит.

– Бог... – Кондратьич пошевелил ногами. – Бог. Как вы думаете, они меня все-таки расстреляют?

Отец Кирилл приблизился к Кондратьичу. Стряхнул песок с его сутулой спины:

– Приступим.

Читается список прегрешений.

– Каюсь... Каюсь...

Серебряный крест опускается к губам. На кресте в последней агонии повисла черная фигура. Губы Кондратьича скривились.

– Не могу!

За дверью зашумели шаги.

Сухие губы прикоснулись к металлу. Запахло кровью и уксусом. Завеса в Храме разодралась пополам, храмовым ткачам придется долго штопать ее, почти два тысячелетия.

Они шли по крепости.

Впереди звенел голос Казадупова: «Вы за это ответите, вы слышите?»

Где-то прогремело, звякнули стекла.

«Что это?» «Узнать!»

Солдатик побежал в темноту, шлепая сапогами по пыли.

Отца Кирилла отвели в молельную.

Тело было свинцовым, ноги не подчинялись. Оставил крест, епитрахиль. Окамененное нечувствие. Опустился на скамейку, веки сами собою склеились.

...Декабрьское утро, колотежка в дверь. Деревца граната, надо бы пересадить, темно тут. Поверхность двери с застывшими потеками краски. Дверь бесшумно открывается. Спокойный человек на пороге. Спокойно поднимает руку с камнем и движет в сторону головы отца Кирилла. Колокольный звон. «Приидите, поклонимся». Отец Кирилл, хлеща кровью, поворачивается, выбрасывая руки. Заляпанная ряса идет волною. «Предстательство страшное и непостыдное...» Распластанное тело на дорожке. «Хозяин, тьма вон настолько выросла!» Мутка наклоняется над ним, узкое платье мешает ей, она проводит по его слипшимся волосам.

– Ббчка, а бачка! – Солдат, татарин с добрым, поклеванным оспой лицом, тряс его. – Уходить вам надо, бачка! Капитан сказал уходить.

Отец Кирилл, в тумане, спустился во двор.

– Сюда, бачка! – Солдат тыкал рукой то в одну, то в другую сторону.

Под фонарем возникло перекошенное лицо Казадупова.

– Это саботаж! – Нижняя губа его прыгала. – Вы ответите за это!

– Вы забываетесь, – заслонил лицо затылок Аристарха Борисовича, прибывшего дирижировать казнью. – Пока вы в моем подчинении. А я не собираюсь рисковать мундиром из-за ваших капризов. Вы сами настояли на высшей мере, и я не понимаю, для чего теперь вы ломаете тут комедию. Он будет казнен вместе со всеми...

Отец Кирилл бросился к ним:

– Я как представитель... я прошу вас отменить эту казнь, всю казнь! Я прошу, я прошу проявить христианское...

– Э-это еще что? – повернулся к нему, тряхнув аксельбантами, Аристарх Борисович. – Почему посторонние?!

Казадупов, увидев отца Кирилла, замычал и замотал головою.

Рядом зацокало, и прямо под ухом фыркнула лошадь.

– Ваше благородие! Только оттуда, на Черняевской взорвалось, в подвале дома заброшенного... Думали, жертв нет, а потом...

– Что потом? Быстрее!

– Дети полезли, ваше благородие!

– Какие дети, что врешь!?

– Разные... И маленькие, и побольше... Хорошенькие все, как на выставке. Трупики есть, ну, которых взрывом. Из подвала какого-то лезли, наши сейчас там, из огня достают. Душегуб их, что ли, какой-то держал...

(«Но я слышу, понимаете, детские голоса... Вот сейчас...»)

Отец Кирилл глядел на лицо Казадупова. Оно было спокойным, почти мертвым. Потом дернулся рот, следовательно засмеялся какой-то мелкой сыпью:

– Мои дети... Ангелы мои...

– Казадупов! – глядел на него отец Кирилл, но следовательно все с тем же смешком бросился в темноту:

– Ангелы мои...

– Догнать! – прислушался Аристарх Борисович. – А это что за музыка?

– Приговоренных солдат выводят, ваше благородие.

– Хорошо поют, – одобрил Аристарх Борисович. – Ну-с, приступим. Фотограф прибыл?

– Так точно. Устанавливает аппарат.

– А вы, батюшка, свободны, свободны, – поглядел Аристарх Борисович на отца Кирилла. – Ступайте домой, отдохните. Сожалею, что вас обеспокоили, могли бы и своими силами обойтись. Но это была идея господина Казадупова, который, как видите, сошел с ума-с... Доброй ночи! Честь имею!

Рябой солдатик подхватил отца Кирилла и потащил его к крепостным воротам.

«Господи, воззвах к Тебе, услышим мя...»

...Осужденных выводили по одному. За две недели саперы обросли бородами и отвыкли от воздуха. Один с выражением читал одну и ту же молитву, в перерывах

чихал и тер нос. Последним вывели Кондратьича, который оглядел двор, словно собирался что-то сказать, может, даже пошутить.

Виселицы были приготовлены, подведен добавочный свет, его вырабатывали немецким движком. Свет был пожеланием фотографа, который был приглашен запечатлеть всю сцену для истории. Шедшие запели «Интернационал».

– Господин Ватутин. – Комендант крепости стоял возле фотографа и поправлял погоны, словно снимать должны были его. – Благодарю вас, что вы согласились. Нам нужна очень профессиональная работа. Фотографии будут отосланы в Петербург.

– Боже, что же, их не могли причесать? – Ватутин оглядел приговоренных. – И скажите им, чтобы не пели. А то у них на фотографии получатся открытые рты.

– Устроим. – Комендант отошел от Ватутина.

Отец Кирилл вышел, ворота с железным шумом затворились. Неподалеку стояла пролетка, которую все это время не отпускали.

– Куда прикажете? – Кучер раскрыл глаз и наблюдал, как отец Кирилл, подобрав рясу, залезает на сиденье.

– На Черняевскую, быстрее...

Ташкент, 11 сентября 1912 года

Ватутин нажал на спуск. В объективе возник человек в модном сером пиджаке и тут же исчез.

Серафим Серый отпил из стеклянной чашки и оправил пиджак.

– «Гамлет», – начал он, стараясь экономить голос, – есть трагедия Театра. –

Выделил последнее словосочетание интонацией.

Так назывался его доклад.

– Именно Театра – и уже во вторую очередь Гамлета и всех остальных. Собственно, это трагедия Гамлета и остальных именно потому, что это есть трагедия самого Театра.

Публика, сидевшая под желтыми лампами «Зимней Хивы», почтительно слушала. Мадам Левергер сложила губы бантиком, что эмблематизировало высшую степень интереса. На руках сидела собачка Мими, которая тоже слушала с вниманием и лишь изредка попискивала.

– Что значит трагедия Театра? – Серый выплеснул руку с породистой ладонью к публике. – Театр как ньютоновское пространство есть некое вместилище... Мир – театр, люди – актеры; люди уходят, театр остается. Вместилище может вмещать трагедии, может – комедии. Может – гардеробщиц или осветителей... И вдруг трагедия вмещаемого становится трагедией всего театра, от жан-премьеров до рабочих сцены. До зрителей. Трагедией мира, который театр. Это и есть «Гамлет».

Ладонь, повисев над публикой, вернулась в исходную позицию.

Отец Кирилл, третий ряд, место десятое, хочет видеть Серого лучше и достает очки. Он уже месяц как пользуется очками.

Казадупова признали невменяемым. Было следствие, отца Кирилла вызывали. Детей в подвале собирал Казадупов; дети показали на него, нашлись и другие улики. Кондратьич не обманул, он действительно устроил следователю киндер-штрейх. В потайной комнате, его санктум санкторум, куда Кондратьич привел тогда отца

Кирилл и куда не смогли проникнуть погромщики, истекло время алхимической варки. Подвал с детьми был рядом, от взрыва он вскрылся, двоих засыпало кирпичом, еще один отравился дымом. Кондратьич прошептал тогда отцу Кириллу, как проникнуть во второй подвал и остановить «кокцию», но все случилось раньше. О второй просьбе Кондратьича отец Кирилл сообщать следствию не стал, ибо к делу она не относилась.

Казадупов на время следствия содержался в лечебнице. Вел он себя смирно, только часто и без поводов плакал. Детей – четырех девочек и троих мальчиков – подвергли медицинскому обследованию, явных следов растреления не обнаружили. Хотя, конечно, благодаря жизни вдаль от солнечного света и свежего воздуха они были бледны и слабы; у двоих были установлены болезни сердца. Откуда были взяты эти дети, выяснить не удалось. Казадупов на вопрос, чьи это дети, отвечал, что его, а на более строгий вопрос, кто их родил, отвечал: «Я и родил». Немного света пролил «детишник» Берг по кличке Снегурка, сидевший в ташкентском тюремном замке. Он сообщил, что год назад Казадупов вынудил его, Снегурку, продать ему за бесценнок мальчика Федю, грека, которого ему продали родители (многие «детишники» не только похищали детей, но иногда и вполне «законно» их покупали). Однако грека Феде среди детей казадуповского подвала не обнаружилось; возможно, он был одним из погибших.

Наконец, будучи спрошен, для чего собирал и держал детей в подвале, Казадупов отвечал: «Чтобы спасти». Но от кого и от чего, сказать не мог. Ел очень мало, прося передать нетронутую им пищу «ангелам», а не то они умрут от голода. Никакие возражения, что дети питаются нормально, не принимались. Он исхудал,

кости торчали из него в разные стороны; жаловался, что болит у него какая-то «мадам Дюбуша». «Дети мои... Ангелы мои...» – вот весь его разговор целые дни.

– «Гамлет» – трагедия, произошедшая уже до своего начала.

Серафим делает паузу. Он любит паузы, зависающие над зарослями афоризмов и пропастями парадоксов.

Он выходит с трибуны и ходит по сцене. Лакированные штиблеты его блестят.

– Жили-были два брата, один был король, другой – нет. Один – красавец, другой – некрасив. Один – счастливо женат, другой – холост. У одного был сын, у другого – лишь племянник. Жили-были два брата, Гамлет и Клавдий, и тот, у которого не было ничего, замыслил убить того, у которого было все. По законам трагедии это ему, конечно, удастся. Даже – как горбуну Ричарду Глостеру – удастся соблазнить вдову убитого, желательно – прямо над гробом. Собственно, эта трагедия и будет показана, но – позже, приехавшими в Эльсинор бродячими трагиками...

Серый протирает лицо. Выступая, он сильно потеет. Потеет лоб, потеют ладони и шея. Поэтому в кармане его всегда несколько платков. После недавней дискуссии «Эрос и аэроплан» все они оказались мокрыми, хоть выжимай.

– Дальше, по тем же законам театральной трагедии, должно было прийти возмездие: Гамлет-младший, незадолго до убийства Гамлета-отца спроваженный в Виттенберг учиться, должен вернуться и покарать убийцу. Кстати... Не думали ли вы, господа, вот на какую тему... Почему Гамлет, единственный сын и наследник датского престола, до сих пор ни с кем не был помолвлен или обручен, ни с какой заморской принцессой? Почему его друзья – не придворные, а бродячие студенты и

актеры? Почему он до сих пор вечный студент – ведь наследников престола учиться не отправляли; ну, путешествовать в крайнем случае. Что ж! Пусть едет в свой Виттенберг...

В ложе блеснит пенсне князя. Его первый выход на люди. Вернулся из Сухума девятнадцатого августа, о чем была тут же послана телеграмма в Петербург на имя гофмейстера Минкельде. Вернувшись, затворился во дворце – откуда-то уже знал про казнь; не принимал, не подписывал, не появлялся. «Запил», – понеслось по Ташкенту. Поговаривали даже о некоем касательстве князя к бунту саперов; шутили: «Князь снова вышел из воды в Сухум». Отец Кирилл ожидал, что позовет его, – не позвал; вдруг написал письмо, что познакомился в Сухуме с «очаровательным молодым профессором С. Серым» и пригласил его в Ташкент для лекции. Интересовался мнением отца Кирилла – Серый называл в разговоре с князем отца Кирилла своим «другом» и «братом духовным». Отец Кирилл пожал плечами. Пусть приезжает, духовный братец... Теперь князь – в своей ложе, выглядит уставшим, рядом в вазочке желтеют яблоки. Слушает внимательно.

– И вот этот Иванушка-дурачок, вынянченный шутком Йориком, – говорит Серый, все более разогреваясь, – этот увалень, профилонивший уроки фехтования ради книжной рухляди и дворцовые советы – ради поеденных молью кулис и наконец к всеобщему облегчению отправленный в неметчину, этот идиотик, по все тем же законам трагедии, узнав о смерти отца, должен был восстать из нетей, как принц Гарри, чтобы свергнуть узурпатора и даже, возможно, живописно погибнуть

самому.

Отец Кирилл наблюдает за князем. Князь быстро поднес к лицу бокал – чтобы спрятать едко сжавшиеся губы.

– На этом должна была закончиться трагедия Клавдия – младшего и обездоленного брата и принца Гамлета – беспутного и обездоленного сына. Именно эта трагедия преуготавливалась всей логикой шекспировских «Хроник», всей логикой предшествующих ему пьес... Но «Гамлет» – это отрицание такой личной трагедии властителей и властолюбцев. «Гамлет», как уже сказано, – трагедия Театра. Когда герои гибнут не по роли, а потому, что отказываются эти роли исполнять.

«Вы прекрасно сыграли свою роль, поздравляю!» – крикнул ему в ту ночь Казадунов. Слово «роль» тогда прожгло ему слух до самого мозга. Вся жизнь его была избеганием «ролей», и не потому, что играть он не мог, а оттого, что боялся той самой «личной трагедии», о которой говорит, курсируя по сцене, Серый. Плохо, недостоверно играл роль сына. Посредственно – роль мужа, теперь, кажется, уже брошенного. Роль художника играл небесталанно: убедительно застывал перед мольбертом, бросал зажигательные монологи о судьбах живописи... Для театра средней руки совсем неплохо; можно было играть ее до старости, выходя на поклон в заляпанном берете... Но как только запахло «личной трагедией», как только в ладонь лег, волнуя холодной тяжестью, револьвер, он бежал со сцены; в гримерной лежала ряса, рядом – потрепанный молитвослов... Эта роль, как казалось, не сулила «личной трагедии», здесь было лишь памятование о той, что уже случилась, и не с ним, и давно, почти две тысячи лет назад. Требовалось лишь участвовать в

воспоминаниях об этой трагедии, сострадать, сопереживать, но где-то на втором плане, даже не на вторых и не третьих, а на сотых, тысячных ролях. Но и с этой ролью он, кажется, не справлялся. Остаток лета, после казни, он прожил, как обожженная смоковница. Как-то служил, как-то исповедовал, как-то наблюдал за ремонтными работами в алтаре. После отбытия владыки Димитрия почувствовал охлаждение к себе: раньше звали на разные собрания и комитеты (он, правда, редко ходил), а теперь – тишина. Только сад доставлял еще радость: глядел на карпов, ухаживал за виноградом – «изобилие плодов земных...»

– Почему, вернувшись, Гамлет отказывается исполнять роль убийцы Клавдия? Он лишен престола, но, похоже, об этом не сокрушается. Гамлет снова избегает роли наследника и законного претендента на престол; он угрюм и вообще собирается снова уехать (бежать!) в Виттенберг. Выполнил долг сына – почтил память отца; выполнил долг придворного – поприисутствовал на свадьбе королевы; выполнил долг кавалера – поволочился за дочкой министра. Он скорбит об отце, поражен замужеством матери, может, и не шутя увлечен Офелией. Но он отказывается от своей трагической роли – сына-мстителя и любовника-страдальца. Бежит от любви и власти, наскоро соблюдая их ритуал.

Отец Кирилл смотрит, как Серый вытирает круглый бильярдный лоб и глотает воду.

– Но не один Гамлет отказывается от трагической роли. Клавдий, который должен был душой желать удаления Гамлета как претендента, вдруг начинает просить его остаться в Эльсиноре, где принцу могут стать (и станут!) известны

подлинные подробности смерти отца. Король явно забывает о своей роли злодея. Два человека, два актера забывают свои трагические роли и вместо взаимного истребления кисло жмут друг другу руки. Здесь заканчивается их трагедия, чтобы началась трагедия Театра...

Они с Серым не виделись почти с самого венчания с Муткой, тогда Серый проблеял над ними «Treulich geführt»[26], разрыдался и исчез куда-то, кажется, в Индию, беседовать с мудрецами. Переписка их вначале обмелела, потом пересохла, осталось сухое русло, заносимое песком. О чем им было переписываться? Серый носился по миру, хрустя впечатлениями, как крендельками, посыпанными солью, печатая брошюры, читая лекции и формируя из своих истеричек целые армии, марширующие к лиловому солнцу антропо-, тео- и прочей софии. Отец Кирилл же сидел в Туркестане и зарастал провинциальными незабудками. Да и ко всем «софиям» у отца Кирилла было насупленное отношение. Месяца три назад отец Кирилл написал Серому – спрашивал, что тому известно о Мутке; Серый ответил трактатом о любви, о Мутке – ни слова.

– Поясню, что подразумевается под «просто трагедией», если так можно сказать, и – трагедией Театра. Трагедия как таковая («просто трагедия»), трагедия человека – это Время в своей разрушающей ипостаси. Кронос, неизбежный рок. Трагический персонаж – не просто смертный, он – смертник; он не просто может умереть – он обречен на смерть, в этом и есть его роль. Трагедия же Театра – такая, как «Гамлет», – это трагедия Пространства. Действующие лица гибнут только по

одной причине: они оказываются, вольно или не вольно, в том месте, где они должны погибнуть. Лишь Клавдий и Гамлет-старший гибнут по законам собственно трагедии – первый как злодей, второй – как жертва. Что же касается остальных... Трагедия ошибок. Гамлет гибнет, потому что не уехал, как собирался, в Виттенберг. Полоний – потому что оказался в опочивальне королевы. Офелия – потому что была возле реки; королева – потому что пришла посмотреть на поединок... И все вместе – потому что оказываются в одном месте, на одной сцене под названием Эльсинор.

После лекции почитатели окружили Серафима. Мадам Левергер хлопнула в ладоши, внесли скульптуру – Пегас, на котором восседает Муза. Ватугин заснял растерянного лектора с даром ташкентских любителей живого слова. Долго не отпускал Серого отец Иулиан: интересовался, что тот думает об арийском православии; Серый очень умно рассказал – что. Мадам Левергер, которой все казалось, что ее Пегас недостаточно оценен, ходила вокруг и бросала взгляды. Наконец вклинилась бюстом в беседу и сообщила Серафиму, что его роман «Томление» они в семье читают каждый день перед сном.

Публика перетекала в буфет, где был накрыт стол. Наиболее опытная часть покинула зал до конца лекции и уже доедала все самое интересное. Кто-то обсуждал Серого и лекцию, нормальное же большинство делилось новостями: про процесс над Казадуповым, про какого-то Сечкина, который отравил себя кокаином, и про восстание на острове Самос. Князь уехал; вскоре увезли Чайковского, который после третьей рюмки стал на четвереньках бегать за m-me Левергер, изображая лошадь, врученную Серому.

Ночевать Серый остался у отца Кирилла.

Проговорили всю ночь. Серый ел дыню, запивая ее коньяком. Утверждал, что по вкусу это напоминает раннего Суинберна.

Отец Кирилл спросил его о Мутке. Серафим туманно улыбнулся.

Отец Кирилл постелил ему в соседней комнатке. Серый, с голым животом, курил; пепел падал на остатки дыни. Глядел в окно; слабый свет из комнаты прорисовывал куст инжира. Живот Серого временами бурчал, и Серый смотрел на него с упреком.

– Кажется, перебрал Суинберна. – Серый влез в калоши и пошел во двор.

– Возьми лампу! – крикнул вслед отец Кирилл.

Вернулся Серый быстро:

– Там у тебя призрак! Девочка, в белом вся. Глаза огненные. Идем, посмотришь!

Отец Кирилл сочувственно посмотрел на Серого и не пошел. Легли под утро.

Отец Кирилл, раздерганный воспоминаниями (Мюнхен, Мутка...), сидел на постели и не мог заснуть. По лицу текли слезы, падали на мохнатую грудь и плечи. Серафим, напротив, заснул быстро, сразу заговорил во сне, ночью произносил целые доклады. Отец Кирилл сунул голову под подушку. Серафим стал глуше, зато слышнее стучала кровь...

– Кирус! Кирус!

Отец Кирилл открыл глаза. Подушка валялась на полу.

Голос был Мутки.

Ташкент, 12 сентября 1912 года

– Трансцендентальный сад, – сказал Серафим, когда отец Кирилл показал ему все при утреннем свете. – Словно в Японии побывал. В их чайной церемонии есть нечто софийное, правда?

– А это – туркестанская часть садика, – сказал отец Кирилл невыспавшимся голосом.

– А я уже понял. – Серафим взял в ладони висящую гроздь хусайнэ, побаюкал. – Только следует назвать ее «иранской частью». Туркестан, Туран – область гибели, бесплодных пространств... – Облизал губы. – Ваш князь, возомнивший себя демиургом, пытается насаждать тут зелень.

Пили чай в саду. Натекли мелкие облака; ветер играл краями скатерти. На Серафиме был пробковый шлем, который он то снимал, то надевал.

Рассказывал о Распутине.

– Очень близко посаженные глаза и излучают серое пламя. – Серафим обмакнул лепешку в каймак. – Все в его руках. Министры, епископы ваши. Саблера он же в Синод и посадил. Один епископ Иллиодор возмутился, и того сослали.

Серафим жевал лепешку. Отец Кирилл грустно разглядывал чайник.

– Я опишу Распутина в своем новом романе, – сказал Серый, прожевав.

– «Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?»

Серый улыбнулся:

– Это тайна. Роман о Николае Триярском, твоём, так сказать... – Серый заговорил о новом методе автоматического письма: роман надиктовывают «голоса», которые он «слышит». – Уже половину написал!

Пока шел чайный разговор, облака сгустились, и собеседников помочило дождем.

– Ну, мне пора, – говорил Серый, уже в комнате, натягивая дорожную одежду. – Можно я передарю тебе эту лошадь?

Он уезжал в Самарканд, к гробнице Тамерлана. Мастер-класс автоматического письма для местных иерофантов; лекция «София Цареградская – Русский Грааль» для широкой общественности.

Подошел к зеркалу. Пригладил бородку, выставил язык:

– За что же вы меня все так не любите, братья?

За спиной его отразился отец Кирилл:

– Серафим, что с Муткой?

Серый спрятал язык. Начал завязывать галстук.

– Я повторяю вопрос. Что с моей женой? Она писала о тебе, значит...

– Она не писала обо мне.

– Она писала! Вот, вот... – Отец Кирилл схватил с полки письма.

Серый смотрел письма.

– Я должен знать, что с ней, понимаешь? Даже если она ушла от меня, мне нужно знать правду.

– Да, она ушла, – хрипло пропел Серафим. – Совсем ушла, от всего.

Отец Кирилл опустил на стул. Комната плыла, Серафим все завязывал трясущимися пальцами галстук.

– Но она же писала, что...

– Она ушла. В Милане. В декабре, в Милане. – Серый тер краем галстука сырое

лицо. – Я прибыл слишком поздно. Через три дня...

– Но она же писала мне после этого!

– Это не она писала, Кирюша... – Серый покусал губу. – Это я писал. Записывал.

Отец Кирилл вскочил, упал на Серафима и сжал его длинное горло.

Стул опрокинулся, загремело.

Отец Кирилл отпустил шею:

– Прости...

– Вот и икона упала, – хрипло сказал Серафим, поднимаясь.

– Прости!

Серафим подсел к нему, обнял тонкою рукой:

– Она сама просила никому не говорить. Ни тебе, никому. Я обещал. Похороны были очень красивые, даже итальянцы признали. Твой денежный перевод был кстати.

– Там, в Милане?

– Да.

Они там были вместе. Один раз, ненадолго из Германии. Копченый рафинад Миланского собора. Стеклянная теплица Пассажа. «Хорошо бы здесь жить и умереть» – ее слова. Он останавливается и целует ее. Там часто на улицах так останавливаются, чтобы убедиться губами в реальности своей любимой, очень часто.

Ладонь Серафима жгла спину.

– Видимо, Милан был ее городом пустоты. У каждого с рождения есть город полноты и город пустоты. Город полноты – это...

– Серафим, хотя бы сейчас – не надо теорий.
– Я хотел написать тебе. – Серый потер шею, на которой горели красные следы.
– Не мог найти нужные слова, нужную краску, мелодию. – Закашлялся. – А потом...
Дотянулся до пиалы, сделал несколько глотков:
– Потом вдруг рука сама начала писать. Без усилия, словно не я ею... Так было написано первое письмо, потом еще... Ладно, поеду без галстука. – Он стоял уже готовым. – Автоматическое письмо... Автоматическое письмо. Целая методика, созданная Вильямом Стэдом, пишется Stead. Я с ним, кстати, встречался незадолго до... – Порылся в бумажнике. – Вот, посмотри.

На фотографии можно было разглядеть некрасивое женское лицо из мрамора.
– Бюст, который поставят на ее могиле. Работа известного скульптора maestro Ricci. Согласился со скидкой. Два твоих перевода, а остаток доплатил один еврейский банкир, которого я обучал друидской йоге... Так я эту лошадь оставляю у тебя?

Отец Кирилл стоял на платформе. Дождь кончился, лужи подсыхали, но солнце так и застряло в облаках, и всё кругом – вокзал, вагоны, носильщики, дети – было пепельным. Серафим ожидал, что прибудет для прощания князь, но князя не было. Отец Иулиан протягивал из толпы брошюрку с каббалистическими звездами: «Здесь все сказано!» Серый благодарил. «Господин Серый! – кричал Его-Кошкин. – Напоследок несколько впечатлений о Ташкенте и ташкентцах!» Серый откашлялся: «Это город с очень плотной метафизикой...» И что-то еще, чего отец Кирилл не слышал: стоявший рядом Чайковский вынул из футляра флейту и заиграл тему

Фортинбраса. Раздался гудок, вагоны дернулись. Лицо Серого с напряженными, чуть навывкате глазами стало уменьшаться.

Калитка открылась.

Услышав шаги, Алибек приподнялся и открыл рот.

Отец Кирилл тяжело дышал: бежал всю дорогу от вокзала.

В сарае было темно, но нужное быстро нашлось.

– Помогай, Алибек!

Виноградник задрожал. Пила все глубже входила в лозу.

– Алибек, пили!

– Хозяин! Хозяин!

– Стой! Вот топор, давай, ты магнолию пока, а с виноградником сам справлюсь!

– Хозяин! Горе, хозяин сошел с ума!..

– Руби, говорю! Вот так! Вот так!

Лозы были подпилены, но виноградник еще держался, повиснув на стояках.

Забрав топор, отец Кирилл хватил по стоякам. Летели сухие листья, пыль, падали и разбивались гроздья.

Наконец зеленая грудa рухнула, придавив собой полсада. Где-то шлепали в воде карпы. Пыль улеглась. Стало видно пустое небо, стены.

Отец Кирилл провел пальцем по острию топора.

– Теперь дальше... Вон еще сколько рубить... Алибек! Алибек... Что это?! Ты кто?!

Москва, 25 мая 1913 года

Простите вы, холмы, поля родные... Приютно-мирный, ясный дол, прости...
Мотив еще раз коснулся его и смолк, до поры.

Соборная площадь кипела народом.

Зазвонили колокола; тысячи пальцев сложились и замелькали перед лицами и плечами всех сословий Первопрестольной. Птичьи стаи клочьями срывало с куполов и разбрызгивало в небе.

Государь улыбнулся. Воздух потемнел от подброшенных шапок.

Однако нехорошо будет, если повторится Ходынка. Доложили, что все нужные меры приняты. Все отрепетировано, выражения чувств не будут превосходить разумной меры.

Кажется, перестарались с предосторожностями. Холодно как-то народ ликует.

Трехсотлетие дома Романовых.

Празднуется уже с февраля. Подготовка была объявлена за три года. Образован особый комитет для устройства празднования, заседавший непрерывно. По всей державе закладывались храмы, разбивались парки, подновлялись стены и заборы. «Все триста лет династия Романовых спешно готовилась к празднованию своего трехсотлетия», – шутили его враги в Думе. Но чего же еще ожидать от этих умельцев по части метания ядовитых стрел?

В феврале отпраздновали в Петербурге. Два дня звонили колокола и палили орудия. В Николаевский зал шли депутации со словами поздравлений. Прибыли два восточных царя, хан Хивинский и эмир Бухарский. Эмиру он пожаловал свой портрет, усыпанный бриллиантами, хану – титул «высочество». Цари восточные

благодарили, поклонились цесаревичу и отбыли для моления в новую мечеть, где возгласили ему многие лета на своих языках. Все Романовы были в сборе. Кроме одного, ташкентского; тот даже телеграмму не прислал. Может, ожидал, что его позовут как Императора Всея Пустыни (как его в шутку называли среди родни)? Говорят, отрастил бороду и разгуливает по Ташкенту в халате. Неплохое трио составил бы с эмиром и ханом...

10 S утра. Однако пора. Он уходит с балкона. По плану он должен пройти через Георгиевский зал. Там он примет депутацию от дворянства.

Он проходит через залы. Рядом Аликс в белом, дочери, Алексей на руках Деревенько, лейб-казака. Ореховая дверь распаивается в аванзал, за ним – красавец Георгиевский.

Белый Георгиевский хлынул на него, вспыхнул люстрами, зажелтел паркетом. На стенах зачернели имена тысячи Георгиевских кавалеров, на сводах блеснула золотая Георгиевская звезда.

– Всемиловейший государь! – зачитывает грамоту Самарин. – Три века назад подъятая живым народным духом Русская Земля...

Лица московского дворянства. Много занятных, какие встретишь только в Москве. Самарин читает хорошо, но немного волнуется.

– ...призвала на царство приснопамятного предка Твоего, боярина Михаила Феодоровича Романова. Вспоминая в настоящие торжественные дни эту великую годину, российское дворянство несет Тебе, Великий Государь, свой верноподданнический привет!

Овации.

Грамота вкладывается в ларец из литого серебра в древнерусском стиле. Государь благодарит улыбкой. Эскизы ларца были заблаговременно им одобрены. А также эскизы нагрудного знака, юбилейного рубля и медали, где он и Михаил Феодорович, очень похожие, слиплись плечами, как сиамские близнецы; серии коммеморативных почтовых марок и памятного яйца Фаберже (золото, алмазы, гильош – преподнес Аликс на Пасху, была тронута).

Сегодняшнее празднование тоже приурочено к ее дню рождения. Она стоит рядом, в белом, слегка бледная. Вчера ее терзала мигрень, несколько раз менял ей компресс на голове. Милый, усталый лоб.

Они оба измучены этим праздником. Аликс входит во все детали, помогает ему. Она не рождена для громадных торжеств, к каким привыкли в России. Толпы, пальба, депутации доставляют ей неудобство. Но она понимает, для кого этот праздник, и делит с ним все заботы по его устройству.

Государь смотрит на цесаревича.

Девятилетний мальчик в матросском костюмчике, бледный и неподвижный, на руках лейб-казака. В возрасте, когда его сверстники бегают и радуются своему детству.

Почувствовав взгляд отца, наследник улыбнулся. Тихая ласковая улыбка. Когда еще не обнаружилась твоя болезнь, ты бегал по комнатам, проказничал, бывал наказан. Помнишь, как ты, двухлетний, залез под стол во время обеда, стянул башмак с Вырубовой и явился ко мне с этим трофеем? А когда подложил там же землянику в башмак принцессе Черногорской? Конечно, нечто холодное и влажное ее испугало. Тебя отправили в ссылку в твои апартаменты и не выпускали до конца

обеда, на что ты очень жаловался... Где теперь это время? Теперь ты повис на руках Деревенько; проклятые кровоизлияния... Ты улыбаешься? Тебе нравится этот праздник, этот колокольный трезвон, эти летящие шапочки, эти дорогие игрушки, которые нам дарят?

Серебряную шкатулку с русскими узорами уносят. Теперь по распорядку царский выход в Успенский собор.

Они проходят через Владимирский зал и Грановитую палату. Под восторженные клики появляются на Красном крыльце. При сходе с крыльца депутация от крестьян Московской губернии подносит ему хлеб-соль. Он благодарит, отщипывает по русскому обычаю, пробует. Делает знак Деревенько, чтобы поднес Цесаревича. Тот тоже («как папа!») деловито отщипывает своими ручками, жует. Рукоплескания, купола, стаи птиц.

Идут в Успенский. Впереди он под руку с Аликс, в другой руке фуражка. Чуть позади цесаревич и остальные. От толпы отделяет их невысокая оградка с балясинами.

У южного входа в Успенский собор императорскую семью встречает митрополит Макарий. Совершается благодарственный молебен. После молебна государь и наследник поклоняются святыням собора и мощам святителей. Наследник рассматривает фрески. Под сводами изображены три восточных царя, пришедшие в Вифлеем. Любимое его место из Евангелий. Государь прикладывается к раке новопрославленного святого, патриарха Гермогена.

Выход из собора. Снова толпа, снова ликует. Снова солнце, снова крики. Наследник щурит глазки. Пытается улыбнуться. После удаления Старца ему стало

хуже. Аликс считает, что нужно вернуть Распутина. Неважно, что будут говорить Дума и еврейские газетки. Речь идет о жизни ребенка, их ребенка. Речь идет о будущем России. Нужно проявить твердость. Так считает Аликс. Он попросил время на раздумье. Она согласилась. Она всегда понимала, как это тяжело, править таким сложным государством.

Следующим по утвержденному порядку было посещение Романовской выставки, Знаменского монастыря и дома бояр Романовых. Везде их встречала толпа. Везде зябко становилось от этих выпученных глаз и открытых ртов. Но цесаревич держался молодцом.

Неужели все-таки война? Нет, он не допустит. Не нужно ее. Но как, однако, грают птицы.

Цесаревич заинтересовался кроваткой царя Михаила Феодоровича.

Простите вы, холмы, поля родные... Нет, не надо. Все будет хорошо. А как он внимательно слушал молебен! Дети так не слушают.

Рассказывают про митрополита Филарета, отца Михаила Феодоровича.

Несколько лет назад он сам хотел постричься в монахи, отказаться от престола в пользу цесаревича, стать его «Филаретом», советником и руководителем. Но святейшие отцы, едва заикнулся, закачали бородами. Они его тоже не понимали. Досаждали просьбами (провести поместный Собор, обсудить сложное состояние церкви и т.д.). Он не возражал. Он вообще редко возражал. Но Собор не проводился.

Нет, он все так же усердно молился, посещал службы, прикладывался к мощам и жертвовал, жертвовал. Святые покровители и блаженной памяти отцы помогали ему, хранили и оберегали. Но на живых иерархов он опереться не мог. Они с Аликс

долго над этим размышляли. О жажде «самостоятельности», которая вдруг проснулась у церковников. Об их наивности и непоследовательности. То дай им патриарха, то – требуют реформ, но так, чтобы все было по-старому, только «лучше». Словно реформы смогут что-то улучшить, а не вызвать новые злоупотребления, горести, которые оправдываются этим эфемерным, фыркающим словом – «реформы»! Сколько раз он поддавался на уговоры и позволял министрам что-то «реформировать», и что выходило? Недовольство, страдания и стон. Нет, Россию не нужно реформировать, ее нужно любить. Просто любить, господа. Но именно любить они ее не умели. Не хотели, даже не пытались, несмотря на громкие клятвы. Могли любить что-то одно, какую-то частность. Но целостной любви, какая была у него, ко всей России, со всеми ее травинками, избами, полями, трактирами, даже инородцами, – такой любви он ни в ком не находил.

Снова посмотрел на цесаревича. Устал от праздника. И взрослый от такого устанет. Но какая бледность... Неужели все же было проклятье, о котором он смутно слышал с детства? Что прадед его Николай Павлович на смертном одре потребовал передать всю власть не старшему своему сыну, а... Вопрос этот мучил его еще в молодости. Потом, когда рождались только девочки, он даже поручил провести конфиденциальное расследование. Недавно доложили, что следователь, производивший изыскания, помутился рассудком... Можно было бы, конечно, по случаю юбилея династии снять опалу с ташкентского дядюшки, доставить в Царское и поговорить с глазу на глаз...

Государь поглядел на кровать Михаила Феодоровича. Легонько покачал ее.

Нет, пусть все остается как есть. Пусть дядюшка Николай Константинович

правит свою пустыней и орошает песок. Не будем его отвлекать...

Вот и вечер. Кремль иллюминирован, воды Москвы-реки отражают свет как зеркало. Украшен огнями Кремлевский дворец.

В залах накрыты столы. Скатерти, много цветов.

Отчего же так тревожно? Простите вы, холмы, поля родные... Он всегда любил Чайковского. Прекрасная ария. Аликс больше нравится «Пиковая дама», «мистическая опера», как она говорит. С цесаревичем были на «Лебедином озере». Очень красиво, но затянуто, бедняжка устал под конец.

Турция, Турция... Неужели снова война? Пламя балканского конфликта раздувается все больше. Австрия и Германия вооружаются. Опять начнется с Турции? Он приложит все силы воспрепятствовать такому исходу. Аликс тоже против войны. Очень тревожилась в прошлом году, когда Пасха совпала с Благовещением. Пасха Господня, Кириопасха. Выглядывала в окно, искала глазами комету. Передала пророчество, от Папюса, кажется. «России не следует начинать войну с турками за проливы; русско-турецкая война, начатая в прошлую Кириопасху, в 1828 году, несмотря на первые успехи русских, привела к тому в конечном счете, что все мировые державы встали на сторону Турции и дали России печальный урок в Крымскую кампанию». Пророчество было напечатано в газете, забыл название. Аликс умоляла не начинать военных действий, даже отдала своих любимиц Черногорских княжон, которые были настроены воинственно и звали к решительным действиям во имя славянского братства. Но год 1912-й прошел, а балканские раны кровоточат еще сильнее. Сторонники «руки помощи братьям-славянам» чуть ли не каждый день ходят со знаменами и хоругвями, да и

Сухомлинов бьет копытом и требует все новых военных займов. Рассудительный Коковцев, конечно, охлаждает его пыл. Но Коковцев слишком желает нравиться Думе, Коковцев несправедлив к князю Мещерскому, Коковцев вынудил уехать Старца.

Что ж, будем вооружаться. И как можно быстрее. Вооружаться, но войны избегать. Успокоить Вильгельма. Прошлый раз Коковцев слишком резко отменил идею кайзера о русско-немецком нефтяном консорциуме. Вильгельм, конечно, малость безумен, но тут он был вполне в уме, поскольку говорил чужими мыслями. Германии нужна нефть, она устала завозить ее из-за океана, из Америки. Северные Штаты завершили завоевания у себя на континенте и теперь все настойчивей заявляют себя в мировой политике. Курс «долларовой дипломатии» президента Тафта, бесконечные «мирные конгрессы» раздражают немцев. Пока Вильгельм еще улыбается американцам, но эта улыбка скоро исчезнет и превратится в гримасу – мимика его кузена богата. Поэтому Вильгельм хочет нашу нефть. Надо успокоить, пообещать. А там будет видно.

Главное, без войны. А если не удастся избежать? Если достанется пасти иное стадо на пажитях кровавых войны?

Тогда битва до конца. До щита на вратах Царьграда.

До контроля над Босфором и православного креста над Святой Софией.

До царского выхода, подобного сегодняшнему. В Софию, под ликование. Он, слегка уставший, и цесаревич. А потом можно будет и на покой. В Ливадию, к чайкам. Или в Спалу. Ему не нужна власть над полумиром. Все, что нужно, – Россия, семья, сын.

Где он, кстати?

Сзади приблизился Фридерикс. «Его императорскому высочеству сделалось хуже... Отбыли в опочивальню».

Государь побледнел. Да, конечно, не каждый здоровый ребенок вынесет такой тяжелый день. Бедный мальчик крепился, это было видно. Как он не подумал, чтобы его унесли раньше. Где же Аликс? Конечно же, с ним. Боже...

Зал померк, лица рассыпались, скатерти почернели. Накатило что-то свинцовое, мокрое, как кровавый сгусток.

Он принял решение.

Старец будет возвращен. Что бы они ни говорили. Какие бы последствия это ни имело. Такова наша воля...

Нагоя – Тоёхаци, 10 мая 1919 года

До отхода поезда оставалось совсем немного, когда в купе вошел иностранец с девочкой.

«Дочка», – решили в купе.

Был он одет странно даже для гайдзжина[27]. Длинное кимоно из хлопчатой бумаги, на шее цепочка с крестом грубой работы.

«Христианский священник», – догадались в купе.

Войдя, почти вбежав, он поздоровался. По-японски, с акцентом, разумеется. Пассажиры – женщина средних лет с сумочкой и молодой человек в очках – ответили на приветствие. Женщина снова прижала к себе сумочку, молодой человек продолжил разглядывание того, что было в окне. В окне была кирпичная стена.

Раздался свисток. Иностранец что-то сказал девочке. Она, бедняжка, вся потная. Хорошенькая, смуглая, с огромными глазами. Не хотела садиться. Иностранец снова что-то сказал девочке, она обиделась и села. А может, не обиделась, просто устала. Женщина с сумочкой улыбнулась ей.

Поезд тронулся. Кирпичная стена в окне оборвалась, проехал перрон с людьми и багажом, посыпались деревянные домики, кустики, заборы. Вон Нагойский замок побелел и спрятался. Девочка смотрела в окно.

«Сколько я тут не был? Дай-ка подсчитаю. Уехал, значит, в девятьсот четвертом, в начале войны. Значит, пятнадцать. А рассчитывал – отучусь, думал, в Академии, пока война, и назад, к владыке Николаю. А получилось через пятнадцать лет. Пятнадцать с половиной».

Поглядел в окно, на набирающий скорость пейзаж, на домики и холмы.

«А кажется, будто вчера».

Эта затертая до прозрачности фраза его самого заставила улыбнуться.

«А Машке-то это впервые. Интересно, как она все это видит?»

Так рассуждал сам с собой пассажир, в чьем портфеле до сих пор хранилось удостоверение, где он значился Яковом Миньевичем Мельхиором, беспартийным. Для бегства из горящей России этого было достаточно. В японских документах, по которым он прибыл утром в Нагою, он был назван своим подлинным именем.

Правда, в транскрипции, от которой он уже отвык за эти годы.

«Цуриярусуки Кириру».

Офицер в Нагойском порту долго шевелил губами. Выговорил-таки эту «цуриярусуку», шлепнул печать и занялся Машкой: «Мусмэ-сан дэс-нэ?»[28] Опять лингвистические муки. «Но у нее другая фамилия!» Прочитал: «Цури-яру-сука-йа». Пришлось давать объяснения. Японский язык экс-Яков Миньевич освежил на пароходе, но все равно то и дело мычал и ловил ртом воздух. «Я – не сукая! – дергала его за рукав Маша, сообразив, что речь о ней. – Скажи им, я не сукая...» «Конечно, Машон, подожди...»

Да, разумеется, это был отец Кирилл.

Постаревший, с длинной морщиной поперек лба и сединой. Как у многих мужчин того времени, старение это было насильственным и некрасивым. Хотя последние годы отцу Кириллу было не до внешности да и не до многих других обычных вещей.

Девочка, чью ручку он крепко сжимал, звалась Маша. Имя это ей сказочно шло. Черноволосая, смуглая, с ореховыми глазами. Появилась она из дерева. В прямом смысле. Когда после отъезда Серого отец Кирилл метался по двору и вырубал свой сад и уже собирался хватить по старому тутовнику, из огромного дупла вдруг вылезла девочка лет трех-четырёх. Придя в себя, он вспомнил ее. Из «подвальных» казадуповских детей; видел ее, когда приходил по тому делу в приют. Некоторых из «подвальных» уже разобрали – история была громкой, многие разжалобились, – а ее, Машку, Марию Казадупову, не брали. Дичилась, не шла к людям. Как она, маленькая, его запомнила, как смогла бежать из приюта, как нашла его и догадалась прятаться в полом стволе шелковицы? Сколько там просидела? Серый ночью принял ее за

призрак; духом дерева считал ее Алибек, клавший рядом с деревом лепешку с медом. Появление ее остановило вырубку сада, хотя со временем отец Кирилл все равно его забросил, а потом и покинул с Машей Ташкент, но это позже.

«Вон еще сколько рубить... Алибек! Алибек... Боже, что это?» Из старого тутовника выходит девочка. Где-то среди рухнувшего виноградника всхлипывает Алибек, потом замолкает, льет воду на руки, о чем-то разговаривает с Машей. Марьям – так он ее называет и гладит по мягким черным волосам. Только ему, Алибеку, Машка рассказала о своем житье-бытье в подвале, о странных играх, в которые играл с ними Казадупов. Для нее самой они не были странными, других она не знала. Один раз, желая отблагодарить за что-то отца Кирилла, сильно поцеловала его в губы. Он отлепил ее от себя, отругал, она убежала рыдать. Не спал потом всю ночь, ворочался, молился, пил холодный чай.

Алибек не хотел их отпускать из Ташкента. Кричал, что здесь еще остался свет, а туда, куда они едут, – там сгустилась тьма, целый несущийся табун тьмы. Отец Кирилл поцеловал Алибека, оставил ему денег.

Через полтора года, уже после октябрьских событий в Петрограде, он получил известие из Ташкента (от Его-Кошкина), что Алибек неожиданно прозрел. Вместо космической битвы света и тьмы стал видеть людей, керосиновые лампы, мусорные свалки, трамваи. Новая власть таскала садовника по своим митингам и собраниям как наглядный пример чуда, сотворенного революцией и освобождением трудящихся от вековых пут. Правда, садовником он уже не был. Тонкое чувство растений, деревьев, цветов с приходом зрения исчезло. Он глядел равнодушными, пустыми

глазами на сады, урючины, на качающиеся на жарком ветру виноградные кисти. Теперь его заинтересовала техника: разглядывал любой механизм, качал головой и цыкал языком. Его определили в какую-то мастерскую, где он, несмотря на возраст, сильно продвинулся... Кошкин, беседовавший с ним для статьи в «Красный Туркестан», осторожно напомнил об отце Кирилле. Алибек оживился и сказал, что да, прежде он много лет батрачил у русского попа. Что один раз, послушав бродячего агитатора, когда поп служил у себя в церкви, он, Алибек, даже собрался восстать против своего угнетателя и поколотить его хорошенько. Но его опередил в этом какой-то другой угнетенный дехканин, так что поп чуть не помер и его лечили царские доктора. Подумав, Алибек добавил, что классового зла на своего прежнего угнетателя он не держит и передает ему горячий пролетарский привет.

Отец Кирилл порадовался такой незлопамятности Алибека; что до перемены в нем, то отец Кирилл уже разучился этому удивляться. Люди менялись, менялись быстро и страшно. Сам Его-Кошкин из хроникера превратился в желчного работника пролетарской печати. Псевдоним Его исчез почти сразу после революции; он стал подписываться Nos[29], а потом уже просто Кошкиным, простой и почти рабочей фамилией.

Поезд прогремел по железному мосту. Женщина развязала сумочку и достала пакетик с о-сэнбэ[30]. Угостила Машку.

- Что нужно сказать, как мы с тобой учили? – строго посмотрел отец Кирилл.
- Аллигатор! – выдавила из себя Маша, хмуро разглядывая печенье.
- Маша, ну ты же знаешь, как...

– Аригато[31]... – еще тише сказала Маша и спрятала печенье в кармашек платья. После голода, который они пережили в Москве, она почти ничего не съедала сразу, а откладывала «про запаску».

– Домо аригато гозаимасу![32]– благодарил отец Кирилл, которому тоже перепало о-сэнбэ. Захрустел; сладко-соленый вкус тут же зажег в памяти Токио девятьсот второго года, когда купил пакетик с о-сэнбэ на Асакусе, а откусив, скормил остатки птицам.

Получил о-сэнбэ и молодой человек, с достоинством поблагодарил, поправил очки и очень серьезно принялся его поедать.

Вскоре все купе хрустело. Даже Машка извлекла сэнбэ из кармана и поглядела на него с разных сторон. Но потом снова спрятала и стала смотреть в окно, на вечерние поля и черные квадраты рисовых делянок.

В путешествии они с Машкой были уже более двух лет. Из Ташкента выехали в конце шестнадцатого года – от невозможности жить там дальше. Все вдруг опротивело, дома, солдаты, раненые. Мадам Левергер, перешедшая из патриотизма на свою девичью («чисто славянскую!») фамилию и перетавившая на нее своего Платона Карловича; отец Иулиан, сделавшийся из Кругера кем-то другим, тоже славянским и тоже «очень». Отец Кирилл стал особенно долго молиться, захлопнулся от мира, бывал лишь у себя в церкви, в школе и в депо с мастерскими, более нигде. Напрасно Его (тогда еще Его) и Чайковский пытались вытащить его в «Новую Шахерезаду» и на репетиции «Гамлета», которого вот-вот должны были поставить. Отец Кирилл улыбался – это значило отказ. Единственный, кто бывал у него еще, был Ватутин. Фотограф неожиданно принял ислам, переменял весь образ

жизни и теперь приходил к отцу Кириллу рассуждать о вере. Отец Кирилл, по понятным причинам не одобрявший такого скачка, Ватутина не отдалял и поил долгим чаем, потом Ватутин фотографировал Машу, фотографии не сохранились.

Итак, осенью шестнадцатого отец Кирилл написал в Токио епископу Сергию; ответ прилетел на удивление быстро: приезжайте. Владыка Иннокентий, правивший после владыки Димитрия, поотговаривал («сложное военное время, нужны священники...») и тоже благословил. Быстрее было ехать через Сибирь, но формальности требовали явиться вначале в Петроград, в Миссионерский комитет, для беседы и получения документов.

На вокзале собралось неожиданно много провожающих. Огромная депутация прихожан с цветами, кое-где блеснули даже слезы. Что совсем было сюрпризом – набежала толпа из депо и ремонтных мастерских проститься с «нашим рабочим батюшкой». Тут отец Кирилл сам начал кусать губы и шарить в кармане в поисках платка. Чуть в стороне жались Его-Кошкин, чиркавший в тетрадочке (на следующий день в «Ташкентском курьере» красовалась заметка «Отъезд знаменитого нашего проповедника»), Чайковский-младший с флейтой и Ватутин в пенсне и тюбетейке.

Внезапно толпа качнулась – показался известный всему Ташкенту экипаж; правил сам великий князь. Они не общались давно: князь послал отцу Кириллу с ординарцем денег на дорогу и золотой жетон со своим именем на память. Отец Кирилл в благодарность передал фамильные часы с арапчатами (князь когда-то обратил на них внимание), извинившись за неидущие стрелки... Князь слез и быстро подошел к отцу Кириллу. Обняв, тихо проговорил: «Прощайте. Прощайте, дорогой племянник...»

Отец Кирилл посмотрел вслед уезжающему экипажу, потом на вокзальные часы, стал быстро прощаться с каждым; женщины надарили Машке кукол, а в купе внесли целый таз пирожков – «в дорогу», раздался второй звонок...

Поезд стоял на станции Тоёхаци. Рабочие, топая по крыше вагона, вставляли в отверстия в потолке фонари. Женщина с сумочкой открыла глаза и снова задремала. Машка уже успела поспать, погулять по вагону и поиграть с растрепанной куклой, которая осталась у нее еще с Ташкента. Теперь она смотрела на попутчика в очках и строила ему физиономии. Молодой человек смущался.

Отец Кирилл строго поглядел; Машкино лицо тут же приняло ангельское выражение.

– Проголодалась?

Достал онигири[33]. Предложил попутчику – тот снова глядел в окно, в темень. Молодой человек, поблагодарив, принялся уписывать онигири.

– А почему он завернут в зеленую бумагу? – Машка успела откусить и теперь изучала новое кушанье.

– Это не бумага, Манюля, это нори, водоросли, ешь...

– А почему они не мокрые?..

Разговорились, насколько позволял подзабытый язык, с молодым человеком. Уроженец Гифу, выпускник колледжа. Едет в Токио поступать в Тоо-дай[34], на Первый факультет, будет изучать право.

Отец Кирилл вспомнил, что Такеда тоже, кажется, заканчивал Тоо-дай.

– А господин священник из какой страны? – спросил уроженец Гифу, dokonчив

онигири.

– Рошиа-дзжин десу.

– Рошиа-дзжин дес-ка?![35]– Очки юноши чуть не спрыгнули с носа.

Тут же проснулась женщина с сумочкой. Да, она тоже слышала, что там творится, в этой России. Ее муж воевал в Порт-Артуре, был ранен, но она никогда не желала русским зла. Все, что происходит, очень печально. Она слышала, что русский император расстрелян вместе со своей семьей, это так? И там были дети... Дети тоже расстреляны? Какой ужас. В тяжелое время мы живем, даже облака стали плыть как-то по-другому!

Отец Кирилл смотрел в темноту. Пробегали огоньки окон, вспыхивали станции. Машка спала, положив голову на линялый тряпичный живот куклы...

До Петрограда они добрались тогда из-за Машкиной болезни только в середине февраля, перед самыми волнениями. Забастовки, толпы, желтое небо. Мышиная тишина в Синоде; в Миссионерском комитете – никакой ожидавшейся беседы, одна формальность. Все разговоры о войне, очередях, «вильгельмовщине». Остановились с Машкой у Петровых-Водкиных, на 18-й линии. Кузьма принял их тепло; жена его, Маргарита, Мара, полубельгийка-полусербка, взяла под покровительство Машу; своих детей у них не было. Кузьма очень изменился, и внешне, и в живописи; стрижен коротко, усы; жалобы, не может сосредоточиться. «Нигде теперь невесело на земле, одну молитву надо твердить: поскорее бы образумились люди, так все вверх ногами скакать пошло» и т. д. Показывал картины, понравилась кормящая мать в красной косынке на фоне синих избушек, а вот «На линии огня», с травкой и

иконописными солдатаками, не понравилась, но промолчал. Вспомнили Мутку: Кузьма сказал, что видел ее после ее кончины во сне, будто она сидит, а он зовет ее в Питер, участвовать в выставках и художественной жизни. Отец Кирилл подумал об «автоматическом» письме и снова промолчал, только потрепал Машку по стриженной голове.

Оставалось важное дело – выполнить вторую просьбу Кондратьича. С каждым днем, глядя на то, что делается в Питере, отец Кирилл все более овладевался этой просьбой, шепот Кондратьича засел занозой в мозговом мясе. «...Чтобы ни в коем случае не отрекался... Скажите ему, чтобы ни в коем случае не отрекался от власти!». Государь с цесаревичем находился в Пскове, в ставке; связей, чтобы добиться аудиенции, у отца Кирилла не было. Переговорив с Кузьмой, оставил у него с Марой хмурую Машку и направился в Псков, надеясь, что какое-то чудо все же позволит попасть к государю.

И чудо случилось. Но какое... Отец Кирилл прибыл в Псков как раз в начало революции. Ставка была парализована, попасть к государю оказалось как-то даже слишком легко, все решилось одной запиской.

Царский поезд стоял под паром на вокзале, восемь синих вагонов, присыпанных снегом. Чуть желтые окна, гербы и вензеля в сосульках. В первом вагоне сидели солдаты и пахло махоркой, во втором была кухня и готовили как ни в чем не бывало еду. Третий был обит бархатным штофом, в углу белело зубатыми клавишами пианино. Навстречу отцу Кириллу вышел невысокий, очень усталый человек с бородкой.

Разговор происходил в следующем вагоне, где был рабочий кабинет государя.

Бывшего государя, как выяснилось. На диване сидел красивый подросток с серым, умным взглядом. Молчал, слушал – как и его отец. Отец Кирилл говорил вначале скованно; заметив у своих необычных собеседников интерес, оживился. Пересказал историю Кондратьича, услышанную на исповеди (тот сам просил «сообщить государю»), рассказал, что знал, о Вифлеемской звезде, под конец, снизив голос, передал «...чтобы ни в коем случае не подписывал манифест об отречении». Государь, глядя на него все теми же усталыми глазами, поблагодарил за рассказ. Сказал, что знал об этой истории, что над династией висело что-то вроде семейного («домашнего») проклятья. «Но я полагал...» Что «полагал», не договорил. «Если бы только Алексей был здоров... Но теперь все позади. И я, и мой сын отреклись от престола. Ради России. И вы не представляете, какое облегчение...» «Что же теперь?» – вырвалось у отца Кирилла. «Думаю, они оставят нам Ливадию, – сказал государь. – Поселимся там. Будем с Алексеем возделывать сад. Там у нас замечательный итальянский садик, правда, Алеша?»

Цесаревич улыбнулся.

Аудиенция была исчерпана. Отец Кирилл достал было бархатный футляр, чтобы вручить цесаревичу, но государь остановил его: «В этом нет необходимости. Лучше по-простому благословите. Мы всецело доверяем себя провидению... Тем более, как вы сами признали, влияние этих частиц Вифлеемской звезды пока не изучено и они способны притягивать к себе не только добро...» Отец Кирилл сжал футляр в ладони. Появился какой-то генерал, государь начал разговаривать с ним.

Отец Кирилл вышел; в вагоне был наскоро сервирован завтрак. Вышел генерал, опустил рядом, протер платком глянцевого лоб: «Все предали... Все!» Отец Кирилл

глядел в тонкую чашку, где чернел ароматный кофе, пить который не хотелось. «Не было еще государя среди Романовых, – сказал генерал, – который бы так любил Россию... И не было государя, который своей любовью наделал бы ей столько вреда...» Отец Кирилл молчал; в окне вагона темнело утро. Сквозь ледяные цветы на стекле было видно, как ходит часовой. Отец Кирилл выпил кофе, прожевал что-то и поднялся. Дверь в кабинет государя приоткрылась, было видно, как он и наследник склонились над патефоном, что-то обсуждая. Зашелестела музыка.

«Простите вы, холмы, поля родные, уютно-мирный, ясный дол, прости... С Иоанной вам уж боле не видаться, навек она вам говорит: прости!»

Отец Кирилл шел по вагонам.

Пятна слабого освещения наплывали на его лицо, обтекали голову и гасли на спине.

«Ты, сладостный долины голос, эхо, так часто здесь игравшее со мной, прохладный грот, поток мой быстротечный, иду от вас и не приду к вам вечно...»

Он вышел. Холод вонзился в него со всех сторон; острый запах мазута и дыма, ледяное солнце над дебаркадером.

Камбара – Токио, 11 мая 1919 года

Поезд несся среди холмов, утренние лучи загорались на рельсах. За ночь пространство промыло дождем, все оно блестело и пахло. Дорога чуть свернула, солнце ударило в купе третьего класса и вспыхнуло на очках русского священника, который забыл снять их на ночь, а может, не захотел.

Отец Кирилл открыл глаза.

Машка уже не спала и что-то жевала, успели угостить. Ночью женщина с сумочкой сошла в Фукурои. Молодой человек на своем месте читал газету. Газета была свежей – на станции, наверное, сбегал – и вкусно пахла.

– Массугу Фудзжи-сан десу[36], – предупредил и снова – в газету.

Он помнил этот запах с детства, это был запах отца, которого он всегда помнил с газетой. Отец читает газету. Отец бросает прочитанную газету на стол. Отец, засыпая, роняет газету на пол. Сам отец Кирилл газет почти не читал, но в ту петроградскую весну он ненадолго приохотился к ним, покупал, пробегал глазами, бросал небрежно на стол, ронял при засыпании. Волна «политики» накрыла и его. Отъезд в Японию все откладывался, Синод бурлил; несмотря на призывы пригрозить мятежникам отлучением от святых таинств, никаких угроз не последовало, напротив, уже через три дня после отречения Синод рассылал телеграммы с указанием возносить моление «о благоверном Временном правительстве» (царя вычеркнуть); из зала заседаний выволакивали царское кресло; несли его, пыхтя, новый обер-прокурор от «благоверного правительства» князь Львов и первоприсутствующий митрополит Владимир. Из-за всей этой карусели нужные отцу Кириллу документы никак не подписывались.

В Петрограде, среди всей революционной фантасмагории, произошла одна встреча. Возле Мраморного дворца отец Кирилл едва не налетел на высокую фигуру. «Ваше императорское...» – начал было, но осекся. Великий князь улыбнулся, как показалось отцу Кириллу, не без горечи: «Гражданин Романов. Просто гражданин Николай Романов... Вот, разглядываю бывшее родовое гнездо. Внутри не пускают. Новые времена, новые хозяева. Что ж, я ни о чем не жалею...» Была оттепель, они

дошли в разговорах до Инженерного замка. Да, бывший великий князь встретил свержение своей династии с восторгом. Направил поздравительную телеграмму «Сашеньке» Керенскому, которого знал еще ташкентским гимназистом. Телеграмму напечатали газеты. Отец Кирилл кивнул: видел... Еще читал, что бывший князь разгуливает по Ташкенту с красным бантом и охотно участвует в митингах. Ему разрешили покинуть Ташкент; «гражданин Романов» тут же помчался в Питер, где не был почти полвека... Снова горькая складка – или показалось? «Все изменилось. – Князь глядит в ноздреватое небо над Инженерным замком. – Все очень изменилось». Отец Кирилл кивает; банальные фразы были неизбежны в те дни и произносились даже самыми изысканными людьми. Сам он тоже не был в этом городе лет десять и не узнает ничего, каково же князю... «Воздух стал другим. Воздух полон страшными переменами». «Князь воздушный», – вспоминает вслух отец Кирилл, и собеседник смотрит на него долго и беспокойно. «А “Гамлета” я все-таки поставлю, революционного», – говорит князь... простите, бывший князь. Напоследок сообщает, что хочет вернуться в Ташкент. В оттаявшей воде канала крикали утки, солнце то выходило, то пропадало.

Замысел князя был осуществлен.

Как и любой его замысел – не совсем так, как первоначально виделось. В Ташкент он вернулся, но вести репетиции не удалось. Воздух и здесь сменился, стал липким и взрывчатым. Князь не сдавался; с великим скрипом что-то стало получаться, и тут – сюрприз: еще одна революция. «Гражданин Романов» ей тоже обрадовался, но как-то уже машинально. Послал куда-то приветственную

телеграмму, походил на какие-то митинги, ему поаплодировали. Красоты новой власти почувствовал скоро: имущество его начали понемногу национализировать, но самого не трогали. История который раз проехала по его хребту, но теперь хребет уже не имел былой прочности и гибкости.

Князь видел, как город побежал. Бежал с семейством владелец цирка Юпатов, теперь в его цирке шли революционные заседания и принимались резолюции. Бежал владелец «Новой Шахерезады» Пьер Ерофеев с серебристой прядью а-ля Дягилев, бежала, звякая украшениями, аккомпаниаторша Сороцкая. В «Шахерезаде» после национализации исчезли ковры и померкло электричество; Бурбонский выступил с миниатюрой с намеком на четырех всадников Апокалипсиса и тоже бежал. Публика из недоубежавших в «Шахерезаду» еще заглядывала, ели мало, нюхали кокаин и выкрикивали стихи. Не бежал Чайковский-младший: писал для новой власти марши и песнопения, лихо переверстывая прежние свои опусы; даже из музыки для «Гамлета» попытался слепить балет про освобожденных дехкан и слепил бы, если бы не очередной запой. Не бежала и бывшая мадам Левергер, точнее, не успела, была найдена убитой и ограбленной. Князь был на похоронах, публики пришло немного, мадам лежала в гробу разодетая и покрашенная; вокруг гроба ковыляла, припадая набок, старенькая Мими; Чайковский-младший мучил флейту, пытаясь наиграть Шопена, и не мог. Дул ветер со снегом; отпевал отец Михаил.

После этих похорон князь слег и никуда боле не выходил. Дворец его был отнят, он лежал в доме старой своей гражданской жены фон Дрейер на Шелковичной. Хотел было поприсутствовать на переносе праха казненных саперов, из крепости в Александровский сад, на место, где прежде собирались возводить Софийский собор;

собирался не ради саперов, но ради Кондратыча, причисленного к сонму местночтимых революционеров; уже даже оделся... Доплелся до постели, выпил выдохшееся шампанское, стал диктовать завещательное письмо. Над постелью стояли часы с арапчатами, дар отца Кирилла; секундная стрелка шелестела по кругу; минутная и часовая стояли.

Великий князь умирал.

Сквозь запертые окна до него долетал колокольный расплеск, канун Рождества, колокола гремели, но словно стыдливо и виновато. Князь попытался перекреститься и не почувствовал своей руки, ладонь была где-то далеко от него, на другом конце Вселенной.

Последний медный удар вспыхнул и погас над городом.

Портрет государя императора Николая Первого смотрел на него.

Глаза глядели с ледяной печалью. За спиной плыли бархатные облака.

«Я готов, господа актеры. Go, make you ready!»

Занавес дрогнул и пополз в сторону. Открылись грандиозные декорации, выполненные по эскизам отца Кирилла. Гигантская лестница, уходящая спиралью под самый потолок, где горела лампа и плавала на сквозняке паутина. «Играющему королей – мой поклон, я данник его величества. Странствующий рыцарь найдет дело мечу и копыю, вздохи любовника не пропадут даром...»

Они стояли на сцене и смотрели на него.

Марш Чайковского-младшего царапал слух диссонансами.

Итак...

«Клавдий, король Датский!» Выходит дядя, Александр Второй, обезображенный

бомбой. «Полоний, обер-камергер!». Князь N, придерживая съезжающий парик, со стопкой сожженного дневника. «Горацио, друг Гамлета!» Ребе с алхимической колбой и веревкой на шее с достоинством кланяется. «Гертруда, королева Датская!» Мать перестает играть, отрывается от клавиатуры и смотрит на него. «Офелия!» Фанни подходит к роялю, прижимая ко рту туберкулезный платок, платье убрано полевыми цветами. «Бернардо!» Тишина. «Бернардо, увидевший Призрака!» Вильям Т. Стэд в каюте разглядывает футляр; вода пробивает стенки. «Священник!» Тишина. «Священник, the Priest!» Сцена неподвижна, толпа стоит на лестнице. «Отец Кирилл!» Гертруда играет марш, Клавдий поправляет корону; священника нет. «Значит, он еще жив... – думает князь. – Жив...» Сцена гаснет; кадры отснятой Ватутиным хроники.

«Священника... Он просит позвать священника», – шепчутся в соседней комнате две женщины, его гражданские жены. Нет, посылать за священником еще рано. Великий князь пролежит в бреду еще несколько дней. Перед смертью очнулся, привели священника. Князь ожидал, что придет отец Кирилл, ему напомнили, что отец Кирилл уехал... «Моим главным грехом было то, что я хотел спасти Россию», – сказал на исповеди; священник, чье лицо было невидно из-за сумерек, покачал головой. После смерти князя оставили ненадолго одного; горели свечи. Внезапно ожила минутная стрелка на часах; внутри коробки зашумело, заиграла музыка. Дрогнули и закружились арапчата; турецкий марш. Доплясав, остановились, выдвинулся никому, даже князю, не известный потайной ящичек. Внутри ящика видны были пожелтевшие бумаги, исписанные почерком императора Николая Первого; можно было различить «Иона» и «Великий Князь». Если бы в комнате кто-

то находился, он бы, без сомнения, смог извлечь эти документы и прочесть. Но обе жены были заняты приготовлениями к похоронам; утешая друг друга, они составляли в соседней комнате план действий. Снова заиграл турецкий марш и ящичек задвинулся.

Через два дня, шестнадцатого января, прах «гражданина Николая Романова» пронесут по городу и предадут земле подле ограды Георгиевского собора. Со временем собор закроют, перестроят под кукольный театр, захоронения возле него уничтожат; но произойдет это еще не скоро. Пока же в газете «Новый путь» сообщалось, что «бывший князь» был тоже в своем роде борцом с самодержавием, что, несмотря на свою классовую ограниченность, покойный в меру сил сочувствовал угнетенным и раздувал пламя революционной борьбы.

Для раздела хроники заметка была подробной и написанной с чувством. Что неудивительно: автором ее был Кошкин, уже просто Кошкин, без всякого латинского псевдонима и бывшего светского лоска. Эту вырезку Кошкин вложит в письмо – последнее письмо, которое отец Кирилл получит из Ташкента; сидя в ледяном Петрограде, отец Кирилл будет долго изучать ее – гораздо дольше, чем этого требует обычная газетная заметка.

...Металлическое тело аэроплана медленно, чуть вперевалку, ползет по полю. Черно-белая съемка не дает представления ни об окраске аэроплана, ни о расцветке костюма авиатора, ни об оттенках травы и гор вдалеке. Бесшумно вертится винт, плющатся к земле травы. «Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезныя всем подаваяй, Едине создателю, упокой, Господи, душу раба Твоего...» Покачиваются крылья, авиатор машет рукой. Аэроплан отрывается от травы и

зависает в воздухе. Солнечный блик скатывается по крылу; уменьшается трава, поля, арыки, молчаливо бегущие люди.

– О! Миэрун-да![37]

Молодой попутчик отложил газету и уставился в окно, часто моргая.

Над холмами, бежавшими вдоль поезда, завиднелась белая вершина.

– Смотри, Машенька, вон гора Фудзжи, Фудзжи-сан. Помнишь, я тебе говорил?

Машка кивнула и прилипла к окну. Гора постепенно приближалась.

– Кирэй дес-нэ...[38]

Отец Кирилл согласился, воистину «кирэй». Солнце вполне взошло и обливало вершину мраморным светом. Впрочем, разве ее опишешь, волшебную гору?

– Мутка, смотри, вот гора Фудзжи, – говорила Машка, прижимая тряпичное лицо куклы к стеклу.

Куклу она стала называть Муткой в Петрограде. Услышала это имя в разговорах отца Кирилла с Кузьмой Сергеевичем, после чего безымянная кукла была наречена Муткой. Отец Кирилл хотел было опротестовать, но не стал.

Попутчик приподнял очки, чтобы лучше видеть гору. Рот его был открыт.

Машка мычала какую-то мелодию. Вдруг запела:

– Ах, мадам Дюбуша, это что за антраша?!

Отец Кирилл схватил ее руку:

– Маша! Машенька, я же просил тебя не петь эту глупую песню! Я же просил тебя!

Карие глаза наполнились слезами.

– Нандэс-ка?[39] – встрепенулся попутчик.

Отец Кирилл выдавил улыбку и пожал плечами.

Машка отвернулась от окна, сжала куклу:

– Мутка обиделась на папу!

Поезд остановился, станция Фудзжи. Аккуратная гора стояла в окне, на вершину наплывали облака. Отец Кирилл поднялся и сделал несколько упражнений, чтобы размяться.

За два года он научился жить в поезде. Служа в железнодорожной церкви, он все годы имел один, статичный и разумный образ железной дороги. Там были мастерские, было депо, все это работало, стучало, отходило на недолгий перекур и возвращалось к работе. Теперь железная дорога развернулась перед ним своей темной огромной стороной. Сколько раз они сидели днями в неподвижном вагоне среди вьюги и пустоты, и он сходил с ума, выдумывая, где раздобыть еды и тепла для Машки. Сколько раз их отцепляли, выталкивали из вагонов, мяли друг о друга на станциях, заставляли штурмовать поезда, которые шли не туда, куда требовалось, но куда-то шли. Движение означало в те дни хоть какую-то жизнь, и у того, что ехало, было меньше шансов погибнуть.

Из Петрограда они доползли кое-как до Москвы. Отец Кирилл рассчитывал найти остатки родни и не нашел. Кто-то умер, кто-то бежал, кто-то разговаривал через приоткрытую дверь на цепке. Но в Москве оказался Серый; сидел на чемодане перед выездом в Турцию, к суфиям; в чемодане лежали кальсоны, кисточка для бритья и рукопись нового романа. Пришельцам Серый обрадовался, напоил чаем и

читал «Зимнюю сказку» Гейне. «Wir kamen endlich zu einem Ort, Wo funkelde Kerzenhelle Und blitzendes Gold und Edelstein; Das war die Drei-Königs-Kapelle!»[40]Машка, согревшись, клевала носом; отец Кирилл глядел, как Серый размахивал руками, изображая трех воскресших волхвов: «И эти три святых короля, Что долго лежали во прахе, О чудо! Каждый прямо воссел Теперь на своем саркофаге!» «Тише, – попросил его отец Кирилл, – Машка заснула». Серый прервал свое козлогласие, утром уехал, волоча чемодан по лестнице; Кирилл с Машкой остались жить у него. Отец Кирилл пытался узнать, не требуется ли где священник, но новая власть уже принялась с аппетитом закрывать церкви; свои, московские батюшки и маститые протоиереи оказывались без прихода и куска хлеба. Наконец стал служить во Владимирской, неподалеку, но вскоре настоятеля забрали в ЧК. Прихватили и отца Кирилла, потюнув часа два, отпустили. Жизни в Москве не было, нужно было уезжать. Сходил с Машкой на могилы родителей, поглядел на холодный лабрадор. Да, вот так-то оно получается, дорогие мои... И снова поезда, рельсы, блаженный кипятик в мятой кружке. Они ехали на юг, где, по словам знающих, можно было прокормиться. Стук вагонов и скрежет сцеплений вьелся в голову; он машинально гладил Марию и молился. Себя уже не чувствовал, боялся за Машуню, что взголодает, что повторится болезнь, случившаяся с ней еще по дороге из Ташкента, или что потеряется.

И Машка, конечно, потерялась. Он метался по станции, выкрикивая ее имя, спрашивая о ней каких-то баб с мешками, которые в ответ сердито мотали головой. Прибыл литерный поезд, отца Кирилла и остальных стали гнать с платформы, он противился, его сшибли прикладом. Придерживая ладонью кровь, побежавшую из

головы, бродил вокруг оцепления и выглядывал Машу. И внезапно увидел ее, стояла как ни в чем не бывало на платформе и разговаривала с каким-то невысоким господинчиком в богатом пальто, видимо, с того литерного поезда. Собрав силы, отец Кирилл выкрикнул ее, Машка обернулась, обернулся и господин. Отца Кирилла пропустили, он бросился к дочке, упал, был поднят и поставлен на ноги; приблизилось широкоскулое лицо «господинчика»: «Кириру-сан?!»

Встреча была нереальной и фантастической. Она была невозможной, и все же пред отцом Кириллом стоял именно Такеда, почти не постаревший, элегантный. Отца Кирилла даже не удивило, что Такеда говорит с ним по-русски. Выяснилось: несколько лет работал в японском посольстве в Питере, стал свидетелем всех страшных событий, потом нужно было уладить дела в Москве, связанные с имуществом японских компаний, уладить не удалось, зато был принят кем-то из вождей революции, получил гарантии и теперь через Одессу должен отбыть на родину. Это Такеда рассказал отцу Кириллу уже в своем вагоне, куда забрал его с Машей. Пришлось, правда, сломить сопротивление коменданта поезда, а также и обитавшего в соседнем вагоне большевистского агитатора, который сразу почувствовал в отце Кирилле классово враждебный элемент. Но Такеда тихим голосом потомка самурайского рода объяснил, что ему по штату требуется секретарь со знанием японского и т. д. Комендант махнул рукой: «Ну, если сами их будете кормить...»; агитатор, пробормотав что-то про красное знамя над Востоком и освобождение угнетенных гейш, ушел к себе в вагон; Машка состроила ему рожицу. Поезд шел быстро, хотя пару раз останавливался, по коридорам гремели солдатские сапоги, и ночная степь постреливала. Но все это уже казалось раем: теплый вагон,

белье, чай. Такеда и предложил, чтобы вместе поплыли в Японию. Отец Кирилл вздрогнул: о Японии он уже не думал, хотя выписанные в Миссионерском комитете документы еще берег, зашитые в пальто. Но теперь уезжать из горящей России казалось ему предательством. «А что вы можете сделать, чтобы ее потушить?» – спросил Такеда и внимательно посмотрел на отца Кирилла. Решили, что в Японию он поедет на год-два, пока здесь все уляжется.

Потом была Одесса, где власть перелетала из одних рук в другие как мяч; потом Константинополь, где русских было столько, что хотелось плакать. «Вот и заняли мы проливы...» – думал отец Кирилл, глядя на толпы беженцев, запрудившие порт. Искал глазами, слыша на улице русскую речь, Серафима, не нашел. Наверное, проводит дни в беседах с учеными суфиями, кружится на их зикрах, а когда надоест, убежит в Италию, к лилиям и органу или еще куда.

В Константинополе Такеде пришлось остаться; выхлопотал им место на пароходе, плывшем в Японию; пароход приходил не в Иокогаму, а в Нагою, откуда нужно было добираться до столицы почти сутки. Дальше началась вода, синяя, зеленая, спокойная. Пароход, после того безумного Ноева ковчега, на котором плыли в Турцию, казался непристойно комфортным. Теплое умиротворение сошло на отца Кирилла, он сидел днями на палубе с купленной в Константинополе книжкой о японских садах. Машице тоже быстро обжилась на корабле, подружилась с матросами и пассажирами. Пару раз их покачало, но это было не страшно. «Это не страшно, – говорил он прижавшейся к нему Машке, – теперь это уже не страшно...» Зеленые волны валились друг на друга, бросались пеной, покачивали корабль...

Мутка перестала обижаться на папу.

Протянула тряпичную ладошку; отец Кирилл пожал ее, потом поцеловал линиялое матерчатое лицо. Коснулся губами сырых щек самой Машки. Примирение высоких сторон состоялось.

Набегали, застывали на несколько минут в окне и снова убегали станции. Некоторые иероглифы он мог прочесть. Те, которые не мог, спрашивал молодого уроженца Гифу, который убрал газету и теперь читал книгу по «хоо-рицу» – праву.

Нумацу. Мищима.

Фудзжисава.

Вид в окне делался все более населенным и насыщенным; станции – шумными; чувствовалось приближение огромного города. Начиная с Йокогамы домики бежали у самых путей сплошной шеренгой, казалось, тот или вон тот сейчас выскочит на поезд. Проехали Кавасаки, следующая – Тоокьё-эки, Токийский вокзал... «Вот я и вернулся, владыко», думал отец Кирилл, мысленно видя лицо владыки Николая, каким оно было тогда, в дождь, на Суругуде.

Они шли по бесконечному перрону.

Рядом вышагивал диакон Сакаи, которого отрядили встретить их – отец Кирилл отправил из Нагои телеграмму, но на встречу не рассчитывал. Вокруг волнами шел народ; отец Кирилл отмечал изменения в токийцах за годы его небытия в Японии, впрочем, токийцев здесь не так много; приезжие, главным образом.

Выстрел.

И еще один выстрел. Отец Кирилл схватил Машку.

Стреляли недалеко, толпа замерла. Пробежали два-три полицейских. Толпа зевак. Отца Кирилла несло к месту выстрела. Будучи немного выше, мог разглядеть тело, застывшее на брусчатке. Прилично одетый мужчина лет шестидесяти, по виду японец, но голоса: «Гайдзжин... Гайдзжин-нэ...»[41] заставили приглядеться.

Приглядеться и сдаться Машкину руку.

Да, очков на нем не было, мог ошибиться. Но показалось, что это был Курпа. Не показалось, а даже точно. Но здесь, в Токио! Отец Кирилл еще раз сощурился. Их теснили от тела, он лишь почувствовал на себе желтый взгляд застреленного – или просто раненого. Здесь, откуда он здесь? В ушах шумела сбивчивая речь, женский шепот, крики полицейских. Сакаи-сан, качая головой, выводил их из вокзала. Машка сжимала куклу.

Отец Кирилл скороговоркой попросил диакона подождать его с Машкой, а сам бросился обратно, к платформам.

Токио, 17 июля 1919 года

Он бежал по степи. Ветер рвал пряди, вонзался в лицо, он не чувствовал. На руках его была раскаленная, как уголек, Машка.

Он не знает, куда и для чего идет. За спиной уменьшался поезд. Машка слабеет, исчезает на его руках. «Папа... Папа...» Он сжимает ее; губы его двигаются, он молится и все бежит. Если не обманули, то врач где-то здесь. Совсем скоро, потерпи немного, Машуня... Маленькое солнце над пустотой; поезда за спиной уже нет. Сердце стучит у самого горла, ветер стихает, с Аму наползает туман. Только выскакивает из-под земли куст верблюжьей колючки и хватается за край рясы, но он

того не чувствует, ничего не чувствует, кроме жара, в котором исчезает Машка; да-да, скоро будет врач...

Из-за холма показывается крепость, несколько башен над туманом.

Возле ворот сидят два старика. Один – помоложе, если это слово применимо к старости. Другой – совсем ветхий, черный, сухой.

«На чем мы остановились, Курпа?»

«На том, что вы, учитель, стали ждать макалат кучек, когда Солнце входит в созвездие Рыб...»

Отец Кирилл вынырнул из подушки. Она была сырой; в темноте шумел дождь.

Этот случай часто снился ему. Так часто, что он уже не знал, где сон, а что и вправду с ним случилось. С ним и Машкой, из Ташкента в Петроград, февраль 1917 года.

Он ночует у Такеды. До полночи пили чай и слушали дождь.

Ему постелили в той же комнате, где он когда-то жил. Все было как тогда. Те же книги, та же пыль на книгах. Такеда любил домашнюю пыль и не разрешал часто ее тревожить. А татами недавно поменяли, пахло псиной.

И еще висела картина, эскиз отца Кирилла, который подарил Такеде до своей встречи с владыкой, а потом, когда все сжигал, Такеда ему не вернул, несмотря на просьбы.

Отец Кирилл сидел на футоне и глядел на прозрачную вермишель, плававшую в окне.

Ему тридцать девять лет.

«Якимо... Якимо...» – запел вдали торговец сладким картофелем, толкая в темноте тележку.

Дверь отодвинулась, вошло привидение в простыне:

– Папа, там кто-то поет страшно...

– Это торговец. Помнишь, я тебе покупал якимо? Снаружи красное, внутри желтое.

Машка плюхнулась на футон и уткнулась в его голую спину холодным носом.

– А почему он ночью поет?

– Обычай такой.

Машка по-кошачьи развалилась и заняла собой все пространство на футоне. Отец Кирилл пристроился рядом и стал глядеть в потолок.

Они уже два месяца в Токио.

Отец Кирилл служил в соборе, преподавал в школе, в семинарии, занимался бумагами. Свободного времени было мало, одно воскресенье выбрались с Машкой после службы в парк Уэно погулять, погуляли, купил ей сладостей-окаши и куклу. Маша с интересом ела. Уже не прятала в карман – достижение. А то первые дни ходила как кенгуру с оттопыренными карманами, угощали ее непрерывно, баловали. «Кавай, кавай!»[42], а она всё в карман; приходилось краснеть. А каштанов, понятно, еще не было, не успели. Показал ей место, где встретился с владыкой Николаем. Постояли там. Машка хрустела пакетом со своими окашами. Скоро, дочура, зацветут лотосы. Машка приладилась уже к Японии, язык пока не знает. Куклу стала звать Мутка-сан.

Ему поручили заняться архивом владыки Николая. Наткнулся на его дневник. Читал жадно, иногда выходил, чтобы сполоснуть лицо.

«18 марта 1871 года. Ночь. На барке в четырехстах милях от Хакодате. Тяжело на душе, Боже! Как страстно хочется иногда поговорить с живым человеком, разделить душу – и нет его; с самого рождения моего до сих пор Бог не судил мне иметь друга, единомысленника...» «8 мая 1881 года. В Маэбаси. Вечера 10 S час. У Капуямы Иова его шелкоразматывают. работы вчера и сегодня были остановлены (вчера – так как по ошибке вчера меня ждали), чтобы дать возможность христианкам участвовать во встрече. Там, отслуживши литию, тоже сказал небольшое слово, взяв подобие шелков. червя, как он усердно тянет свою прекрасную нитку. У Фукузава Иоанна – тоже лития; там видели воспитывающихся червей. Вернулись, чтобы подготовиться к Всенощной и отслужить ее...» «7 февраля 1882 года. Воскресенье. Заговенье пред Великим Постом. Нехорошо сказал проповедь в церкви. Бесцветно проведенный день, да и погода была дрянная. Вечером прочитал Достоевского – “Униженные и Оскорбленные”».

И еще. «18 июня 1904 года. Воскресенье. Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы, Господь Бог, по-видимому, гнев Свой изливает на нас. Да и как иначе? За что бы нас любить и жаловать? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежествен и груб до последней степени; на всех степенях служения – поголовное самое бессовестное казнокрадство везде, где только можно украсть. Верхний класс – коллекция обезьян – подражателей и обожателей то Франции, то Англии, то Германии; духовенство, гнетомое

бедностью, еле содержит катехизис – до развития ли ему христианских идеалов и освещения ими себя и других?.. И при всем том мы – самого высокого мнения о себе: мы только истинные христиане, у нас только настоящее просвещение, а там – мрак и гнилость; а сильны мы так, что шапками всех забрасаем... Нет, недаром нынешние бедствия обрушиваются на Россию, – сама она привлекла их на себя. Только сотвори, Господи Боже, чтобы это было наказующим жезлом Любви Твоей! Не дай, Господи, вконец расстроиться моему бедному Отечеству! Пощади и сохрани его!»

«Пощади и сохрани...» – повторяет про себя отец Кирилл.

Надо бы издать эти дневники. Но где взять средства? После смены власти в России вспоможение оттуда прекратилось, сама японская Церковь пока слаба. Русских в Японии сейчас много больше, но все это выплеснутые из России беженцы и полубеженцы, у самих дела расстроены. Надежды на них мало; ходят по городу как тени, жаркие ивы плещут над ними, пылят мимо рикши.

Вернулся в Токио Такеда. Все такой же молчаливый и непроницаемый. Что-то за годы службы в России в нем перевернулось. Привез икону святого Николая; говорит, из горящей церкви спас. Сразу вышел в отставку; причина – «век вывихнул суставы»; уважительная причина. Попросил отца Кирилла рассказать о православии, постоял дважды на службе, присматриваясь. После службы задержался. «А это что за святой?.. Вот как... А это?» Отец Кирилл рассказывал, пахло воском и зеленью – после Троицы. На следующий день Такеда выразил желание креститься.

Смуглые, костистые плечи Такеды, его напряженная шея, его породистая голова погружаются в воду. Качнулись черные пряди и тут же облепили вынырнувший лоб. Струи текут по лицу и грохочут по воде. Такеда церемонными движениями вытирает

лицо, шею, плечи.

Потом Такеда повез их на Щимбаши, где уже был накрыт стол. Отец Кирилл хотел увернуться от застолья, но ради Машки согласился, пусть знакомится с японской кухней. Сам только слегка пожевал: перед глазами все еще качались голодные лица из поездов.

NB: Поговорить с Такедой насчет издания дневников владыки Николая.

Еще отец Кирилл попросил Такеду узнать через его прежние связи о Курпе. В газетах говорилось только об убийстве русского коммерсанта и имя стояло другое. В «Токио щимбун» писали, что было ранение, не угрожавшее жизни. Такеда согласился, но узнать удалось мало чего. Да, это был Курпа, торговец шелком из Туркестана. Прибыл в Токио недавно, поселился в районе Гинзы, побывал в Кабуки. Дальше начинался туман...

Из тумана вышел мужчина в длинном пальто. На руках он держал ребенка. Медленно прорастала сквозь звук ветра и дыхание музыка. «Кто это?» – спросил Гаспар, хотя, разумеется, знал, кто. «Это русский священник, – ответил предатель. – Десять лет назад я вызвал его сюда письмом». «Для чего ты это сделал?» – спросил Гаспар, хотя, разумеется, знал, для чего. «Не помню, учитель. Это было связано с моим прошлым предательством. В том мире, который я тогда создавал, этот человек с крестом на груди должен был что-то сделать». «Что он должен был сделать?» – спросил Гаспар, хотя, разумеется, знал, что. «Наверное, убить вас, учитель. Ведь я не могу этого сделать. Здесь нужна родная кровь; трудно найти лучшего убийцу, чем родственник». «Спасибо, Курпа. – Гаспар приподнялся. – Ты действительно мой

лучший ученик». «Тогда я посылаю за музыкантом?» – «Да. И скажи всем братьям, чтобы собирали вещи, поднимались и выходили из города через ворота Трех Царей. Через несколько часов произойдет землетрясение». «Про землетрясение я и сам мог бы догадаться», – пробормотал Курпа.

Курпа видел, как Гаспар спустился с холма и подошел к священнику с девочкой. Они о чем-то говорили. Священник кивал головой.

Через час они сидели внутри башни Сестры. Башня была полрой, как огромный кувшин. Ветер, залетая через окно, пел женским голосом. Гаспар снял с костерка казанок, отлил из него в пиалу, протянул девочке: «Выпей. Еще две чашки, и от болезни не будет и следа». «Николай Петрович...» – начал священник. «Николай Петрович мертв», – обрезал Гаспар. «С кем же я все это время разговариваю? – спросил священник. – Кому рассказываю о своем отце, которого вы знали еще ребенком, который всю жизнь держал как образец ваши студенческие проекты? Кто писал ему уже перед самой его смертью – я ведь нашел ваши письма! Кто вызвал меня из Москвы в этот Туркестан, когда я собирался после академии ехать в Японию? Кто, если не Николай Петрович Триярский, мой дядя?» «Николай Петрович мертв», – повторил Гаспар. «Хорошо. Мертв! Но может быть, моя бабушка, Варвара Петровна, ваша сестра, из-за которой я...» Гаспар молчал. Травы то всплывали, то тонули в черной воде котелка. «Я и она – мы были одно. Брат и сестра. Две половинки яйца, как здесь говорят. Когда она умерла, умер и я. Остался только мертвый архитектор, человек-глина, человек-пыль...»

«Музыкант пришел!» – Курпа, согнувшись, вошел в башню, за ним вполз музыкант.

Лицо музыканта было обезображено. Девочка прижалась к священнику.

Сухой палец зажал одну из трех струн. Другой, с желтым ногтем, ущипнул. Долгий звук наполнил башню. Снова женским голосом запел ветер.

«Она была продана в гарем бухарскому эмиру. Родила ему двух детей. Дочь и сына. Эмир был доволен. Дочь умерла, прожив год. А сын оказался слепым, а может, ослепили. Из гарема его убрали, отдали на воспитание кому-то из простолюдинов. Он не знал ни своей матери, ни своего отца, был со странностями, но хорошим садовником».

Струна была зажата вторым пальцем. Снова щипок, снова звук и его исчезновение наверху, где шерстяными сливами висели летучие мыши.

«Она упростила эмира отпустить ее. От слез она стала как осеннее солнце. Эмир отпустил ее, снабдив деньгами. Она тратила их на больных. Особенно на прокаженных. И поселилась здесь». «Она не заразилась?» – спросил священник и сильнее прижал дочь к себе. «Заразиться этой болезнью тяжелее, чем думают. Все дело в воде. Воде и зданиях. Особым образом выстроенные здания способны лечить болезни. Особым образом построенные города. Кладка кирпича, гладкость стен, орнамент – все это способно лечить или, наоборот, порождать болезни и эпидемии. Когда я построил этот город, и в нем стали жить, и вырыл огромный колодец, и из него стали брать воду, болезнь отступила».

Музыкант коснулся струны третьим пальцем. Не зажал, а провел ногтем вдоль нее, так что возник свистящий звук.

«Но это было после того, как я пришел. А до этого она жила вот здесь, в хижине. В ней она и умирала, когда я ее нашел. Она была как зимнее солнце, вокруг

лица был свет и вокруг правой руки. Ночью мы разговаривали, вспоминали детство, родителей, запахи дома и рождественскую елку. Утром она закрыла глаза. Курпа хотел обмыть ее, но я не позволил, она была христианкой, ей нужно было построить дом. Мы долго рыли землю, но дом был построен. Там, под землей. Первый дом этого города. За образец я взял Петропавловский собор. Только шпиль его тянется не вверх, а в сторону. И вместо купола – мужское лицо. Утром оно выглядит как лицо Алексея Маринелли, днем – как лицо императора Николая Первого, вечером – как лицо бухарского эмира...» «А ночью?» – спросил священник.

Гаспар посмотрел, но не ответил – началась музыка.

Толпы жителей поднимались и выходили из города.

Они выходили через ворота Трех царей в молчании и не теряя достоинства, присущего безнадежно больным.

Огромные, как скелет солнца, колеса арбы вдавливались в соленую землю.

На арбе сидели жены Курпы, правила арбой старшая, горбунья. На горбе ее сидела птица с желтым хохолком.

За арбой шел Курпа. «Я должен был остаться с ним, – говорил Курпа женам и птице с хохолком. – Но если я не совершу этого, последнего предательства, он никогда не простит меня».

Последним шел священник с девочкой. Девочка шла сама. Ей предложили сесть на арбу. Она помотала головой и прижала к себе куклу с голубыми пуговицами вместо глаз.

Палец с желтым ногтем подцепил последнюю струну. Струна задрожала, раздвоилась, растроилась и застыла.

Макамат кучек, Солнце в башне Рыб.

Куски глины сыпались на деку, от удара упавшего кирпича треснул гриф. Побежала кровь, но из-за пыли не стало видно и ее.

Колесо арбы остановилось. Птица с желтым хохолком поднялась с горба и исчезла.

В оседающей пыли стоял Гаспар.

Его Город был наконец достроен, и он как архитектор должен обозреть его. Город Прокаженных стоял перед ним во всей своей громадности и слепящей красоте. Глиняные башни, впитавшие боль, пот, слезы, предсмертный бред, обвалились. Глиняные стены, прятавшие под своей коростой подлинный город, исчезли. Огромный город из стекла и железа, с безумными фаланстерами его юности стоял перед ним. Солнце прыгало по стеклянным граням; последние остатки глины сметало ветром.

Наконец вдали показались они.

Трое на верблюдах. С огромными прозрачными коронами и глиняными колокольцами. Старший, архитектор Гаспар, держал смирну; средний, живописец Мельхиор, – золото. Младшего, музыканта Бальтазара, было плохо видно. Остатки ворот Трех Царей приближались к ним.

Николенька Триярский лег на землю, холодившую горячую спину, и закрыл глаза.

Курпа с кувшином и перчатками на боку склонился над ним.

У изголовья сидели его жены главная горбунья читала молитву и перебирала

четки остальные подпевали вместо четок перебирая косточки джиды на каждой косточке десять белых бороздок каждая бороздка буква «алиф» с которой начинается имя Аллаха милостивого и милосердного от каждой косточки прочитанная молитва умножается в десять раз.

Жены передавали косточки джиды горбуны та подула на них и положила в платок.

Чуть поодаль стояли отец Кирилл и Маша.

«Наконец я смог его убить, – говорил Курпа, натягивая перчатки. – А ведь это было непросто...»

Медленно вращались колеса поезда. Чувствовали приближение станции, наверное.

«Теперь мне остается убить вас, батюшка. Это будет гораздо тяжелее. Идите, я сам тут управлюсь. Я столько за всю жизнь обмыл и запеленал людей и размочил и распеленал коконов, что могу управиться без посторонней помощи».

Подняв кусок глины, бросил в сторону жен. Те пошли прочь, оплакивая проклятого русского, который сломал жизнь их супругу и, следовательно, их жизни, ой горе, горе...

Поезд подходил к станции.

Отец Кирилл и Машка бежали к ней. Возле станции стояли верблюды и пара лошадей.

«Стойте!» – задышался отец Кирилл.

Из трубы вырвался дым.

Когда добежали, поезда уже не было. Начальник станции ушел к себе, греться.

Верблюд выгнул шею.

«Ничего, Маш.. – сказал отец Кирилл, отдышавшись. – Даст Бог, на следующем уедем. Пошли, спросим пока чаю...»

Маша по-взрослому сжала его руку и быстро кивнула.

Они лежали в мокрой и жаркой темноте. Дождь дымился за окном и пах гнилым яблоком. Из ноздрей отца Кирилла вылетал воздух и щекотал Машку. В груди его, под кожей, билось сердце, чуть выше вздрагивал крестик; у Маши такой же, но поменьше.

Застеснявшись голой груди отца, Машка натянула на нее простыню.

Продавец сладкой картошки допел свой романс и ушел дальше, пугать тех, кому не спится. «Якимо...» – раздалось издалека. Маша поджала ноги.

Осторожно, чтобы не потревожить отца Кирилла, встала с футона, запахнулась простыней и пошла к себе. Ее комната была рядом, но дождь там шумел страшнее, в окне качалось дерево, и темнота двигалась.

В дверях оглянулась. Слабый уличный свет падал на картину.

Она напоминала икону, хотя писал ее человек современный, что чувствовалось по сочетанию красок, каких не позволил бы себе ни один, даже обезумевший, иконописец. Было видно, что мастер этот карабкался по лестнице, по которой топали и скользили ноги и скакали вниз мелки; что каждое утро он просыпался, ронял в карман плаща револьвер и шел неврастеническим шагом в парк Уэно, где давился печеными каштанами и смотрел на кровавое пятно в воде от храма

Бензайтен. Что ночью, задыхаясь от бессонницы, пил сливовое вино, слушал «якимо» и терзал альбом по иконописи; и так возникла эта картина, современная икона, которую он потом хотел сжечь, но друг не позволил. Теперь на нее падал дождливый свет и девочка, посмотрев на картину, ушла к себе спать. На среднике была изображена Мария на троне и вздыбленные кристаллы за ее спиной; пред Марией в иконописном изгибе выгнулись волхвы. Старший волхв, седобородый, за ним – чернобородый, безбородый замыкает. На всех троих русские шапки с кичками различного цвета, в условно намеченных ладонях – дары. Над пещерой громоздится зодиакальный круг, целый звездный зверинец, рыбы наплывали на водолея, щекоча его икры плавниками, лев лижет шершавый локоть девы. Внутри круга горит звезда. Восемь клейм, окружающих средник, изображают странствования волхвов. Вот каждый из своего дворца видит звезду; вот они встречаются в пути и решают продолжать его купно; вот входят в Иерусалим и расспрашивают народ; народ, как ему и положено, безмолвствует. Вот волхвы пред Иродом; они же – в сомнениях перед входом в вертеп; а вот, поклонившись, видят во сне Ангела, велящего возвращаться «иной дорогой». Последнее клеймо – гнев Ирода и избиение младенцев. Черные всадники на конях, бегущие матери, волосы, огонь на крыше...

Маша спала, разметавшись по футону; рядом лежала кукла. Отец Кирилл спал в соседней комнате, шевеля во сне губами. Сны у них были разными, но в какую-то секунду оба они улыбнулись, отец и приемная дочь. Посветившись недолго на их лицах, улыбка погасла, словно ее залило дождем, еще сильнее припустившим.

[1] В его лице скорей печаль, чем гнев, запечатлелась («Гамлет», акт I, сцена

третья).

[2] Царь Николай Первый, русский император (англ.).

[3] Мой сын! (фр.).

[4] «Прощай, прощай и помни обо мне!» («Гамлет», акт I, сцена пятая).

[5] Объект, по всей видимости, устал (англ.).

[6] «Идите, готовьтесь» (слова Гамлета актерам, акт III, сцена первая).

[7] «Горацио, ты – лучший из людей...» (акт III, сцена вторая).

[8] Вы можете называть меня мистер Грей. «Серый» по-русски означает серый цвет (англ.).

[9] Вы хорошо знаете ситуацию в нашей русской литературе (смешан. англ.-нем.).

[10] Видите ли, я пишу роман. Исторический роман. Он начинается в середине прошлого века (англ.-нем.).

[11] «Рождественская звезда: секрет Русской ближневосточной дипломатии» (англ.).

[12] Как нам узнать, что вы действительно Стэд? Когда вы родились? Как звали вашу бабушку? (англ.)

[13] «Белая звезда» (англ.).

[14] Поберегись! (узб.)

[15] Переулок (нем.).

[16] Красиво (узб.).

[17] Мелкая монета (узб.).

[18] Папа играет, папа шутит (нем.).

[19] Кайтарить (от узб. кайтармок – смешивать) – два-три раза наливать свежесваренный чай в пиалу и сливать обратно – для лучшей заварки.

[20] Голова моя стала белой, как цветущее дерево... Но от этого дерева нет иного плода, кроме скорби... (перс.) – строки из касыды Джамии.

[21] Небольшой открытый искусственный водоем, откуда брали пресную воду (узб.).

[22] Мохов – проказа, кент – добавление, означавшее «город», вроде русского «град» (узб.).

[23] Матерчатое опахало на древке, обмахиваются которым, вращая древко.

[24] «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано “зачался человек!”» (Иов. 3, 3).

[25] Детская проказа, проделка (нем.).

[26] Свадебный хор из оперы Вагнера «Лоэнгрин».

[27] Иностранец (яп., сленг).

[28] Это ваша дочь? (яп.)

[29] Мы (лат.).

[30] Японское традиционное печенье.

[31] Спасибо (яп.).

[32] Большое вам спасибо! (яп.).

[33] Вареный рис, обернутый в сушеные водоросли (нори).

[34] Сокращение от «Тоокьё Дайгаку», Токийский университет.

[35] – Русский. – Русский?! (яп.).

[36] «Скоро – Фудзияма» (яп.).

[37] Уже видна! (яп.).

[38] Красиво как! (яп.).

[39] Что случилось? (яп.)

[40] «И мы, наконец, в то место пришли, Где сотня свечей горела, Сверкало
злато, каменья цвели; То Трех Королей капелла» (нем.).

[41] «Иностранец... Да, иностранец...» (яп.)

[42] «Какая хорошенькая...» (яп.)